

Василий Ян Поход Ермака

*[http://orel.rsl.ru/nettext/russian/yan/pohod_ermaka/
pohod_yermaka.htm](http://orel.rsl.ru/nettext/russian/yan/pohod_ermaka/pohod_yermaka.htm)*

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	9
1. НЕОЖИДАННОЕ НАПАДЕНИЕ	9
2. ПАГУБНЫЙ ВЫСТРЕЛ. – РАСПРАВА. – СТРАННЫЙ ОБМЕН	16
3. ГРОЗНАЯ КАЗАЦКАЯ ВОЛЬНИЦА	25
4. ОРЕЛ ПОВОЛЖЬЯ. – КОРШУНЫ И ВОРОНЫ. – ПОГОНЯ	31
5. НЕДУЖНЫЙ	49
6. НОВЫЙ ДРУГ. – ВРАЖЬЕ СУДНО. – НЕЖДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	67
7. ЮГРА И ИМЕНИТЫЕ КУПЦЫ СТРОГАНОВЫ	80
8. ПЛЕННИЦА И ГОСПОЖА. – ГОРЕЛКИ. – НАПАСТЬ	86
9. В СВЕТЛИЦЕ. – СТРАХИ. – СОБЫТИЕ ЗА СОБЫТИЕМ	106
10. БЕДА. – БЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ. – НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ. – НА ВЫРУЧКУ	116
11. НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ. – ПРЯТКИ. – РОКОВОЕ ОТКРЫТИЕ	132
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	156
1. ВОЛЬНИЦА БУРЛИТ. – СМЕЛЫЕ МЕЧТЫ. – КРУГ СНОВА	156

2. НЕПРЕДВИДЕННАЯ ВСТРЕЧА. – НОВЫЙ КАЗАК	171
3. ЛЮБОВЬ И ГОРЕ	179
4. В ПОХОД	188
5. ПЕРВЫЕ ДНИ. – КАМЕННЫЙ ГИГАНТ. – ТАЙНА СЕРДЦА	193
6. СНОВА В ПУТЬ. – ВОЛОКОМ ЧЕРЕЗ ГОРЫ	203
7. ПЕРВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ. – ПЕРВЫЙ УСПЕХ. – АЛЕШИН ПОДВИГ. – ВАЖНЫЙ ПЛЕННИК	210
8. ДОПРОС. – ПОСОЛ К КУЧУМУ	224
9. ЗВЕЗДА ИСКЕРА. – БАЙГА. – СТРАШНОЕ ВИДЕНИЕ	230
10. БЕЛЫЙ ВОЛК И ЧЕРНАЯ СОБАКА. – ОБЪЯСНЕНИЕ ШАМАНОВ. – ПЕЧАЛЬНЫЙ ГОНЕЦ. – ЖИВАЯ НАГРАДА	244
11. ЖЕЛЕЗНЫЕ ЦЕПИ. – ХИТРОСТЬ ЗА ХИТРОСТЬ. – ПОД БАБАСАНОМ. – В ПЛЕНУ	257
12. УЖАС СМЕРТИ. – КОШКА И МЫШКА. – НЕИЗБЕЖНОЕ	277
13. НОВОЕ ЧУВСТВО. – В КАМЕННОЙ МОГИЛЕ. – ОТКАЗ	290
14. СВЕТЛОЕ СЛОВО. – ВОСКРЕСШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ. – КРОВАВАЯ БИТВА	301

15. РЕШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА. – ШУТКА ШАЙТАНА. – ГИБЕЛЬ ЗА ГИБЕЛЬ. – ГНЕВ АЛЛЫ	308
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	324
1. В РУССКОМ ИСКЕРЕ. – АБАЛАЦКИЕ ЖЕРТВЫ. – МЕСТЬ ЕРМАКА	324
2. ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА. – СВАДЕБНЫЙ ОБЫЧАЙ. – ЖЕРТВА АЛЫЗГИ. – ПОХОД	331
3. СНОВА В БИТВУ. – ЦАРСТВЕННЫЙ ПЛЕННИК. – НОВЫЙ СЛУГА. – ОДНИМ ХРАБРЫМ МЕНЬШЕ	341
4. ПОСОЛЬСТВО ЕРМАКА	351
5. ТАНИНЫ ЗАБОТЫ. – ВОЗВРАЩЕНИЕ. – ДВЕ СВАДЬБЫ	362
6. В ПЕЧАЛЬНОЙ СТОЛИЦЕ. – ЦИНГА И ГОЛОД. – АДСКИЙ ЗАМЫСЕЛ	368
7. НЕ ВЕРНУЛИСЬ. – НОВАЯ НАПАСТЬ. – ОСАДА. – ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА	377
8. ГИБЕЛЬ КНЯЗЯ СИБИРСКОГО	383
9. РОКОВАЯ ВЕСТЬ. – КРОВЬ ЗА КРОВЬ. – В ДАР УРТ-ИГЭ	396
10. ТАЙНА ИШИМСКОЙ СТЕПИ. – ПОСЛЕДНИЕ ДНИ КУЧУМА. – ХАНДЖАР	402
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	412

Василий Григорьевич Ян

Поход Ермака

ПРЕДИСЛОВИЕ

Немного в истории примеров такого героизма, как смелый поход казаков в XVI в. для завоевания далекой, неведомой Сибири. Не много и героев столь своеобразных, безумно-отважных, как Ермак и его небольшая, но грозная дружина. Смелый орел-атаман, затеявший неслыханное, грандиозное военное дело, и его удальцы воины – это истинные богатыри. Чем-то стихийным веет от их могучих образов. Их поход – подвиг чисто сказочный, в духе древних русских былинных богатырей. Но он не выдуман, этот подвиг, не создан в красивой сказке или звучной песне. Тем выше, тем удивительнее он. Тем сильнее, тем значительнее его воспитывающее влияние на юные души. Эпизоды завоевания Сибири горстью удальцов, глубоко преданных своему делу, воодушевленных одной только идеей – завоевать для русского народа огромный, богатый Сибирский край и тем оставить о себе добрую память на века, – эти эпизоды невольно трогают душу, будят добрые чувства и оставляют неизгладимое впечатление.

Один из выдающихся наших педагогов и писателей говорит: «Если окружающая жизнь дает мало великих примеров героизма, пусть идет на подмогу литература, окрыляя юные души великими примерами прошлого или же героическими вымыслами, рожденными из души поэта!»

Цель настоящей повести – удовлетворить этому вполне справедливому педагогическому требованию. В ней перед читателем проходит вся грандиозная картина завоевания Сибири, с первого момента возникновения смелой затеи до последнего аккорда великого исторического события.

Придерживаясь строго проверенных исторических данных в отношении основного фона – завоевания Сибири, – автор оживляет этот исторический фон повествованием, в котором одинаково почетная роль выпадает и на долю русских победителей, и на долю побежденных, и отдает должную дань героизму как первых, так и последних.

В основу повествования положена история смелого юноши, случайно, по воле судьбы, попавшего в ряды разбойников-завоевателей и сумевшего личными своими качествами вызвать к себе любовь даже в черствых, загрубелых сердцах. Рядом же с этим благородным юношей перед читателем проходят типы героев и героинь – туземцев-дикарей, беззаветно преданных своей родине и готовых на всякую жертву ради сохра-

нения свободы родного края.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. НЕОЖИДАННОЕ НАПАДЕНИЕ

– Са-а-рынь на-а-а ки-ич-ку-у-у!

– Са-а-рынь на-а-а ки-ич-ку-у-у! – зычно и протяжно повторило отклик отдаленным раскатом гулкое лесное эхо...

Лошади вздрогнули, рванули и неожиданно стали как вкопанные. Стала с ними и тяжелая, громоздкая дорожная каптана [колымага]. Из окна ее выглянуло старое морщинистое лицо, и взволнованный голос тревожно спросил, обращаясь к вознице:

– Слышал, Егорушка, кричат будто?

– Слышал, Игнатий Терентьич... И кто кричит смекаю. «Он» таперича на разные голоса аукаться станет, – отозвался с козел ражий парень в посконной сермяге.

– Лесной хозяин [леший], мыслишь? С нами крестная сила, не к ночи будь сказано, – и, торопливо осенив себя крестным знамением, старик скрылся в каптане.

– Са-а-рынь на-а ки-ич-ку-у-у! – где-то близко, совсем близко, пронеслось по лесу.

Тихо ахнул Игнатий Терентьич.

Снова высунулось из окна каптаны встревоженное лицо.

– Егорушка, не «сам» это. По голосу слышать: человеческими голосами кричит-то, – дрогнув, пролепетали побелевшие от страха губы.

– «Он»-то по всякому кричать может: по-песьи и по-людски, – снова отозвался с козел возница, – а только и впрямь людские крики как будто, – заключил он, насторожившись и чутко прислушавшись с минуту.

– Станишники никак? [члены удалой казацкой вольницы, жившие грабежами] Господи, помилуй! – почти простонал старик.

– Станишники и то, слышь, расшкались.

– Ахти, беда! – зашептал упавшим голосом Терентьич. – Гони што есть духу коней, миляга! – обратился он к вознице. – Вызволяй из беды князеньку нашего! Не приведи Господи попасться в лапы живодерам! Хуже разбойников ночные тати [воры]. Ой, гони лошадок, Егорушка, спасай боярское дите... Покойный князь батюшка увидает с того света твое усердие и его молитвами воздаст тебе сторицей Господь...

Гикнул, свистнул, молодецки гаркнул на коней возница, ударил хлесткой нагайкой по всей запряжке, и сытая, удалая четверка взялась с места на всем скаку, волоча за собою скрипучую, громыхающую каптану.

Это был просторный возок, вышиною в человеческий рост, обитый сукнами и крытый коврами поверх

перин и подушек, грудой наваленных на скамьях. В углах каптаны стояли лари со всякою дорожною снедью, бочонки с медом и енды с квасом, заготовленные на долгое время пути. Тут же были нагромождены укладистые сундуки со всевозможным богатством в виде мехов, штук сукна и парчи, боярских одежд, утари и драгоценных камней, составляющих главное богатство именитых людей старого времени. Два тяжелых ларца с казною были упрятаны под пуховую перину под самый низ сиденья.

На перине, крытой кизыльбацким [персидским] ковром, спал юноша, вернее мальчик лет четырнадцати на вид. Серебряный месяц, заглядывая в слюдовое оконце, освещал спящего. Тонкий и стройный, в дорожном терлике [род кафтана], расшитом по борту золотой тесьмой, охваченный чеканной опояской поперек стана, со спущенным с одного плеча опашнем [верхняя одежда], он был очень хорош собою.

Из-под сдвинувшейся на затылок во сне мурmolки [род шапки] с соболями, не глядя на летнюю пору, околom, выбивались светло-русые кудри мальчика, шелковистые и мягкие как лен. Над сомкнутыми веками горделиво изгибались темные брови. Высокий, умный лоб, тонкий нос с подвижными, как у горячего молодого конька, ноздрями и полные, смело очерченные, полуоткрытые в сонной грезе, румяные губы несказанно красили это юное, открытое, милое лицо.

Старик Терентьич осторожно склонился над спящим красавчиком-отроком и долго тревожно вглядывался в его сонные черты.

– Господь с тобою, соколик, спи с миром! Бог да молитвы дедушки-князя вызволят нас из бе...

Он не закончил своей фразы.

– Са-а-рынь на-а-а ки-ич-ку-у-у! – новым зловещим раскатом пронеслось по лесу, замирая в чаще.

Помертвев от ужаса, Терентьич упал на колени посреди каптаны, беспорядочно шепча: «Господи, помилуй! Господи, не попусти!»

Спящий отрок проснулся и быстро вскочил со своего мягкого ложа.

– Чего ты, дядька? Аль попритчилось што? – прозвучал его звонкий, красиво вибрирующий голос, в то время как большие, ярко-синие глаза впелись в старика.

Эти синие глаза так и горели, так и искрились смелой недетской удалью и молодым задором. Ни капли сна не оставалось в них.

– Князенька, родимый, соколий мой! Неладное штой-то в лесу деется. Никак станишники нас выглядели и ровно по зверю какому облаву ведут; слышь, свищут да гикают окаянные, – потерявшись от смертельного ужаса ронял Игнат.

По лесу, действительно, носился зловещий посвист, точно ветер в метелицу гулял меж великанов деревьев в сгустившихся сумерках июньской ночи.

Оживала с каждой минутой дремучая чаща. Тысячью голосов заговорила, загикала, засвистела, затопала сотнею молодецких ног. Громкие окрики разбудили сонную тишину позднего ночного часа. Трепет охватил старого Терентьича.

– Беда, соколик, беда, Алешенька! Куды я тебя схожоню? Куды от лихого глаза укрою? Пропали мы, дитятко, как есть пропали! – лепетал несчастный старик.

Побледнел и юный князек. Дрогнуло сердце Алеши. Страх обуял детскую душу, но не надолго. В следующее же мгновение он был спокоен. Лишь темные брови строго нахмурились да синие глаза ярче блеснули в лунном сиянии.

– Сам говоришь, што Грозного царя не убоялся, – произнес твердым голосом мальчик, – а от ночных татей дрожишь. Кони сытые да ходкие у нас, авось не нагонят станишники.

– Не за себя боюсь, светик, – все так же растерянно лепетал дядька, – беда тебе, коли нагонят, ведаешь сам...

– А нагонят – откупимся, – тряхнув кудрями, отвечал мальчик, – чай немало казны в мошне припасено. А коли што – и ручницы [ружья] возьмем, палить будем! – смело заключил красавчик-князек.

– Храни Господи!... Ручницы! Ишь што выдумал! Да их-то, разбойников, с десятков али более соберется, а нас-то я да Егорка, да ты, молоденчик. Нешто спра-

виться с ими? Да и откупом немного возьмем – все едино обдерут до нитки. Единое спасение – коней гнать... Куды ни шло!

И снова высунулся в окно каптаны старик-дядька, снова перекинулся словом с возницей и, полуживой от страха и волнения, опустил на сиденье возка.

Лошади уже не бежали, а неслись молнией на всем скаку. Тяжелая каптана перепрыгивала с кочки на кочку, грозя ежеминутно грохнуться оземь и развалиться на сотню кусков. Месяц скрылся за тучу и внутри каптаны снова наступила ночь. В сгущенном мраке князек Алеша нащупал небольшой, как бы игрушечный чекан [род топорика], заткнутый за пояс и сжал его дрогнувшей рукою.

«Буду защищать дядьку, – коли доведется настигнуть нас татям», – вихрем пронеслось в мозгу смелого мальчика.

А чаща все стонала, и вопила, и гикала на разные голоса. Казалось, вся нечистая сила леса, с упырями, лековиками и ведьмами во главе, слетелась сюда справлять свой полночный шабаш.

Вдруг, совсем близко, чуть не над самой каптаной, просвистел молодецкий посвист. Вслед за ним ясно и четко прогремело над головой путников:

– Сарынь на кичку! [условный оклик или сигнал, который выкрикивали воры и разбойники, нападавшие на проезжих дорогах на богатых купцов и знатных бояр]

И кони разом остановились, схваченные под уздцы
десятком сильных, молодецких рук.

2. ПАГУБНЫЙ ВЫСТРЕЛ. – РАСПРАВА. – СТРАННЫЙ ОБМЕН

Десятка полтора дюжих молодцов, одетых в темные кафтаны и вооруженных бердышами [широкий топор на длинной рукоятке], кистенями [увесистый набалдашник на короткой палке, просто насаженный, прикованный звеньями или привязанный ремнями] и дрекольем, вмиг окружили капитана.

Вынырнувший снова из-за облака месяц осветил их сильные богатырские фигуры, полные бесшабашной удали и разгула лица, их мускулистые руки, сжимавшие оружие... Впереди был высокий плечистый парень, одетый богаче и наряднее остальных. На нем был алый кафтан, опоясанный дорогим поясом заморской чеканки, с заткнутыми за ним ножами и кистенем. Высокая шапка, с расшитым золотом околлом, и желтые, подбитые серебряными скобами, немецкой кожи, сапоги довершали наряд станичника, внешностью своей скорее похожего на знатного воина, нежели на вора и разбойника.

Его грозное лицо, казалось, не знало милосердия. Жестокою суровостью дышала каждая черта. Черные брови хмурились. Румяные уста под длинными холерными усами презрительно сжимались. Большой шрам,

след вражьей сабли, шел от правой щеки к переносице, странно отмечая это, еще молодое, но уже немало видевшее на своем веку, лицо.

– Гей, ты, кто кроется там в бесовом логовище, вылезай, што ли! – крикнул он зычным голосом, в то время как трое из его ватаги ринулись к Егору, стащили его с козел и скрутили поясами по рукам и ногам.

Все это произошло так быстро, что несчастный возница не успел даже крикнуть или попытаться защитить себя.

Внутри же капитаны было по-прежнему тихо как в могиле. Гробовым молчанием отвечали на приказ станичника сидевшие в ней. Только старик Терентьич, загордив своей плотной фигурой тонкую, статную фигурку юного князька, налаживал в темноте ручницу, наскоро схваченную из ближнего угла.

– Гей, кто там есть! Вылезай добром, не то худо будет! – снова прогремел своим громким голосом главный вожак шайки.

– Слышь, дядька, вылезать велит. Може и лучше так-то по-добру, по-здорову? – неверным голосом шепнул Алеша старику.

Он был очень бледен и взволнован. Пальцы, помимо воли, сжимали рукоятку детского чекана.

– Нишкни, детушка, нишкни! – замахал на него рукою Терентьич. – Може отмолчимся... А не то...

И верный дядька красноречиво потряс ручницей, го-

товясь дорого продать жизнь своего ненаглядного питомца.

В слюдовое оконце уже заглядывали бродяги.

Парень в алом кафтане первый ринулся вперед. Из всей силы налег он на дверку и в один миг высадил ее своими могучими плечами.

– Вона где голубчики притаились, старый ворон да молодой ястребенок! Ну, не погневайтесь, чин-чином, вылезайте, бояре! – с каким-то злорадным смехом произнес он и осекся разом, так как Терентьич вскинул свой самопал и, не целясь, выпустил в богатыря-парня весь заряд из ручницы. Блеснул огонек, грянул выстрел. Молодец в алом кафтане громко ахнул и с яростным проклятием схватился за плечо. Алая струя крови брызнула из раны...

– Никита Евсеич ранен! Гляди, робята! Держи старого филина! Вяжи его дьявола, и пащенка его заодно с ним! – бешеными криками загремели окружавшие капитану разбойники.

В один миг был обезоружен старый Терентьич. Его выволокли из возка, с ругательствами и проклятиями перекрутили ему руки веревками и потащили в чащу.

Следом за ним ринулся Алеша.

– Куда, ястребенок? – схватил его за руку один из станичников.

– И меня, и меня берите! Я заодно с дядькой, с Терентьичем... Жили вместе и помирать нам стало вме-

стях, – сверкая глазами, крикнул отважный мальчик.

– Ишь ты какой приткий! Помереть завсегда успеешь, – усмехнулся кто-то из бродяг, – прежде дай с твоим батькой справиться. Как он в нашего есаула пальнул! По головке за то, само собой, не погладим.

– Гей, – тут же добавил тот же голос, обращаясь к прочим станичникам, – пообчистите капитану, робята. Небось, немало в ней всякого добра да казны боярской припасено.

Едва было отдано это приказание, как несколько ражых молодцов кинулись к капитану и с диким остервенением принялись хозяйничать в ней.

Между тем раненый начальник, во главе небольшой кучки разбойников, углубился в чащу. Следом за ним вели связанных Терентьича и Егора. Подле злосчастного дядьки шагал Алеша, не отводя от Игната встревоженных глаз. Вскоре меж деревьев замелькали огни, зачернели новые силуэты людей... Их собралось около сотни на огромной лесной поляне, у нескольких разложенных тут и там костров.

В стороне от других, у большого костра, на огне которого варилось что-то в тагане, подвешенном с помощью трех копий, сидел смуглый юноша с открытым веселым лицом, черными глазами и такими же кудрями, выбивавшимися из-под шапки.

На нем был такой же как и у раненого есаула наряд, только вместо всякого оружия, заткнутого у того за по-

яс, висела большая, тонкой работы, кривая турецкая сабля с осыпанной дорогими камнями рукояткой, так и бросавшаяся своим великолепием в глаза.

– Летали серые коршуны и выследили гнездо кукушки. С поживой тебя, есаул, – обнажая улыбкой белые зубы, произнес черноглазый, отодвигаясь от костра и уступая место раненому начальнику.

– Спасибо на такой поживе! Зацепил меня малость старикашка... Ну, да расправлюсь по-свойски с обидчиком моим. Попомнит, небось, на том свету, каково из самопала палить в есаула, – зловеще сверкнув очами в сторону связанного Терентьича, проворчал тот.

– Давай его сюда, робя! Допрос ему чинить надо, – свирепо крикнул он тут же, обращаясь к приведшим пленника людям.

Сильным, грубым толчком выдвинули старика вперед.

– Ты – боярин? – резко спросил его есаул.

– В жизни им не бывал. Мы простые гости [купцы] Московские, держали путь от престольного града домом обратно, – чуть внятно роняли дрожащие губы обезумевшего от ужаса Игната.

– А лари да укладки с добром это товары, што ли, скажешь?... – криво усмехнулся есаул, невольно морщась от боли и зажимая рану у плеча.

– Товары и есть... Обменяли их на пермские гостинцы и везем домой... Отпусти, милостивец, заставь Бо-

га молить, – лепетал старик, падая на колени.

– То-то обменял! Что-то дюже много их накопил, старина! Ровно добро боярское... Ну, да ладно, поверим, коль не врешь. А парнишка этот – внучек твой, што ли? – также усмехаясь, продолжал свой допрос есаул.

– Внучек, со мной из Перми на Москву ездил, а сейчас вертает обратно, – словно обрадовавшись неожиданному исходу разговора подтвердил Терентьич.

– Красно придумал, старина, – неожиданно расхохотался есаул-разбойник, – да только внучек на тебя словно ни осанкой, ни обличьем не сходен. Да и по одежде разнится. Ишь, у него чекан-то, што у самого царевича, так камнями и играет. По всему видать боярское отродье! Да и ты ж, не во гневе буде сказано, старик, переодеванный, должно, боярин, из тех кровопивцев самых, што народ взятками да податями давят, да кровь христианскую сосут... Видать, што совесть у тебя нечиста, боярин, коли зачал палить ни за што, ни про што – здорово живешь. Гей, молодцы, вздернуть всех троих, и старичка речистого, и пащенка-внучка богданного, да и возницу заодно! Все они переодеванные губители! Ишь, добра, народным потом добытого, прозапасли полну каптану, – присовокупил грозный есаул и махнул рукою.

С рыданьем и воплем повалился ему в ноги Терентьич.

– Батюшка, не губи! Милостивец, отпусти! Не за се-

бя прошу. Паренька не казни, да Егорку. Нив в чем не-
повинны оба... Меня покарай, а их ослобони на волю,
батюшка милостивец...

– То-то, милостивец!... Запел соловьем... Душа в
пятки... Вздернуть всех троих! – снова повысил свой и
без того зычный голос начальник.

Три дюжих станичника кинулись к старцу, набросили
ему на шею веревку и подтащили к толстостволой бе-
резе.

Не помня себя ринулся к дядьке Алеша, взмахнул
игрушечным чеканом и дико вскрикнул:

– Не троньте дядьку, не то...

Но в тот же миг сильная рука обезоружила мальчи-
ка. Детский чекан очутился в руках одного из разбойни-
ков; другой крепко стиснул в своих мощных руках пле-
чи Алеши.

Напрасно рвался мальчик к Терентьичу. Могучие
пальцы станичника, словно клещами, впивались в его
плечи. Он видел, как его дядьку подвели под огромный
сук, как закинули на сук веревку и как медленно стало
подниматься на ней грузное тело старика.

– Алешенька, светик, храни тебя Господь! – успел
только произнести несчастный, и в последних конвуль-
сиях дрогнуло мертвое тело Игната.

Дикий крик пронесся по поляне и как подкошенная
былинка упал на траву сомлевший князек. Он не ви-
дел продолжения ужасной расправы, не видел, как ря-

дом с мертвым дядькой повисло на суку и тело Егора. Не видел, как, обшарив каптану, станичники с богатой добычей присоединились к костру, как один из них, по приказу озверевшего от боли в плече есаула, подошел к нему, Алеше, и занес над его головой тяжелый бердыш.

– Стой! – крикнул внезапно черноглазый молодой разбойник. – Стой, Ермила!... Ей, Никита Евсеич, отдай мне его, – обратился он к своему жестокому соседу, указывая глазами на обмершего Алешу.

– Што, сердцем стал больно жалостлив, Матюша? Ровно девка красная, засмеялся есаул. – По всякой падали кручиниться – кручины не хватит. Не по-казацки это... А еще подьесаулом назначен! Вот так подьесаул! Над всякой дохлятиной плачется, ровно баба слезливая.

– Нет! Не моги ты меня унижать, есаул, – вскакивая со своего места и вытягиваясь, как струна, во весь свой стройный рост, ответил черноглазый, – сам ведаешь, какая баба из меня вышла. Небось, николи не дрогнула рука Мещерякова... колол и рубил с плеча врагов народных. Неведома сердцу жалость была, а ныне она заговорила. И стыдного ничего тут нет... Обмер парнишка, а ты его мертвого прикончить велишь. Нешто ладно это? Нешто на то и поднялась вольница казацкая, чтоб с ребятами малыми воевать?... Ну, про старичишку, ляд с им, ничего не скажу. Он в тебя палил, за

то и поплатился. Око за око, зуб за зуб... Возница тоже волком смотрел. Но этот малец ни в чем неповинен. Вот што: видал мою саблю турецкую? Богатее и краше у самого атамана-батьки не сыщешь... Сам салтан, по-ди, не носил такой-то. Снял я ее у воеводы того, што изрубили мы летось с отрядом. Возьми ее у меня и носи на здоровье, а мне мальчонку за то отдай.

И быстро отцепив драгоценную саблю от пояса передал ее есаулу.

Замолк черноглазый и ярким взором вонзился в товарища, а у того зрачки так и загорелись. Турецкая сабля невиданной красоты давно пленяла его. Недолго колебался Никита Пан, – как звали раненого главаря шайки, – и ответил:

– Бери парнишку, Матвей, твой он... А за саблю турецкую великое тебе, большое спасибо. Уж больно под душе она мне пришлась...

И чуть не впервые улыбнулись суровые глаза есаула, впиваясь восхищенным взором в дорогой подарок.

Черноглазый Мещеряков даже вспыхнул от удовольствия, вскочил на ноги, отошел от костра и, быстро приблизившись к лежащему на траве Алеше, бережно поднял его, взвалил на плечи и понес бесчувственного в чащу леса.

3. ГРОЗНАЯ КАЗАЦКАЯ ВОЛЬНИЦА

Широко, вольно, плавно и красиво катит красавица Волга серебристую ленту своих тихо ропчущих вод. Зеленою осокой да пышными дремучими лесами поросла, убралась на диво красавица-река. Дробно рябит шалун-ветерок нескончаемую гладь ее хрустальных течений...

Крылатые белогрудые чайки носятся молнией над водяною гладью, то низко-низко купая серые крылья в студеной волне, то вздымаясь высоко к небу, плавно реют в голубоватой дали и оглашают диким и резким криком сонную тишину прибрежных лесов.

Впрочем, не всегда мертвая тишина царствует над Волгой. Часто победным боевым кликом оглашается красавица-река... Зашуршит, зашепчет прибрежная осока. Дрогнут камыши, и целая флотилия остроносых стругов и ладей заскользит правильной шеренгой, клоня долу концами весел гибкие, покорные стебли тростника. Одна за другой скользят лодки... Гребцы, как на подбор, молодец к молодцу. Глаза ястреба, рука – долот булатный, сила у всех богатырская. Гребут дружно, песни поют, звонкие молодецкие песни, про славные набеги, про житье-бытье вольной вольницы, про самих себя.

Междоусобные войны древних князей, издевательство татар, придавивших Русь своим тяжелым игом, неправильные подати и налоги, заставляли исстрадавшихся в нужде и насилиях жителей русских городов и деревень, а иной раз и дворовых холопов, притесняемых их господами боярами, бежать на окраину, в степь. Эти беглецы собирались в вольные бродячие дружины, ютились по берегам больших рек Волги и Дона и уходили далее в привольные, южные русские степи, на рубеж. Они-то и положили начало русскому казачеству. Само слово «казак» значит вольный человек. Эти вольные люди охотно принимали в свои дружины беглых преступников, татей и воров. Многие из казацких обществ селились по рубежу, образуя станицы, и несли службу государеву, отражая нападение ногайцев и татар, которыми кишели южные степи. Другие жили разбоем и грабежом по широкой Волге и синему Дону, да по Каме-реке. Эти последние никому не давали спуска. Грабили купцов с товарами, русских и чужеземных, плавающих на судах по широким рекам. Ни князья, ни бояре, ни даже послы иноземные не имели от них пощады. Стаей диких коршунов нападали они на корабли и караваны, грабили их, безжалостно убивали купцов и путешественников, а добычу волокли в свой казацкий «круг» [сходка, во время которой решались все дела вольной казацкой дружины] и здесь главный атаман-батяка делил поровну всю награбленную

добычу между своими удалыми дружинниками.

1564 год, ознаменовавшийся учреждением опричнины царем Иоаном IV, увеличил такие вольные шайки до невероятных размеров.

Славный покоритель Казани и Астрахани, счастливый завоеватель Ливонских земель, грозный соперник короля польского Сигизмунда-Августа и шведского Густава-Вазы, – царь Иоанн Васильевич, после смерти любимой жены своей, царицы Анастасии и сына-первенца Дмитрия [не надо смешивать первого, умершего в младенчестве, сына Иоаннова Дмитрия с царевичем-отроком Дмитрием, убитым в Угличе], заподозрил в их смерти своих давнишних врагов – бояр. Былая детская ненависть к своим бывшим воспитателям и притеснителям, управлявшим государством за его малолетством, вспыхнула теперь с новой силой в царя. Все припомнил боярам злопамятный Иоанн: и как потакали его дурным наклонностям бояре, и как отдаляли ближних людей от него, и как всячески проявляли над ним свою тяжелую власть. А тут еще при жизни царицы и царевича довелось жестоко заболеть царю и те же бояре, не желая присягать его преемнику, малютке Дмитрию, задумали присягнуть князю Владимиру Андреевичу Старицкому, двоюродному брату царя. Все помнил Иоанн, ничего не забыл. И теперь решил жестоко отомстить всем ненавистным ему боярам. Он начал с того, что отдалил от себя Адашева и священника

Сильвестра, своих прежних любимцев, советами которых пользовался долгие годы. Кто-то из новых приближенных царя успел шепнуть убитому горем государю, что Сильвестр и Адашев отравили царицу Анастасию. Это и послужило началом кровавой драмы. Иоан назначил суд над своими недавними друзьями. По приговору этого суда Сильвестр был заточен в Соловецкую обитель, Адашева же бросили в тюрьму, где несчастный скоро покончил с собою. Между тем царь переехал из столицы в Александровскую слободу и занялся там устройством опричины, той удалой дружины телохранителей, которые готовы были в огонь и в воду за своего царя. С этими-то опричниками [слово «опричник» происходит от «опричь», т.е. опричь царя (кроме царя) они никого не знали]. На содержание опричников были отданы многие города, а в самой Москве даже некоторые улицы. Все остальное составляло земщину, порученную Государственной Думе с боярами Мстиславским и Бельским во главе, по большей части худородными дворянами и детьми служилых людей, во главе которых стоял сделавшийся главным и ближайшим советником царя Малюта Скуратов-Бельский, Иоан выводил крамолу из среды боярской. Достаточно было кому-либо из опричников оговорить боярина, будь это даже самый прославленный в боях воевода-герой, его ожидали лютые муки в застенке палача Малюты и неизбежная казнь. Кровь полилась рекою по Руси право-

славной. Стон стоном повис над Московской землей.

Жадные и лютые, новые слуги государевы – опричники, желая поживиться за счет казны именитых людей, оговаривали то того, то другого из земских бояр перед Иоаном. И несчастного боярина, чаще всего неповинного, брали в застенки, пытали до смерти, иногда со всей семьей, а все его богатства, вотчины и имение отдавались клеветникам.

Лучшие имена именитых людей были вычеркнуты из списка живущих. Брат Алексея Адашева, Даниил, князь Дмитрий Овчина-Оболенский, прославленный воевода, князь Михаил Репнин, Курпины, Колычевы и другие, без числа и счета, погибали мученической смертью по приказу царя. Погиб Владимир, князь Старицкий с семьей, погиб и свергнутый митрополит Филипп за его «печалование» перед царем за осужденных. Многие бояре, князья и именитые люди, в ужасе перед лютыми муками на дыбе или под ножом палача, бежали за литовский рубеж и переходили на службу к польскому королю Сигизмунду. Знаменитый князь Курбский, Черкасские, Вишневецкие нашли себе новое отечество в Польше. Их холопы бежали также, зная обычай царя губить не только самого оговоренного боярина с семьей, но и всю дворню боярскую, а нередко и целые деревни, принадлежащие обреченному на смерть. И холопы, и крестьяне бежали сотнями в привольные степи и на берега Волги и Дона, где «гуляли»

вольные казацкие дружины, разбоями и набегами запечатлевавшие каждый свой шаг.

Но больше всего здесь все же было недовольных правлением воевод да тяжелыми податями, гнетом давившими обедневший голодный русский народ. Гуляли казаки по Волге и Дону, приводя в страх и ужас купцов и гостей иноземных да воевод-бояр... Бедных людей казаки не трогали. Бедный человек всегда мог найти пристанище среди грозных вольных дружин. Грабили и убивали тех, кто наживал тяжелую мощную обманым торгом, богатеев-купцов, своих и иноземных. Не раз схватывались также казаки с кочевыми племенами ногайских и крымских орд, уходя далеко в степи, всюду прославляя могучее удалое имя казацкой вольницы – Поволжской и Донской.

Много слышал Иоан жалоб на кровавые расправы вольных казаков. Грозный царь слал сильные отряды ловить разбойников, обещал богатые награды за головы их главных вождей, заочно приговаривал к плахе удалых атаманов. Но неуловимы были шайки вольных молодцов... Сама Волга-матушка да Дон широкий, казалось, покровительствовали им, пряча в прибрежной осоке их мелкие струги от царских судов, да дремучие леса укрывали смельчаков под раскидистыми ветвями деревьев в невылазной угрюмой чаще...

4. ОРЕЛ ПОВОЛЖЬЯ. – КОРШУНЫ И ВОРОНЫ. – ПОГОНЯ

Что сверху-то было Волги-матушки,
Выплывала то легка лодочка,
Уж и всем-то лодка изукрашена,
Парусами она изувешена,
Ружьёцами изуоставлена.
У ней нос, корма раззолочены.
На корме сидит атаман с ружьем,
На носу стоит есаул с багром,
По краям лодки добры молодцы,
Среди лодки бел-тонкий шатер,
Во шатре лежит шелковый ковер,
Под ковром лежит золота казна,
На казне сидит красна девица;
Она плачет, как река льется,
В возрыданьи слово молвила:
"Не хорош то мне сон привиделся,
Уж как у меня, красной девицы,
Распаялся мой золотой перстень,
Выкатился дорогой камень,
Расплелась моя коса русая,
Выплеталась лента алая,
Лента алая ярославская.
Атаману быть расстреляну,
Есаулу быть повешену,

Добрый молодцам срубят головы,
А мне девушке во тюрьме сидеть"...

Дивно и громко несется песнь по зеркальной глади могучей реки. Золотое солнце играет волной, дробясь миллиардами искр на хрустальной поверхности вод. Царственно-величаво в своих лесистых берегах катится красавица-Волга. То вздымаются к небу высокие гористые берега, то голой равниной стелются вдаль, туда, где синее небо граничит с зеленой степью. Чуть шуршит прибрежная осока, низко склоняясь под могучими ударами гребцов... Ходко и стройно движется-скользит среди целого моря тростника утлая ладья. А песня несется все привольнее и шире, вылетая из груди четырех дюжих молодцов, сидящих на веслах.

Им подтягивает седой человек, стоящий на корме с правилом. Плотный, высокий, в дорогом кафтане из тонкого сукна, с массою оружия, привешенного у пояса, в расшитой шелками рубахе, выглядывающей из-за ворота кафтана, он так и дышит мощью и силой, не глядя на пожилые степенные годы. Высокая казацкая шапка съехала ему на темя и остриженные в кружок седоватые кудри падали вокруг умного, открытого лица. Возле него сидел на обрубке дерева, поставленном на дне лодки, человек лет тридцати, олицетворявший собою тип настоящего зрелого красавца-мужчины. Широкие могучие плечи, стройный, на диво сло-

женный богатырский стан, не столько высокий, сколько сильный и мощный, смуглое, румяное лицо, орлиный взор светлых, словно душу прожигающих, горячих глаз, странно дисгармонирующих со смуглой кожей и черной шапкой смоляных кудрей и черною же бородою. Что-то властное, привыкшее повелевать было в его сильной богатырской фигуре и в светлых искрометных очах, спорящих в блеске с самим солнцем. Гордые, смело очерченные губы, плотно сжатые под черными же усами, и широкие густые брови, сошедшиеся над переносицей, делали его внешность незаурядной, величественной и красивой. В белой шелковой рубахе, расшитой по вороту и краям рукавов пышным узором из крупных бурмицких зерен, с золотой тесьмой опояски, он не имел и следа оружия при себе. Только из-за голенища торчал короткий нож, сверкающий в лучах солнца разукрашенной камнями рукояткою. Бархатный с парчовой тесьмой кафтан был небрежно накинут на плечи. С непокрытой головой, предоставив свои черные кудри ласке солнечных лучей, он сидел в глубокой задумчивости на дне лодки, как бы убаюканный пением гребцов...

А песня лилась широкою волною, то сливаясь с нежным рокотом быстрой речной волны, то отделяясь от нее зычным победным звуком и вспугивая белогрудых чаек среди густых зарослей и золотистого тростника.

Седой человек, стоявший на правиле лодки, долго

смотрел на задумчивого богатыря. Наконец не вытерпел, положил на дно челна шест, которым правил, и, подойдя к чернявому молодцу и коснувшись его плеча рукою, спросил с заметной ноткой почтительности в голосе:

– Што закручинился, атаман-батька? Аль не весело тебе?... Аль и песня не тешит?

– Не весело, Иваныч, – слегка дрогнув от неожиданности своим мощным телом, отвечал тот. – Как рассказал ты мне про ночное гульбище ребят наших, Никитки Пана с шайкой его, так ровно ножом мне мысль голову резанула: пошто убили старика и возницу наши молодцы? Пошто мальчонка запужали до смерти?

– Да старик-то с возницей, бают наши, переодетые бояре были. Из ручницы зачали палить, старик Микитку ранил. Ну и того, значит, озверел Микитка. Сам ведаешь, не из кротких он... С той поры как прикончили у его на глазах невесту опричники царские, поклялся он мстить всем слугам Ивановым без разбору и суда, – все так же почтительно докладывал седой человек.

– Зверь-человек, што и говорить, не помилует и сирот... А по мне, Ваня, чем меньше крови на душе, тем легче живется. Врагов народных, кровопивцев-бояр да опричников кромешных, да купцов-лихоимов аль воевод-взяточников, ну, этим я первый без жалости нож в сердце всажу... А те, што тихо да мирно путь держат и

никому зла не чинят, их мово приказу губить не было. Так ли я говорю, есаул?

– Так-то так, атаман-батька! А только и то помысли: нешто нам молодцов наших сдержать? Кровь-то у них горячая, што огонь... Зайдутся, удержу нет... Хошь бы и ты, не прогневишь на верном слове, хошь бы и тебя взять в младости твоей: небось загубил ненароком не едину душу неповинную, – тихо, чуть слышно, произнес старый есаул.

– Загубил, Ваня, – сильно вздрогнув и нахмутив свои черные брови, произнес атаман, – помню, на Дону то было... Еще при славном атамане Михаиле Черкашенине [знаменитый в свое время атаман Донского и Азовского казачества]. От Азова за Дон забежала часть его шайки на Волгу, к нам. Гуляли на просторе вместиах. Вместиах же ограбили и караван купцов от Астраханского юрта с кизыльбацким товаром и шемаханскими шелками, пробиравшийся по Волге... Ну, это пронюхали о них молодцы. Чин чином, как водится, за сели со стругами в осоке. Подплыло судно, подпустили, напали, как всегда... Ну, резня это... пальба... рубка... а апосля дележ. Только вижу я не все люди с суденышка посняты да перебиты. Сидит это старикашка плюгавенький, не то турка, не то пес... У самого зубы со страха лязгают да глаза, ровно мыши, бегают. А в руках штука парчи; к груди прижал, держит крепко. Подошел это я к ему, наклонился, а он, откуда ни возь-

мись, нож острый из мошны вытащил да и грозитя им. Рассвирепел я, зашлось во мне сердце. Мне бы его обезоружить, а я, грешен, чекан из-за пояса выхватил да тем чеканом старикашку по темени и хватъ... Мозги наружу... и ахнуть не успел... Кровью чоботы мне да полу кафтана покрасил... А зубами, кажись, и мертвый лязгал, пока не убрали его, глазами как-то страшно, с укором смотрел. Индо душу мне вывернул... И долго чудился мне его взгляд... С той поры закаялся я проливать кровь неповинную, Ваня, – тихо закончил свой рассказ атаман.

А песнь все развертывалась, все шире, все мощнее и вольнее расплывалась на речном просторе. Вздыхал тростник. Шуршала осока. Скользила под могучими ударами весел ладья.

Вдруг смолкла, оборвалась песня на полуслове. Крик иволги пронесся и замер в прибрежном лесу.

– Наши вестуют. Ястребовое гнездышко близко, – разом, оживляясь, произнес атаман и, поднявшись с места, вытянулся во весь рост, приложил руку ко рту и протяжно свистнул.

Ему ответили криком горлинки из чащи, и вслед за тем отдельно и часто закуковала кукушка.

– Приставай, робя! Слышь, молодцы наши голос подают. Причаливай! – снова отдал приказ атаман, и, когда ладья незаметно подплыла к песчаной отмели и ударилась носом в песок, он первый выскочил на бе-

рег. За ним вышли его спутники. Лодку привязали к прибрежной осоке и, поклав снасти на дно, двинулись от берега в лесную чащу.

Сделав с полсотни шагов, все четверо остановились. Снова приложил руку ко рту атаман и на этот раз карканье ворона огласило лес. Из чащи отвечали таким же карканьем. Путники прошли еще немного и очутились на большой лесной поляне, окруженной непроходимой чащей лиственных деревьев. Срубленные пни, торчавшие на каждом шагу, показывали, что еще недавно это место было так же густо, как и окружающая его чаща. Теперь, вместо великанов-деревьев, были разбросаны на каждом шагу шатры и шалаши из ветвей и листьев.

Посреди поляны, тут и там, сидели люди большими группами, одетые кто во что попало. Мелькали здесь и нарядные кафтаны, и посконные рваные мужицкие сермяги, и зипуны, и старые шапки. В оружии, имевшемся у них, замечалось тоже огромное различие: иные были вооружены бердышами, чеканами, саблями, иные кистенями и ножами, а то и просто дубинами.

Среди бродяг богатством наряда и обилием вооружения выделялись трое. Тут был и суровый Никита с рубцом на лице и плотно перевязанным холстиной раненым плечом, прозванный Паном за его польское происхождение, и черноглазый молодой Матвей Мещеряков, и Яков Михайлов, старший из подъяесаулов, угрю-

мый, с нависшими бровями, старик, прозванный Волком за его хищные редкие зубы, за блуждающий взгляд и полное отсутствие милосердия в делах нападения и разбоя. Он стоял посреди большой группы людей и что-то оживленно рассказывал окружающим.

Остальные разбойники почтительно поглядывали на этих троих, отчаянной удачью прославившихся, людей.

Лишь только появился атаман со своими спутниками, все почтительно вскочили со своих мест, уступая ему дорогу. Шапки мигом послетели с казацких голов и вся поляна огласилась громким криком:

– Здрав будь, атаман-батко!

– Здорово, ребятушки! – сильным, звучным голосом отвечал вновь прибывший.

– Есаулу Ивану Ивановичу здоровьице! – новым криком пронеслось по лесу.

– Спасибо, братцы! – отвечал седоусый есаул.

Между тем острые глаза атамана обежали поляну.

– Не вертались дозорные? – спросил он, обращаясь к трем своим помощникам, стоявшим отдельно.

Старый Волк выдвинулся вперед.

– Не вертались, Ермак Тимофеич. А с ночи ушли. Вот ужo подымется солнышко, полдничать станем, глядишь, и подоспеют молодцы.

– А ты, Михалыч, откедова? Ишь кафтан на тебе еле жив – весь в дырках. Да и на лице тож царапины да

кровь запеклась, – обратился Ермак (так звали атаман) к старику Волку.

Яков Михайлов только тряхнул плечами.

– На разведки ходил я, атаман. Самую чащею пробирался, – вишь, сучья да ветви искровянили рожу Черных воронов выглядывать ходил...

– Ну, и што ж, выглядел? – живо вскинул на него глазами Ермак.

– Выглядел... Недаром волком меня зовут ребята наши. Инь глаза-то у меня, што у зверя лесного, да и чутье его же... Близко, в десяти всего переходах [верстах] вороны черные. Видимо-невидимо их, што твоя туча. А ведет их боярин-князь Одадуров, воевода царский. К самой голове рати я подползал, в кустах хоронился, да в дуплах дерев... Все выглядел, все высмотрел, батько-атаман. Небось ни один из их не пронюхал, что Михайлов Яков, по коему застенек Малютин плачет, на воеводское пресветлое личико близехонько любовался, – со смехом заключил свою речь старик.

Захохотали и остальные разбойники. Веселым гомоном оживился лес.

– Ай да Волк! Ай да Яков Михалыч! На воеводское личико, бишь, налюбовался! – с нескрываемым восхищением повторяли в группах.

– Молодец, Яша! Век не забуду, – сильно ударив его по плечу могучей рукою, крикнул Ермак, и острые глаза его вспыхнули ярким огнем. – Жалую тебя кафтаном с

плеч того воеводы.

– Слышь, ребята? Слышь? – так и всколыхнулся Яков, – кафтан мне атаманом княжий пожалован! Стало с самим князем и расправа моя!

– Твоя, подъесаул... твоя, дедка! Што и говорить, заслужил, – отозвались громкие голоса со всей поляны.

– А людей наших не видал, Михалыч? – дав утихнуть крикам, снова обратился к старику Ермак.

Старый Волк хотел ответить и не успел. Топот нескольких десятков копыт послышался в чаще. Точно несколько человек сломя голову неслись на конях по лесу.

Ермак выпрямился и насторожился. Орлиные очи его впились в чащу, как бы прорезывая густую листву деревьев и кустов.

– Ребята, го-то-о-всья! – умышленно замедленным шепотом, но громко и сильно, пронесся вслед затем его голос по поляне.

Как действием волшебства оживилась по этому крику поляна. Со всех концов ее к середине кидались люди, спешно хватая оружие – самопалы, бердыши и ножи. В боевом порядке становились разбойники, развертываясь правильным четырехугольником, готовые к бою. Впереди всех стоял атаман. Его орлиный взор по-прежнему не отрывался от чащи. Седоусый есаул Кольцо встал возле атамана. Все взоры впились в Ермака. Все ждали, готовые грудью постоять за свою сво-

боду, за вольные головы казацких дружин... Казалось, поведи только черною бровью храбрец-атаман, и вся эта горсть смельчаков ринется вперед навстречу еще невидимому врагу.

Топот слышался все ближе и ближе... Вот замелькали цветные кафтаны в зеленой листве.

– Го-то-о-вся! – еще раз пронеслось по лесу.

Почти одновременно с этим выскочили из чащи с десятков верховых на быстрых и рослых конях, убранных чепраками.

– Наши! – вырвалось разом удивленным возгласом из нескольких сотен грудей.

– И впрямь наши! Дозорные вернулись! – весело и радостно крикнул Ермак. – Да и с прибылью никак!... Коней, гляди, робя, пригнали!

– И то с прибылью! – весело крикнул черноглазый Мещеряк, скакавший впереди всех на дивном, белом, как снег, аргамаке, – воеводо-вым конем тебе челом бью, атаман! – и спрыгнул с лошади на всем скаку, веселый, радостный, так и сверкая темным взором. За ним спешили и все остальные. Это были все молодые, сильные казаки, как на подбор молодец к молодцу. Ничего хищного, ни разбойничьего не было в их мужественных, дышащих уда-лью, лицах.

– Здорово, Мещеря! Отколь выудил коньков? – спросил молодца-юношу Ермак Тимофеич.

– Из-под самого носа воеводиной рати стянул, ата-

ман, – бодро и весело отвечал тот. – Вишь притомились царские дружинники-стрельцы да дети боярские: на привале полдничали да соснуть полегли. Больно крепки чарки зелена вина, видно, у царской рати. Ну, а кони на траве стреножены, паслись... Я, да Ивашка Гвоздь, да Соловейка, да Петрушка-Пушкарь ползком до часовых и добрались. Их похватили, перевязали, рты позаткнули, а сами коней подхватили да сюда. Проснется воевода – на палочке верхом поскачет, его сподручные тож, – с хохотом закончил свою речь черноглазый Матвей.

– Ай да Мещеря! Ай да хват-парень! – захохотал и Ермак. – Видано ли дело, штоб из-под самого носу воеводы коней увести!

За ним хохотали и все разбойники, находившиеся на поляне. Снова ожила дремучая чаща Поволжья и сотнями голосов прокатилась эхом, замирая в хрустальных волнах соседки-Волги. Казалось, глядя на все эти беспечно смеющиеся лица, что не душегубы-станичники это, готовые, как звери, броситься с ножами на добычу, а веселый, добродушный народ собрался поболтать и побалаясничать в лесной чаще.

Но вдруг снова все смолкло...

Лицо черноокого Матвея сразу стало серьезным.

– Слушай, атаман-батя, – произнес громко юноша, – кони-конями, а рать – ратью. Черные вороны по следам нашим идут; напали верно... Всего в пяти пере-

ходах от нас они. Сниматься надо да утекать, не то на-
грнут... Видимо-невидимо их нагнало: передовой от-
ряд воеводский и то змеей растянулся длиннющей, на
два перехода хватит.

– С тыщу будет? – небрежно кинул Ермак.

– Какое? Тыщи с три, а то и более! К ночи ждать бес-
пременно надо...

– Зачем ждать, – усмехнулся Ермак. – Когда черные
вороны тучей на коршуна несутся, коршун к небу взды-
нется и пойдет на улет. Не соромно то, не зазорно, –
все же коршун выше да могучей, все же не одолеть его
стае вороньей! – презрительно повел плечами атаман.

Потом, помолчав немного, он словно раздумал. Спу-
стя несколько минут громким кликом далеко раскатил-
ся его могучий голос:

– На струг, ребята! Живо! На струг!

Ожила мигом поляна. Забегали, засуетились люди,
собираясь в путь. Снимали шатры, убирали всякие
признаки жилья-стоянки. Каждый хлопотал за себя и за
других. Ермак отошел к стороне, терпеливо выжидая
окончания сборов.

Целый план роился в этой гордой вольной голове,
по которой давно тосковала Московская плаха.

Гроза Поволжья не любил утека, как он называл бег-
ство от царских дружин, но он не был волен в сво-
их чувствах. Его пятисотенная дружина лежала цели-
ком на его совести. Будь он один, бобылем, без этой

вольницы, прославившей себя разбойничьими удачными делами, он бы не бежал, как ночной вор, а дорого бы продал царскому воеводе свою удалую головушку! Прежде чем одолели бы его ратники-стрельцы, он не мало искрошил бы их своей казацкой саблей.

Но не один он, Ермак. Он отец всех этих удальцов, деливших с ним радость и горе казацкой жизни. Они его выбрали своим атаманом-батшкой, вверили ему свою судьбу, должен же он охранять их буйные, смелые головы. Многих из них ждут-недождутся палачи. Иван Кольцо, ближний советник и есаул Ермака, давно заочно приговорен к мучительной казни четвертованием; Волк, Михайлов Яков, бежал из застенка; Никита Пан приговорен с ними; о нем, Ермаке, и говорить нечего: лютые муки ждут его в Москве. По нем, как по травленному зверю, гонится царская погоня. Все Поволжье занято московским дружинами. Надо спасаться, уносить свою шкуру. Не за себя жутко атаману, а за тех, которые слепо доверили ему свою судьбу.

Любит он их всех, могучий атаман. Дорог ему каждый из этих отчаянных удальцов, с которыми протекли вольные годы его бесшабашной казацкой жизни. И пока собираются его дружинники в дальний путь, он сидит с глубокой думой, поникнув головою.

– Атаман-батшка, – слышится ему тихий голос, – дозвожь слово молвить. Просьбишка у меня до тебя малая есть.

Ермак быстро поднял чернокудрую голову. Юноша Мещеряк, его любимец, удалец-подъесаул, стоит перед ним.

– Выкладывай, Мещеря, – ласково, окинув казака своим орлиным взором, произнес атаман и дружески хлопнул по плечу черноглазого Матвея. – Вместе щи хлебаем, авось вместях и беду разжует.

– Не беда это, батька, а зацепа одна, – потрянув кудрями, произнес Мещеряк. – В шалаше у меня мальчонка лежит недужный, тот самый, коего я у Микиты на саблю обменял. Так дозвожь его с собой прихватить, Ермак Тимофеич.

– Да стоит ли, Мещеря? Он тебе руки свяжет, а все одно, сказывали молодцы, не жилец он, не сегодня-завтра помрет.

– Не жилец, это верно, атаман.

– Так, може, царским ратям его оставить? Не найдет ли родичей ненароком али ближних знакомцев своих. Устроить бы его как-нибудь повиднее в шалаше. Найдут его царские дружины.

– Так-то так, атаман, а только жалко мне што-то оставлять ворогам нашим мальчонку. Уж больно он мне братишку напомнил. Был у меня братишка, атаман, Ванюшкой звали... Помер в молодых годах. Такой же пригожий да нежный, как боярчик этот! Так того... Дозволь мне его при стане держать, атаман.

– Ну, держи, парень, нет на том моего запрета. Лишь

бы не помер на пути мальчуга. Дальний путь будет, в прикамские леса мы на стругах поплывем, – серьезно и тихо приказал Ермак.

– Попытаю уберечь, атаман!... Спасибо на добром слове. Уж больно на Ванюшку он обликом схож.

И низко поклонившись начальнику, Мещеряк кинулся к небольшому шалашу, стоявшему на дальнем конце поляны.

Ермак долго смотрел ему вслед, пока не скрылась под темным навесом сильная, рослая фигура юноши.

– Ишь, жалостливый! А ведь доведись до схватки – и старого, и малого ножом пырнет... – чуть усмехнувшись, прошептали его губы.

И, словно встряхнувшись, быстро поднялся с места Ермак и протяжно свистнул три раза. В один миг вся его дружина была вокруг своего атамана.

– Готовы, робя? – прозвучал его громкий возглас.

– Готовы, атаман! – дружным хором отвечал весь стан.

– На-а стру-уг! – раздалась команда. – Коней воеводских разнуздать и пустить по степи, пуцай ногайцы ловят!... С конями возжаться не надо. А поляну с четырех концов запалить! Пуцай господин воевода дыму до отвала налопается, вражий сын! – сверкнув глазами, приказал коротко Ермак.

– Близехонько уж, поди, они, – вставил свое слово есаул Кольцо.

– А нуть-ка, Яша, послушай малость, – обратился атаман к Волку.

Тот камнем упал наземь и приложил ухо к траве.

– Топочат, батька... Грохоту навели... Дрожит земля; поди, бегут бегом; накрыть мыслят, – обрывисто докладывал старик.

– Во-во! Сейчас тебя и нагонят! Держи мошну [карман] шире, – засмеялся Ермак. – Дрова покладены, костер горит, котел шумит, сварена ли каша, вольные братцы-казаки?

– Сварена, атаман, хлебать надо.

– Похлебаем артелью, когда полдник придет, а пока што ложки, да плошки, да посуду клади, да нового места к вечеру ищи! Коршун вьется, кукушка плачет... где-то сядет, на чьем гнезде? Время не терпит, гайда на струг! – закончил атаман свою речь, типичную, разбойничью, полную сравнений и недосказок.

– На струг! – в голос повторили за ним разбойники и чин чином, правильными рядами, двинулись, неся каждый оружие и припасы к реке, где, спрятанные в тростниках, их ждали струги, весла и паруса, готовые всегда на случай отступления.

Ермак еще оставался на поляне. Когда последние ряды его пятисотенной с лишком рати двинулись гуськом к реке под предводительством есаула Кольцо, он подозвал Никиту Пана и Волка и еще трех, оставшихся при конях, станичников и что-то приказал им. В

Один миг три молодых разбойника высекли огонь при помощи кремня и трута и, привязав пучки сухих листьев и хвороста к стволам старых деревьев, подожгли в нескольких местах место недавней стоянки.

Лошади при виде пламени зафыркали, затопали копытами, дико поводя испуганными глазами. Один из станичников взмахнул по воздуху нагайкой; они взвились на дыбы и с диким ржанием понеслись, обезумев, в самую чащу, минуя пылающие древесные столбы.

– Лихо! Ой лихо! – блеснув глазами, крикнул Ермак и, махнув оставшимся станичникам следовать за ним, быстрыми шагами направился к реке догонять свою дружину.

За ним поспешили и остальные.

В ту же минуту открылась самодельная дверь шалаша, и на ее пороге появился Матвей Мещеряк с тяжелой ношей в руках, бережно завернутой полами кафтана.

5. НЕДУЖНЫЙ

Ночь... Тьма крошечная заволокла густые заросли Поволжских лесов. Мрак спустился по берегу. Но на реке светло. Серебряный месяц сияет во всю... Плавленным серебром в этом сиянии кажется Волга. Где-то далеко плачет в тростниках какая-то ночная птица. Глухо шуршит осока. В высоких камышах чувствуется жизнь. Они то низко склоняются к серебряной воде, то гордо выпрямляются, точно тянутся навстречу лунному сиянию. От месяца по реке идет дорожка. Она как будто манит, зовет к себе...

Низко еще раз наклонились камыши, и из чащи их выплывает струг. За ним второй, третий, четвертый... Целая флотилия стругов, целая вереница их. Вот миновали тенью покрытые места и въехали в серебряную дорожку. На носу передовой лодки, весь облитый прихотливым сиянием месяца, точно статуя, вылитая из серебра, стоит Ермак. Как зачарованный смотрит атаман на месяц, а мысли докучным роем носятся в его голове. Которые сутки почти вровень с ними, берегом только, идут царские дружины. Будь он со своими молодцами на берегу, то давно бы нагнали и похватили их государевы ратники. Да только ошиблись. Не так-то глупы они, чтоб попасться впросак. И невдомек воево-

дам царя Ивана, что скользят его, Ермака, ребята почти рядом с ними, скрытые только камышами да ночью тьмою.

«Эх, до Камы бы добраться, – спасены тогда! На Каму не пойдут царские дружины... Знают, што с Волги-матушки не уйдет он, Ермак. Эх, кабы Кама поскорее!» – взволнованно роется в мозгу атамана горячая мысль.

Тихо на лодках. Не слышно песен. Словно не живые люди гребут в ладьях. Все знают серьезность минуты. Знают заветную мысль атамана проскользнуть невидимо на Каму, избежать неравного боя, обмануть намерение царской погони.

Только в одном из стругов слышится тихий разговор. Черноглазый юноша Мещеряк и седой Волк, Яков Михайлов, шепчутся, склонясь над кормой лодки, где на разостланном войлоке, покрытом пушистым ковром, – добычей последнего набега на алтайский караван, – лежит Алеша.

Уже около недели прошло с той роковой ночи, когда он был свидетелем гибели любимого дядьки, а мальчик все еще не приходит в себя. Жестокий недуг приковал его к месту. Память и сознание, казалось, навсегда отлетели от этой юной красивой головы. Он то мечется, горячий как огонь, на своем ложе, с лихорадочно-горящими глазами и пылающим лицом, то, с неестественной для больного силой, приподнимается на руках и

полным ужаса и смертельного испуга взором устает в одну точку. С его уст поминутно срываются дикие, бессвязные слова, то вдруг мучительный стон вырывается из груди. И тогда все красивое лицо мальчика искажается невыразимым страданием.

И так восьмые сутки мучается Алеша.

– Дедушка-Волк, – в непонятной тоске шепчет, склонившись над недужным князьком, Мещеряк, – много ты прожил на своем веку, много пережил, спаси ты мне парнишку... Заставь за себя Бога молить. Я же тебе услужу за это! Чего хочешь требуй, – все выполню... Слыхал, говорили ребята, што ты знахарствовал когда-то...

– Знахарствовал и то... За знахарство и на костер чуть было не угодил... Шибко не любит знахарей да ведунов Грозный государь-батюшка, – чуть-чуть усмехнулся старый разбойник. – А только уж не знаю, как тебе помочь... Не трясовица, не огневица, не прочая болезнь у твоего парнишки... Испугался, шибко зашелся он и упало в нем сердце и покедова не надышится оно – так-то маяться и будет... А надышится...

– Выживет тогда? – живо сорвалось с губ Матвея.

– Выживет, паря.

– А коли не надышится?

– Ну, тогда шабаш – карачун.

– Помрет? – дрогнувшим звуком проронил Мещеряк.

– Лопнет сердце, зайдетса и лопнет, – спокойным де-

ловым тоном отвечал Волк.

– Стой, дедка. Никак говорит што-то парнишка.

И в одну минуту Матвей очутился на коленях перед Алешей и быстро приставил ухо к его губам. Чуть слышный стон вырвался из груди мальчика.

– Терентьич... дядька... голубчик, – беззвучно лепетал больной, – куды они тебя... Не пуцу... Не пуцу, злодей... изверг... душегуб... Дедушка... родненький... заступись... Дедушка... дедушка...

И он заметался на дне струга, как подстреленная птица.

– Ишь, сердешный, деда зовет, – произнес кто-то из гребцов.

– Ау твой дед! Давно его вороны съели!

Жалостно и с сочувствием дрогнули суровые лица находившихся в лодке.

– Матвей Андреич, испить бы ему, – нерешительно произнес другой голос.

– И то... закрепи сулеей [плоская склянка, посудина] водицы, Степа, – приказал Волк.

Молодой разбойник отложил весла, взял со dna струга сулею и, перегнувшись через борт, зачерпнул ею серебристой хрустальной влаги, потом бережно поднес ко рту больного.

К полному изумлению присутствующих Алеша отлебнул из сулеи.

– Никак опамятовал? – затаив дыхание, прошептал

Мещеряк.

– Опамятовал и то... Ну, таперича корешок я ему дам, пущай на гайтане [шнурок, тесьма] носит, – произнес Яков Михайлов и, наклонившись над больным, стал возиться около него.

Бред мальчика становился между тем все неяснее, непонятнее. Он то звал деда и дядьку и беспокойно метался, то затихал на минуту, чтобы в следующую же снова стонать и метаться.

А ночь ползла и таяла, растворяясь в белесоватых пятнах рассвета. Деревья на берегу принимали все более определенные очертания. Месяц побледнел и казался теперь жалким напоминанием недавнего серебряного ночного властителя ночи. Наконец, алая красавица-заря, словно пурпурной мантией, накрыла пробужденное небо...

Струги уже не скользили на вольном просторе реки. Скрытые осокой и тростником, они плыли в их чаще, невидимые в этом густом лесу.

– Скоро и Кама! – радостно произнес один из гребцов.

– Как выйдем на берег, оправится мальчонок, – мечтательно проговорил Мещеряк и замер от неожиданности...

Прямо на него сознательно смотрели широко открытые глаза больного – две синие, ярко горящие звезды... Бледное, изможденное, исхудалое лицо поверну-

лось в его сторону.

– Где я? – прошептали бледные, ссохшиеся от жара губы.

– У своих, родимый... Что, лучше тебе? – так и ринулся к мальчику обезумевший от радости Мещеря.

– А Терентьич где? Егорка? – с трудом роняли слово за словом слабые губы Алеши.

Глаза его тревожно обегали лодку. Вдруг все лицо его странно изменилось. Отчаяние, гнев и ужас отразились на нем... На корме поравнявшегося с ним струга стоял человек в алом кафтане с перевязанным плечом. Знакомые широкие глаза, длинные усы и шрам на щеке так и бросились в глаза больному.

И разом страшная картина гибели дядьки выплыла перед больным князьком.

– Убийца Терентьича! – глухо вырвалось из груди Алеши и дикий вопль жалобным криком пронесся над рекой.

– Нишкни! Ишь, дьяволенок, выдаст нас всех с головой врагам! В мешок бы его, да в воду! – сверкнув своим жестким взором, произнес Никита и замахнулся бердышом.

Но в один прыжок черноглазый Мещеряк очутился в его струге.

– Слушай, Пан, – весь бледный и дрожащий от злобы ронял Матвей, – коли ты еще хоть однажды такое слово речешь, – чеканом раскрою тебе темя, Господом

Богом клянусь!

И не дождавшись ответа ошалевшего от неожиданности Никиты, Мещеря снова очутился подле бившегося в нечеловеческих воплях и рыданиях Алеши.

– Кама! Кама! – слышались сдержанные голоса в передовом круге.

Атаман точно проснулся от своей задумчивости; лицо его оживилось.

Прямо перед ним темной лавиной вливался в Волгу ее могучий многоводный приток.

– Спасены! – облегченно вздохнул всюю грудью Ермак Тимофеич. – Спасены! Царские воеводы не посмеют сунуться в глухие Прикамские чащи. Ни дорог в них, ни троп не проложено. А по глади водной не больно-то пеший пройдет, – торжествующе подсказывала услужливая мысль.

И ожил, встрепенулся Ермак.

– А ну-ка, братцы, грянем разудалую, – весело прозвучал его голос, когда струги уже более часа времени скользили в высоких зарослях Камских вод, – только не больно голосисто штобы. Не ведомо еще, далеко ли отстала погоня наша.

Едва успел произнести Ермак эти слова, как грянула веселая, удалая разбойничья песнь.

Ой, гуляет, гуляет душа молодецкая,
Веселись на послед, удалой казачок.

Веселится, гуляет головушка буйная
Вдоль по Волге родной да по Каме реке.
Ой, гуляет, гуляет душа молодецкая,
Не долгонько гуляти тебе, удалой,
Налетят, словно вороны, вороги-ратники,
Разобьют удалую дружину твою.
Закуют тебя в цепи могучи, железные,
Отвезут на расправу в столицу Москву.
Ой, гуляет, гуляет душа молодецкая,
Да не долог, короток над молодцом суд.
Клещи рвут ему тело могучее, белое;
Кровь казачья вокруг полилася струей.
На дыбах захрустели могучие косточки,
Издеваясь, ломает их лютый палач.
Ой, гуляет, гуляет душа молодецкая,
Не придется ей доле гулять удалой...
Уж на Лобном готовят столбы с перекладиной,
Уж как точит топор свой палач-богатырь,
Уж как море шумит округ плахи народ,
Ждет– пождет лютой казни души-казака...

При первых же звуках песни Алеша затих и поднял свою кудрявую голову.

– Господи, што же это? Разбойники? Душегубы, а поют-то как, словно мамушка-кормилица над моей колыбелькой пела в детстве... – произносит он; медленно обводя взором вокруг себя, он встретился с сочувственными глазами черноглазого юноши.

– Што, паренек, легче ль тебе? – участливо спраши-

вает его тот и, протянув руку, ласково гладит мальчика по кудрявой голове.

Алеша хочет ответить и не может. Вся душа его рвется на части от боли и тоски. Как живой стоит перед ним загубленный Терентьич. Острая мука потери терзает сердце. Рыдания клокочат в горле... А между тем эта песня, что голосистой волной катится над рекою, это ласковое, заботливо-склоненное над ним лицо, эти мягкие черные глаза каким-то целебным бальзамом проливаются в душу мальчика. Он чувствует, что другому этот юноша, с красивыми черными глазами, что всей душой он сочувствует ему, и неясная мысль проносится в разом потускневшем сознании Алеши.

– Вот бы так-то под песню эту, под шепот осоки и тростника умереть бы, уснуть навеки, – собрав последние силы шепчет он чуть слышно, и его взгляд устремился на пригожее лицо Мещеряка. Помолчав немного, он обратился к Матвею:

– Слушай, молодец, возьми ты нож острый да пореши меня. Тошно мне! Невмоготу маяться боле! Богом заклинаю тебя!

Снова впал в какое-то полузабытье Алеша. Не видит он больше испуганно склонившегося над ним лица Матвея. Не то сон, не то грезы заволакивают усталый мозг больного. Не сон и не грезы это, а недавние воспоминания, картины прошлого, чуть задернутые какою-то сонною дымкой, носятся перед ним...

– Ай, да куды ж это ты запропастился, князенька? В самую чашу крапивницы угодил. Ишь, озорник, не приведи Господи! Вот постой-ка, ужо нажалюсь на тебя князю-дедушке... Он тебе задаст...

Вся запыхавшаяся, красная, взволнованная ворчит мамушка Евстигнеевна, некогда выкормившая княжича Алешу, раздвинувшая полными белыми руками кусты малины, густо окруженные жгучей крапивой и лопухом.

Но синеокому красавчику Алеше не страшны угрозы мамушки. Синеглазый Алеша не боится дедушки. Ко всем строгий да требовательный, старый князь Серебряный-Оболенский, прославивший себя воеводскими делами под Казанским юртом и в землях Ливонских, души не чает в своем любимчике-внучке. Да и кого же жалеть, как не малютку-внучка, старому воеводе? Круглой сиротинкой после смерти отца и матери остался Алеша на руках князя. Скрашивает и облегчает жизнь старика своим детским лепетом красавчик-княжич. А и то сказать: невеселая жизнь воеводы, князя Серебряного. Когда-то одним из ближайших людей к царю считался боярин. Вместе Казань воевали с молодым царем. Но с тех пор немало воды утекло. Иными любимцами окружил себя Иоан. Опричники встали грозною стеною между ним и прежними друзьями. Косится на былых своих боевых сподвижников государь. А как начались побеги за рубеж Ливонский, и совсем отвер-

нулся Иоан от земских бояр. А тут еще старый князь Репнин, товарищ Серебряного, поперечил как-то царю на пирном столовании. Погиб старый боярин жестокой смертью: по дороге ко всенощной убили князя Михаила опричники-палачи, а его друг Серебряный опале подвергся.

Но и в опале люди живут. Зажил и князь Серебряный-Оболенский в своих подмосковных хоробах, вдали от двора, на покое. Внучка Алешу растит-воспитывает, балует и холит его. В этом вся радость, все счастье старого князя.

Любо живется в дедушкиной усадьбе княжичу. Родителей он своих не помнит. Не было еще и году дитяти, как умерли отец и мать. Мамушка Матреша выкормила его. Муж ее, Игнат Терентьич, верный слуга дедушкин, в дядьки ему поставлен.

Хорошо, как у Христа за пазухой, живется Алеше.

Длинными зимними вечерами, когда белые пелены снега саваном ложатся вокруг усадьбы, тепло и уютно в дедушкиной горнице. Сам дедушка-князь сидит в теплом кафтане на меху беличьем, да в домашней тафье, покрывающей серебряную, убеленную сединой, голову. А Алеша на коленях у деда примостился. Дивные были-сказки рассказывает ему дед: про казанский поход, про взятие непокорного татарского юрта, про пленение царевича Утемышь-Гирея, двухлетнего казанского царя, про грозного царя-батюшку, бывшего в

ту пору милостивым да добрым, и про великое былое святой Руси...

Слушает эти рассказы мальчик, а у самого глазенки горят, лицо пылает.

– Пстой, вырасту, деда, таким же воякой буду! – восторженно лепечет он и нежится, и ласкается к старому воеводе, счастливому от этих детских, неподкупных, искренних ласк.

Летом другие радости ждут Алешу. Поспевает ягода в дедушкином саду. Малина да смородина, да наливной крыжовник зреют в зеленой чаще. Заберется туда ребенок, и мамушка все руки себе о кусты обдерет, прежде нежели найдет княжича. Ворчит, сердится, пожаловаться грозит. Малютка Алеша ластится к ней, целует няньку, а сам, чуть что, – снова в чащу кустов...

С пяти лет, вопреки обычаю, посадили за букварь Алешу. Сам дедушка учил внука, а не приходский поп, как это принято было в то время на Руси [мальчиков подростков в те времена учили священники или дьяки из ближайших церквей. Начало учения обставлялось всевозможными церемониями]. С дедушкой любящим начинает понимать грамоту Алеша. Понятливый он, толковый мальчик, и старый воевода Петр Семенович нередко с умиленной душой говорит после урока:

– Воистину на радость послан мне Алеша-светик. Сына отнял Господь – внуком воздал Милостивец.

А время не шло, а бежало. И беда лихая стряслась

над мирной семьей. Подползла черной тучей страшная година.

Крымский хан Девлет-Гирей, давнишний враг Иоана, воспользовавшись войною русских с Ливонией, двинулся на Москву. Царь бросился под Серпухов стягивать войска, но крымцы обрушились с такой быстротой и силой, что не успел Грозный приготовиться к обороне и бежал с ближними телохранителями к Ростову. Хан подступил к Москве, сжег ее посады, и разгромив и похватав в плен более ста тысяч русских, сам испугался бушевавшего пламени и ушел назад в свои степи.

Алеша, тогда шестилетний мальчик, был свидетелем страшной картины. Она и теперь, как живая, стоит перед ним.

Светло у них в горницах от грозного пламени. Бушует оно, как огненное море, кругом. А они с дедушкой спешно собираются в Москву. Татары близко. Подожгли пригороды. С минуты на минуту надо ожидать неожиданных гостей. Во дворе колымаги наготове. Коней седлают для него и деда... Крошечный домишка есть у Терентьича в Москве, – за Матреной Степановной в приданое он даден, – там и схоронят его с женщинами пока что. А сам дед тряхнет стариною, грудью встанет за московские святыни: клянется отбивать татар. Бледен, но спокоен старый воевода. Отдает приказания твердым голосом дворне. Велит все, что из добра поценнее, под полом в мыльне [в бане] закопать. Бы-

стро исполняют приказ своего хозяина холопы.

Через час пустеет усадьба. Вторгнувшиеся татары каким-то чудом не сожгли ее... А обитатели ее в Москву ускакали. Там стон-стоном стоит. Люди мечутся по площадям и улицам, как безумные. Вопли и плач повисли над столицей. Там пожар. Рвутся и жгутся несчастные москвитяне, и давят друг друга, и сотнями гибнут в Москве-реке, побуревшей от крови.

Страшные дни!... Страшная картина!

И тотчас же, ей на смену, еще страшнее, еще мучительнее встает другая, новая картина перед затуманенными взорами больного Алеши.

Жаркое июльское утро. Отдаленные раскаты грома то и дело нарушают тишину. Сегодня Ильин день... Батюшка Илья-пророк на огненной колеснице катается по небу, гремят и гудят исполинские колеса его колымаги. Так объяснял грозу Алеше старый Терентьич. Но не верится что-то умному мальчику, что от колесницы и езды Ильи по небу происходит гроза. – Дай-кось, спросу у деда, – решает малютка и летит стрелой из сада в дом.

– Дедушка, родненький! – весело кричит он, вбегая в горницу, и вдруг замирает на месте: на лице старого князя трепет и отчаяние; старый Терентьич рыдает в углу.

– Что такое, дедушка? Деда! Ах, ты Господи!

Сильные руки Серебряного схватывают Алешу и

трепетно прижимают к груди.

– Желанный! Светик мой! Пришло лихо на наши головы. Расстаться нам надо, Алешенька, покуда што... Очернили меня перед государем... В ссылку дальнюю велит собираться батюшка-государь. Ты не горюй, любимый... Даст Господь, обойдется гнев царя... А покуда с Терентьичем поживешь да с мамушкой... – шепчет взволнованно боярин-князь на ушко Алеше, а у самого голос дрожит и руки тоже. Крестит он этими дрожащими руками Алешу, целует, благословляет его. Слезы крупными жемчужинами катятся по щекам князя.

– Дедушка! Родненький! Да што ж это! Ужли расстаться! Не хочу! Не оставлю я тебя! Вместе в ссылку поедем! Не оставляй меня, дедушка!

Не договорил мальчик. Дикие, хорошо знакомые московским обывателям крики: «гайда! гайда!» и топот копыт слышались у ворот усадьбы. Побледнел старый князь. Судорожно обнял внука и с рук на руки передал рыдающему дядьке.

– Сохрани мне его, Терентьич... Блюда пуще глаза... Господь с вами...

– Жизнью своей клянусь тебе на этом, батюшка-князь! – только и успел ответить верный слуга: во дворе уже мелькали зверские лица, песьи головы и метлы... Зазвенело оружие, залязгали сабли. Сам царь находился во главе отряда. Искаженное гневом лицо его подергивалось судорогой.

В какую-нибудь минуту весь отряд спешился и, бряцая саблями, чеканами и бердышами, опричники вошли на крыльцо.

Вне себя схватил старый Терентьич Алешу и, несмотря на крики и мольбы мальчика оставить его с дедом, силой унес потайным ходом из усадьбы.

А там уже в это время происходила кровавая расправа.

Скрыл от внука воевода страшную истину. Не о ссылке шепнули ему старые друзья, когда предупреждали о новой опале царя, обрушившейся на седую, славную победами голову князя... В тот же удушливый, грозный июльский полдень скатилась эта седая голова под ударом ножа одного из опричников царских... Следом за князем была зарезана и вся его дворня.

Покончив кровавое дело, опричники из усадьбы с их неизменным криком: «гайда! гайда!» бросились в подмосковную вотчину Серебряного. И в тот же час и деревня, и жители – все погибло в огне пожара... Спасавшихся принимали на ножи и дорезывали тут же, несмотря на отчаянные крики и мольбы о помощи.

– «Каков поп – таков и приход. У крамольного боярина и слуги крамольные». Таков был девиз Иоана, которым он оправдывал свою жестокость.

Но о страшной расправе не скоро узнал маленький княжич. Щадя ребенка, долго скрывал от него печальную истину Терентьич. Нелегко было это несчастно-

му, который вместе с любимым воеводой-хозяином потерял и жену: одновременно с дворней погибла жена Терентьича, Матрена Степановна, мамушка Алеши. Только темные ночи знали муки верного дядьки, оплакивавшего от зари до зари гибель любимой жены и господина...

Целых восемь лет Терентьичу, с племянником Егором, чудом уцелевшим от общей бойни, удалось скрывать в своем московском домишке маленького князя. Теперь несчастный ребенок уже знал всю ужасную истину про гибель деда и без внутреннего содрогания не мог вспомнить о том. Но годы – лучшие целители душевных ран и страданий: затянулась и душевная рана Алеши, притупилось острое ощущение потери и горе. Не притупилась, однако, любовь к деду в сердце мальчика и не остыла ненависть к его погубителям-опричникам, сумевшим очернить невинного князя перед царем.

Но вот неожиданно, через восемь лет, новая туча собралась над головой Алеши. Кто-то из давних завистников покойного князя Серебряного-Оболенского дознался, что в маленьком домишке на окраинах Москвы живет таинственный отрок. Дознались и о происхождении этого отрока. Подозрительные послухи и соглядатаи стали выслеживать и высматривать вокруг домика Игната. Испугался старик и, не долго думая, собрался в дорогу, откопал из подполицы разрушенной усадьбы

все, припрятанные во времена страшного нашествия, богатства князя Серебряного и, купив дорожную колымагу и коней, вместе с Алешей и Егоркой, со всем добром юного княжича, ускакал из Москвы, держа путь на север, куда редко заглядывали московские ищейки.

Думал старый Игнат где-нибудь в Пермском или Вологодском крае дать тихое и спокойное существование своему любимцу-княжичу, да судьба видно судила иначе.

Иную участь уготовила она верному слуге.

6. НОВЫЙ ДРУГ. – ВРАЖЬЕ СУДНО. – НЕЖДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Когда пришел снова в себя Алеша и открыл глаза, было почти темно...

Что– то странное происходило вокруг него. Ладьи, еще так недавно скользившие в зарослях тростников, теперь, выплыв на середину реки и сгруппировавшись, теснились одна к другой.

Несмотря на мучительную слабость, сковавшую его члены, Алеша мог заметить какие-то необычайные приготовления в ладьях. Разбойники, побросав весла, спешно заряжали самопалы и ручницы, вытаскивали оружие из ножен и тут же, лязгая металлом, точили их. И черноглазый юноша, лицо которого так часто в полузабытьи видал склонившимся над собой Алеша, тоже суетился и отдавал вполголоса приказания людям, находившимся с ним в одной лодке. Увидя, что его пленник пришел в себя, черноглазый юноша быстро подошел к нему и, пощупав голову Алеши, произнес тихо:

– Слава те Господи... Спала огневица... Не горит, как намеднись... Може хочешь испить водицы? – спросил он.

– Испил бы, – чуть слышно отвечал больной.

Это было первое слово, обращенное им к разбойнику.

– Пей во здравьице. Вода чистая, студеная, Камская водица, – радостно отозвался Мещеряк и поднес полный ковш к губам мальчика.

Тот долго не отрывался от ковша, с наслаждением глотая живительную влагу. Казалось, с нею возвращались здоровье и силы княжичу. В болезни Алеши наступил тот неизбежный перелом, после которого человек или умирает, или быстрыми шагами идет по пути к выздоровлению.

– Спасибо, – отводя рукой ковш, слабо произнесли его губы в то время, как глаза беспокойно обегали взором кругом. В глубине их засветилась тревога.

Матвей Мещеряк сразу угадал, что волнует больного.

– Ты того... не сумлевайся... В обиду не дам, – заговорил он, любовно глядя мягкие, как лен, кудри Алеши. – Вишь, наши передовые доглядели вражье судно, наперерез нам идет... Видно перехитрили нас государевы воеводы, выслали рекою дружину свою... Ну, да ладно, не в первой... Раньше восхода не бросятся... А мы тем временем, как стемнеет, ударим на их... Ты не пугайся... Грохот пойдет, пальба... Я тебя огорожу коврами... Будто в шатре, али в зыбке будешь... Стрелецкая пуля не тронет, небось... И к запасной ладье перенесу тебя, и в камышах схороню, а как кончится

бой, то я к тебе назад живо.. И пищаль тебе приволоку в гостинец, знатную пищаль, московскую, – пошутил молодой разбойник, обнажая улыбкой белые зубы.

– Не надо пищаль мне, гостинца не надо!... Людей убивать будут!... Опять убивать! – беспокойно забился и затрепетал, побледневший как плат, Алеша.

– Да ведь вороги это... Не мы их, так они нас... – оправдывался Матвей.

– Все едино кровь... кровь проливать станут... – метался в смертельной тоске и ужасе мальчик.

Встревожился глядя на него и Мещеряк. Чего доброго помрет парнишка, мелькнуло в мыслях молодого разбойника, и он сам был не рад, что поведал больному о предстоящем бое. Но как же было поступить иначе?... Мальчик мог бы услышать пальбу, увидеть битву и тогда бы испугался вдвое.

«Ужели же помрет?» – с тоскою думал Матвей.

Недужный пленник делался ему все дороже и милее с каждой минутой. Его неотразимо влекло к себе печальное личико, синие ясные глаза Алеши. Немало на своем коротком веку погубил душ Мещеряк, чернее черной ночи были помыслы его порой, а этот чистый отрок со своей трогательной, вымученной недугом красотой, точно прирос к его сердцу. И при виде его далеким, позабытым детством и ласками матери повеяло на Матвея... Казалось, воскрес его братишка, покойный Ванюшка, и глядит на него своим детским, чистым

взором.

– Слушай, паря, – произнес словно осененный такою мыслью Мещеряк, – пуцай я злодей и вор, но с тобою больно сердцем размяк, што твоя баба заправская... Ей Богу!... Полюбился ты мне, паренек, пуще родного... Впервые сердце узнал после давних пор... Бывало, рубит, бьет с плеча Мещеряк, жизнь – копейка, грош, – задаром отдам... А ныне пожить больно охоч я стал... Для тебя ради... Вот и мыслю, перед ночью дело будет, слышь, судно вражье близехонько, поди, – так того, не больно-то охоч, штоб убили... Помолись за меня, паренек... – неожиданно заключил свою речь Матвей, опустив свои черные глаза долу.

Алеша поднял взор на юношу. Смущенное молодое лицо и почти робкие, точно смежавшиеся глаза, сразу расположили его в свою пользу. Точно что ущипнуло его за сердце. И невольная мысль толкнулась в мозг:

«А може и жизнью своей я обязан юноше этому?» – и, не медля более, Алеша спросил слабым голосом:

– Скажи, Христа ради, не ты ли вызволил меня из петли?

Ниже потупил голову Матвей.

Жаркий стыд прожег его душу.

– Тебя-то вызволил, а ближних твоих не сумел, – казалось, без слов говорило все его смущенное лицо.

Но Алеше не надо было ответа.

Худенькая ручонка больного протянулась к разбой-

нику.

– Помолюсь за тебя, – произнес он тихо, – и дедушку, и Терентьича покойного попрошу помолиться за тебя... Скажи только, как звать тебя? – еще тише, сквозь набежавшие слезы при одной мысли о погибшем дядьке, спросил князек.

– Матвеем, – произнесли негромко губы Мещеряка.

– Матвеем... Матюшей... – повторил больной, – храни тебя Бог, Матюша... А вот еще...ними с меня гайтан с тельником и себе надень его на грудь, а твой мне передай... Тельник благословенный... дедушка покойный им меня благословил от беды, во имя Бога... – закончил с трудом Алеша.

– Побрататься хочешь? – не веря ушам, весь вспыхнув от радости, произнес Матвей.

– Ты мне жизнь спас, – было ответом.

– Дитячко!... Голубь мой чистый!... Мученик мой! – прошептал Мещеряк, и яркою влагою блеснуло что-то в самой глубине его черных очей. Потом он осторожно раскрыл кафтан на груди Алеши и отстегнул ворот его рубахи.

Осыпанный рубинами и яхонтами тельный крест на золотом гайтане блеснул в полутьме.

– Мое имя узнал ты, а свое не охоч сказывать... – произнес Матвей, осторожно снимая с груди Алеши его крест и надевая свой оловянный тельник через голову малютки. – Как звать тебя, родимый?

– Алексеем звать меня, по отцу Семенычем, а из роду я князей Серебряных-Оболенских, – тихо проронил тот.

– Алеша, стало, будешь, Алеша, братик мой богоданный!... – с тихим умилением начал Матвей и вдруг разом осекся.

Месяц, точно багрово-красный шар, выплыл из-за тучи и осветил огромное, черное судно, плывущее прямо на струги, сбившиеся в кучу посреди реки.

– Са-а-рынь на ки-и-чку! – пронеслось в тот же миг протяжным заунывным звуком с первой ладьи и помчалось вверх по реке.

– На ве-ес-ла! – прогремела новая команда в тишине ночи.

И, точно встrepенувшиеся птицы, быстрыми лебедями заскользили струги по глади вод.

Месяц алым заревом облил Каму. Багрово-красною стала река...

Гребцы с каким-то тихим остервенением налегали на весла. Лодки неслись теперь вперед со стремительной быстротой. Черное судно тоже выдвинулось заметно вперед, приготавливаясь, в свою очередь, к отпору. На палубе его замелькали темные силуэты людей.

– Са-а-рынь на ки-и-чку! – еще раз прокатилось над Камой.

Почти одновременно с борта судна грянул выстрел, блеснул огонь, и с грохотом и свистом тяжело плюхну-

ло свинцовое ядро в воду.

– Ой, тетка, молода больно!... Кашу заварила, сала не поклала, сгорела каша без сала, сама с голодным брюхом осталась! – послышался с очередного струга веселый голос есаула.

Хохот разбойников покрыв его. И тотчас же могучими звуками прозвучал в темноте вопрос Ермака:

– Все ли живы, ребятушки?

– Все живехоньки, атаман! – весело откликнулись с лодок.

Черное судно было теперь всего в десяти сажнях от передней лодки.

– Готовься, робя! За честь и свободу славной вольницы казацкой! – снова зычным кликом прорезал тишину сильный голос Ермака. – Вперед!

– Во славу атамана-батьки, Ермака Тимофеича! – хором гаркнула дружина.

И все разом устремилось по золотой глади вод.

Точно стая исполинских чаек окружила вмиг целая фаланга лодок неуклюжее, медленно подвигающееся судно.

– Эй, вы, ночные ратники, сдавайся, што ли, не то в воду, рыбам да к ракам на дно пойдете!... Палить из ручниц, робя! А тамо приставляй лестницы, да с Богом в рукопашный бой! – отчетливо гремело над затихшей рекою.

Быстро вскинулись к плечу пищали, щелкнули курки.

– Стой! Кто в Бога верует, стой, православные! – понесли испуганные крики с палубы барки.

– Никак сама Ермакова дружина? – прозвучал вместе оттуда же чей-то взволнованный вопрос.

– Верно, приятель. Атамановы люди к тебе в гости идем. Плохо нас угощаешь, Потчуешь только, хозяйинька не тароватый, – отвечал есаул Кольцо.

– Голубчики! Не признали! Палить было в вас зачали, – кричал, надрываясь, с палубы судна тот же голос. – А не к кому другому, как к его милости, Ермаку Тимофеичу который день по Каме плывем.

– Ой ли? Больно хитро надумано! Штой-то несуразно будто: до нас плывете, а в нас же из пушчонки своей палить зачали... Небось, не проведешь... Старый волк шкуру овечью надел – овцой прикинулся... Пали в мою голову, робя! – неожиданно заключил свою речь Ермак.

– Пожди, ради Христа, малость, атаман, выслушай... Мы из пушки палили потому, что за других приняли... Мы не вояки-стрельцы, мы люди тихие, купецкие, именитых Строгановых гонцы... К твоей милости, атаман, с грамоткой плыли, – звучало с палубы барки.

– От Строгановых? Из Сольвычегодска, што ли? От пермских гостей? – изумленно спрашивал Ермак.

– Во-во... От их самых... Полну барку гостинцев тебе везем... Да и грамоту в придачу, Василь Тимофеич, батюшка.

– Мне грамоту?... Да ты знаешь ли кто я, купецкий

посол? – все более и более изумлялся Ермак.

– Как не знать!... Гроза ты Поволжья, славный атаман казацкий... Гремит про тебя слава по всей Руси...

– Вольный казак я, разбойничек удалый, человек. Голова моя оценена на вес золота... Плаха испокон времен дожидает меня... Бабы на Москве робят мной пугают... Ведомо ль тебе то, гонец? – ронял Ермак.

– Ведомо, все ведомо, атаман-батюшка... К твоей милости хозяева Семен Аникич Строганов с племянниками Максимом Яковлевичем, да Никитой Григорьевичем грамоту шлют... Челом тебе бьют на просьбишке, удалой атаман!

– Ничего не разумею! Час от часа не легче... Не на том ли челом бьют, што я без счета караванов загубил купецких с моими робятами? Може откупиться от прочих разбоев ладят, штоб не трогали впредь мои молодцы Строгановских судов? – шутил атаман.

– Прочти грамоту – все узнаешь, батюшка... Не побрезгай на палубу подняться... Там говорить сподручнее, – предложил гонец.

– И то... Выкидывай лестницу! – смело крикнул Ермак.

– Ой, берегись, атаман!... Не случилось бы лиха! – неожиданно подплыв на своем струге к Ермаковой лодке шепотом молвил Никита Пан. – Не обманную ли речь держит посланец?... Може заманить ладит, а тамо...

– Эх, Микитушка, волков бояться – в лес не ходить, – рассмеялся Ермак. – Любопытно больно на какой такой просьбишке солевары-купцы челом бьют нам.

– Возьми меня с собой, атаман, – не унимался Никита.

– Ладно, ты и здесь пригодишься... Коли што случится со мной, Иван Иванович, ты с Волком да Мещерей судно вдребезги и помилования никому, – приказал Ермак, сверкнув глазами во тьме.

Затем в одну минуту, по спущенной с черного судна веревочной лестнице, Ермак ловко взобрался на палубу.

С низкими поклонами встретили его находившиеся там люди. Их было до пятидесяти человек. Впереди всех стоял почтенного вида старик с седой бородою. Он держал в руке грамоту.

Мигом высекли огня, и палуба осветилась. При мерцании лучины прочел поданную грамоту Ермак.

"Могучему атаману Василию [настоящее имя Ермака – Василий; Ермаком его прозвали в первые годы его молодости, во время того, когда он был кашеваром в артели; Ермак – значит артельный таган, на котором варится каша] Тимофеевичу челом бьем. Прослышаны мы про дела твои велии, от коих слава гремит про тебя от моря до моря по всей Руси. Прослышали еще и о том, что больно прогневал ты царя-батюшку сими делами молодецкими, не во гнев тебе буди сказано, раз-

бойными. И што присудил тебя великий государь, Иван Васильевич, всея Руси, смертью лютой казнити. И наряжена погоня за тобой. По всему по волжскому берегу стали царские рати, и на реке самой суда наряжены за тобой. И негде укрыться тебе с дружиной твоей. А по-сему, не погневись, удалый казаче, коли мы, гости-купцы Сольвычегодские, тебя милостию просим с дружиной твоей на наши места. Положим тебе и людям твоим жалование, да землицы, да харчи и домы, и живите на здравие, а за это службой нашей не побрезгайте. От остяков, да вогуличей, да от татарвы из земли соседской Югорской житья нам нет. Городишкам нашим и посадам грозят югры да самоедь, поселы жгут, людишек полонят да разоряют. Так коли охота будет у тебя с дружиной твоей, не побрезгай от тех югорских племен наши земли, самим государем пожалованные, уберечь и набеги ихние отражать. А коли не противна тебе сия грамота призывная, поспешай к нам, батюшка-атаман, с дружиною своей.

Писал именитый купец Сольвычегодский и Угрских пограничных земель Семен, сын Аникиев Строганов с племянниками Максимом да Никитой".

Внимательно прочел грамоту Ермак.

Тысяча мыслей вихрем закружилась в голове атамана-разбойника.

Это было более нежели выгодное предложение.

Строгановы писали правду. Все Поволжье кишело

царскими войсками, высланными для поимки казаков. Не сегодня-завтра нужно ждать непрошенных гостей и на самую Каму. Не рассчитал он – Ермак. Думал, берегом лишь идут государевы дружины, а оказывается и рекою плывут они в погоню за ним. Куда спастись? Куда скрыться? А тут именитые купцы, прославившиеся своими богатствами по всей России, предлагают жалование и приют со всею дружиной в своей земле.

Задумался атаман. С одной стороны, – прости-прощай привольная разбойничья жизнь; с другой – спасенье от плахи и петли его и всех буйных, вверенных ему самой судьбой, удальцов.

Что выбрать? Что предпочесть?

Недолго боролся Ермак.

– Спасибо за честь твоим господам, старина! – обратился он к Строгановскому посланцу. – А только ведомо ль тебе, что по нашим станичным обычаям должен я «круг» собрать и дело со своими молодцами решить полюбовно? Пожди малость – ночь минует! На восходе, как пристанем к берегу, дело обсудим, тогда тебе и ответ дам, старина.

– Благодарим покорно, – низко поклонился посол. – На мехах и парче не побрезгай, удалый казаче!

– Спасибо на том! Вели людишкам твоим добро в струги наши сложить, а покедова прощенья просим.

И не без достоинства поклонившись старому Елизару Васильевичу, дворецкому Строгановых, так же бы-

стро и ловко спустился Ермак с палубы судна.

– Ишь ты, ровно Бова-королевич... И ни алчности в нем, ни душегубства не видать, собой молодец, – с изумлением рассуждали люди Строгановых, глядя вслед удаляющемуся атаману.

В ту ночь пристали к берегу разбойничьи струги. Отдохнули под тенью Прикамских деревьев молодцы, а с восходом солнца забил рукоятками ножей о дно артельного котла младший подъесаул, и по этому звуку со всех ног кинулись к сборному месту вольные казаки.

Ермак уже был на кругу. Мощно и сильно зазвучала его горячая речь. Он разъяснил своей дружине всю пользу строгановского предложения плыть в Сольвычегодск, укрыться там пока гроза минует, отвести душу победами над кочевниками югорскими, а там далее, что Господь подаст, можно и на Волгу опять вернуться, – говорил он вольной дружине своей.

Внимательно слушала своего атамана дружина и когда замолк звучный голос Ермака, громким криком огласились ближайšie Прикамские леса и степи:

– Веди нас к Строгановым! Всюду пойдем за тобою!... И в огонь, и в воду, батька-атаман!

7. ЮГРА И ИМЕНИТЫЕ КУПЦЫ СТРОГАНОВЫ

В самый рассвет Иоанова царствования было покорено Казанское царство. Следом за ним, почти без кровопролития, присоединен и Астраханский юрт к короне Московской. За ними и многие Прикавказские князьки подчинились Иоану.

В 1555 году прибыли в Москву послы от сибирского князя Едигера. Сибирь, называвшаяся тогда Южной или Югорской землей, лежала по ту сторону великого каменного пояса Угрских (ныне Уральских) гор, по рекам Тоболу, Иртышу и Оби. Ее население составляли мелкие коренные племена вогулов, остяков, самоедов, бурят и позднейших пришельцев-татар, киргиз-кайсаков, монголов, перекочевавших сюда из Азии через Алтайские горы.

Узнав о покорении главнейших татарских юртов, сибирский князь испугался за участь своей земли. О могуществе и силе соседа – московского царя – уже облетела крылатая весть все ханские владения. Вот почему послы Едигера поздравили царя с завоеванием Казани и Астрахани и били челом Иоану, прося его принять землю Югорскую (Сибирскую) под свою могучую власть, а за это обещали платить ясак (дань) московскому го-

сударю шкурами белок и соболей. За свою покорность просили только помогать хану в борьбе с враждебными ему племенами. Царь принял челобитье и назначил ясак. Но дань платилась неаккуратно. Напугавший сначала своим могуществом, опасный сосед перестал казаться опасным Едигеру. Да при том Москва отстояла более трех тысяч верст от Сибири и трудно было, в случае нападения врага, рассчитывать на помощь русского царя. Вскоре постигло несчастье Едигера: на него напал хан Киргиз-Кайсацкой орды, Кучум, происходивший из бухарской ханской династии Шейбанитов, завоевал его царство, самого Едигера и брата его Бекбулата убил и прочно водворил свою власть над всеми сибирскими племенами. Кучуму дружба с русским царем не улыбалась.

– Москва далеко, – когда-когда еще надумают заглянуть сюда. Убью царского посла, что приедет за данью и не будут мои народы платить русским ясак, – решил Кучум и, действительно, убил посла московского, явившегося за данью.

Порвав мирную связь с русским царем, Кучум не препятствовал подчиненным ему диким кочевым племенам остяков, вогуличей и татар нападать на порубежные владения русских поселенцев.

Первые поселенцы начали заселять этот Пермский край еще в XI веке. Это были сыны сильной Новгородской вольницы. Еще в 1472 г., при великом князе Ио-

ане III, воевода Пермский завоевал Соликамский край, расположенный по эту сторону Каменного Пояса и названный Великой Пермью (теперешняя Пермская губерния). В середине XVI века здесь поселились купцы-промышленники, Строгановы, родом из Ростовской земли.

Испокон веков Строгановы славились своими богатствами. В XV веке они были настолько богаты, что выкупили великого князя русского, Василия Темного, из татарского плена, за что были пожалованы огромными землями на северо-востоке России, в Устюжском уезде и Вондакурской волости. А при Иоане IV они перевели свою промышленность дальше на Каму. Старший тогда из Строгановых, Григорий Аникиевич, бил челом царю в 1558 г., прося его разрешения населять земли по реке Перми и Каме до реки Чусовой.

В своей челобитной грамоте он говорил так об этих местах: «В восьмидесяти восьми верстах от Великой Перми, по реке Каме, по обе ее стороны, до реки Чусовой, лежат места пустые, леса черные, реки и озера дикие и острова и наволоки пустые, а всего пустого леса здесь сорок шесть верст. До сих пор на этом месте пашни не паханы, дворы не ставали и в царскую казну пошлина никакая не бывала, и теперь эти земли не отданы никому, в писцовых книгах, в купчих и правжных не записаны ни у кого». При этом Строганов заявлял, что хочет на этом месте городок поставить,

снабдить его пушками и пищалями, пушкарей, пицалочников, воротников прибрать для береженья от ногайских людей и иных орд; по речкам до самых вершин и по озерам лес рубить, расчищая место, пашню пахать, дворы ставить, людей созывать не письменных и не тяглых, рассолу искать, а где найдется рассол – варницы ставить и соль варить.

Царь разрешил Строгановым населять этот край, позволил ставить соляные варницы, городки, крепости укреплять и торговать беспошлинно ровно 20 лет. Разрешил Строгановым и судить поселившихся там людей, не обращаясь к наместникам и судьям Пермского края. Таким образом Строгановы являлись своего рода владетельными князьями нового края.

Они основали городок, укрепили его и назвали Канкором. За ним выстроился и второй городок Керсадан со стенами в 30 сажень в окружности.

В 1568 г. новой челобитной Строгановы просили разрешить им продолжить их владения еще на 20 верст, где они обязывались построить на свой счет новые городки и крепости. И это их прошение было уважено Иоанном IV.

В 1573 г. воевода Пермского края писал царю, что возмутившиеся черемисы с остяками и башкирами сделали набег на Каму и перебили около сотни мирных пермяков.

Тогда Иоанн послал грамоту Строгановым, в которой

наказывал им собрать охочих казаков [охотников-добровольцев из вольных людей], выбрать доброго голову [начальника] и отправить войною на возмутившихся вогуличей и остяков, а мирных дикарей поселить у себя в городках и острогах [крепостях]. Строгановы поспешили исполнить царский указ. Устроившись по эту сторону Каменного Пояса, они обратили взоры и на земли, лежащие по ту сторону Уральских гор, которые изобиловали пушными зверями в лесах, богатой рыбною живностью в реках и озерах, а пуще всего металлической рудою в недрах гор. Сказочные богатства этой страны не могли не привлечь внимания предприимчивых промышленников.

Между тем набеги дикарей все тревожили Прикамских поселенцев, мешая им заниматься земледелием и соляными промыслами. В 1573 г. родственник салтана Кучума, царевич Шаметкул прокладывал дорогу к самой Перми и к Строгановским острогам, чтобы сжечь и уничтожить их. Пяти верст только не дошел он до городков, спалил окрестные поселки, а жителей частью перебил, частью увел с собою в плен. Тогда братья Григорий и Яков Строгановы обратились с новой просьбой к царю разрешить им укрепляться по реке Тоболу и впадающим в него рекам, строить там крепости, нанимать стражников и держать огненный наряд, то есть пушки и порох, а также искать там железную руду и пахать землю.

Иоан IV не только ответил полным согласием на Строгановское челобитье, но и разрешил Строгановым вести войну – посылать наемных охочих людей на самого салтана Сибирского.

В это время умерли старшие братья Строгановы, Григорий и Яков. Остался младший брат Семен с племянниками: Максимом, сыном Григория, и Никитой, сыном Якова. Получив разрешение царя, Семен Аникиевич призадумался невольно. Согласие государя воевать Югорскую землю у него было, а рати нет. Откуда набрать рать для ведения задуманной войны? И вот услышал он, что царские дружины повсюду ищут славного разбойничьего атамана, немало погулявшего по всему Поволжью – Ермака Тимофеевича.

К этому-то атаману, спасавшемуся теперь от Московских воевод, и отправил грамоту Семен Аникиевич, приглашая его поступить к нему на службу вместе со всею удалой дружиной своей.

8. ПЛЕННИЦА И ГОСПОЖА. – ГОРЕЛКИ. – НАПАСТЬ

Ой, да и прыткая же ты, боярышня...

Ишь, ноженьки-то резвые у тебя! Николи не нагнать... Который раз горю, и Дуняшу, и Машеньку, и Домашу, всех догнала, а тебе не в мочь... Ровно белка ты лесная бегаешь, – говорил Григорьевна, миловидная, со вздернутым носиком девушка, отделяясь из толпы бегавших в горелки подруг.

– То-то прыткая... Небось, у самой Алызги-полонянки бегать-то научилась, – засмеялась красивая, белокурая, свеженькая, как спелое яблоко, румяная девочка, лет 14, с длинной, до пояса, русой косой, с ясными, как весеннее небо, голубыми глазами.

– У Алызги, говоришь. Да нешто бегают она когда, Алызга наша? Небось, крот-кротом сидит у себя в углу. Николи ее в сад не вытянешь.

– Ты не вытянешь, а я вытяну хоть сейчас! – засмеялась веселым смехом девочка и, сделав знак своей собеседнице, приложила руку ко рту и громко, протяжно крикнула:

– А-а-лы-з-га! А-а-лызга!... Где ты?

– Никак боярышня наша полонянку кличет? – крикнул кто-то из толпы девушек, и в одну минуту они со

всех ног кинулись к белокурому подростку-девочке, которую почтительно называла боярышней ее черненькая подруга.

– А-а-лызга! – еще раз крикнула блондинка и, не медля ни минуты, зорко вглядывалась в окружающие их садовые кусты.

Притихла, замерла вместе с нею и шутливая толпа девушек. Тишина воцарилась в большом Строгановском саду, находившемся в центре окруженного толстою стеною с бойницами городка-острога на берегу реки Вычегды.

Грозным и недосыгаемым казался острог этот. Из отверстий бойниц выглядывали жерла пушек. От ворот через ров был перекинут подъемный мост. Ближе к стенам шли заметы и насыпи. У тесовых ворот стояли пушки. Вооруженные пищалями воротники [стража] прохаживались по валу, зорко поглядывая, не мелькнет ли где подозрительная фигура дикаря-югорца, злейшего врага Строгановских поселков и городков.

Мелким кустарником поросла кругом степь. А на дальнем краю ее, на горизонте, тянулись высокие Уральские хребты. Ближе к острогу ютились селенья, золотились поля и нивы, сверкали тесом крепко сбитые, еще новенькие избы поселенцев. И все это было отгорожено высоким тыном и укреплено пушками, из опасения набегов тех же кочевников, что без удержки

хозяйничали в степи.

С такими же предосторожностями были обставлены и соляные варницы, где гнали соль промышлявшие ею купцы. Словом, Строгановские городки и поселки представляли из себя ряд хорошо вооруженных и недоступных по виду крепостей. Тесовые крепкие стены, постройки, высокие и крепкие, из толстых деревьев, служили хорошей защитой. Безбоязненно могла резвиться и играть в густо разросшемся саду острога веселая шумная молодежь.

В этот теплый июньский вечер было как-то скучно сидеть в душных, хотя и просторных, горницах обширных Строгановских хором.

И Танюше Строгановой, племяннице и крестнице дяди Семена Аникиевича, родной сестре Максима Григорьевича, особенно не сидится у себя в светлице. Веселая, подвижная как ртуть, девочка не выносит никаких рукоделий, которые составляли обычное времяпрепровождение русских женщин прежнего времени. Таня не боярышня-белоручка, хотя и называют ее боярышней холопы да сенные девушки. «Наш де Семен Аникич всех бояр знатных почище будет... Он гость [купец] именитый, самим царем пожалованный и отличный, так неужто их кралечку боярышней не называть?» – говорят они на все замечания хозяев не величать «не по чину» своих господ.

На свободе Прикамских степей выросла Таня. Еще

при дедушке Аникие поселились они здесь.

Здесь она и родилась, и осиротела с братом Максимом. Здесь, на вольном северном воздухе, расцвела она, не в душных Московских теремах, а на воле степной, где все так и дышит свободой. И свободной, вольной выросла здесь Таня, даром что крепкие стены Строгановских острогов с детства окружали девочку. И обращение с нею девушек такое же вольное, свободное, точно она не госпожа их, а любимая подруга.

Вот и сейчас, замкнутая тесным кругом девиц-сверстниц, чувствует она себя равной им, даром что не одну тысячу дает за ней в приданое дядя.

– Ан похвасталась, Татьяна Григорьевна, вишь, не слушается и тебя Алызга... А еще хвалилась сейчас! – усмехаясь заметила черненькая Агаша, та самая, что только что жаловалась на не в меру резвые ноги своей госпожи.

– А вот поглядим, – задорно крикнула Таня и, прежде чем кто-либо из девушек успел остановить ее, стрелой кинулась из сада.

Вся веселая толпа ринулась за нею; но недаром сеговала черненькая Агаша на Таню Строганову – трудно было догнать девочку. Вихрем пролетев широкую аллею сада, она миновала высокие хоромы, обогнула их и в несколько минут очутилась у калитки. Воротник-сторож почтительно посторонился, давая дорогу хозяйской племяннице. Он не посмел остановить ее,

зная, как часто девочка прогуливается с нянькой или сенными девушками по берегу реки.

Между тем Таня одним духом пробежала мост, перекинутый над глубоким рвом, и очутилась в небольшой рожице или, вернее, заросшем невысокою осокою местечке, на берегу реки.

Здесь она остановилась, перевела дыхание и, поправив сбившийся на затылок алый чельник [головной убор], унизанный жемчугом, крикнула звонко во весь голос:

– Алызга! Ты здесь? А?

Осока зашевелилась и чья-то крупная голова просунулась в зелени ветвей.

– Ты здесь? Я так и мыслила, так и ждала, – радостно проговорила Таня, бросаясь в чащу.

Из кустов выскользнуло странное небольшое существо, не то женщина, не то ребенок.

Смуглое темное лицо, скуластые щеки, широкий, чуть приплюснутый нос, маленькие карие глазки и коренастая, но сильная, почти детская по росту, фигура, зашитая в оленью шкуру как в мешок, несмотря на плящущий зной июньского полдня. На ней была широкая оленья куртка без застежек, одевающаяся через голову, и юбка из какой-то грубой не то холстины, не то кожи. На голове – остроконечная войлочная шапочка, унизанная бисером, на ногах козы сапоги, высокие как у мужчины. Целая масса ракушек, блестящих дощечек

покрывала ее шею и грудь.

Это странное существо была остячка Алызга, пленница Строгановского острога. Лет шесть тому назад Сибирский царевич Мамет-Кул близко подошел к русским владениям. В его дружине находилось, помимо татар, немало и подвластных Кучуму остяков, вогуличей и бурят, данников Сибирского султана. Был у него и молодой остяк в дружине, верный слуга Кучума, Огевий. Он только что женился на молоденькой Алызге, любимой рабыне-остячке одной из Кучумовых жен. Ее отец, мелкий остяцкий князек, привез еще малюткой к Кучуму свою Алызгу в его столицу Аскер. С тех пор девочка жила там, в гареме Сибирского султана, служанкой у Сузгэ-Хонми, любимой Кучумовой жены, забыв свою родину, свой родной язык и с чисто собачьей преданностью отдавшись своей госпоже и ее маленькой дочке-царевне. В одну из темных осенних ночей Мамет-Кул напал на прикамские поселки, находившиеся в пяти верстах от Строгановских городков. Отстреливаясь от дикарей, сжегших и разоривших их посадки, русские немало перебили воинов Сибирского царевича. Когда поселенцы стали обходить места, где кипела битва, то нашли среди убитых врагов одного молодого остяка. Над ним сидела странная неподвижная фигура и раскачиваясь протяжно пела что-то заунывным голосом. Это и была Алызга, маленькая остяцкая женщина-дикарка, последовавшая за мужем в поход и теперь

оплакивавшая его кончину. Ее взяли и отвели к Строгановым в острог. Здесь она и прожила шесть лет, дикая, замкнутая, молчаливая. Ее пробовали заставить принять православие, но как только заходила речь об этом, Алызга принималась горько плакать и так нежно прижимала к груди своей деревянных шайтанчиков [идолы, болванчики, которые носятся на груди за пазухой, а побольше размером – стоят на полках в юрте], которым каждое утро и каждый вечер молилась, что на нее махнули рукой. Так же горячо протестовала она, когда ее хотели одеть по-русски. От мирных остяков, данников Московского государя, живших поблизости Строгановских городков, она научилась русскому языку. Семен Аникиевич велел ей устроить чум [жилище остяка] в саду, по образцу остяцкого, с чуволом [очаг], на котором она могла варить себе свой незатейливый обед.

Маленькая Алызга (она действительно казалась маленькой, несмотря на свои 22 года) не могла убежать от своих новых господ. Видя, как привязалась к этой живой игрушке его крестница, хорошенькая Таня, дядя Семен Аникиевич решил приручить дикарку, чтобы молодая женщина и голубоглазая его крестница могли не расставаться. С Алызги взяли страшную клятву, чтобы она не ушла из Строгановского городка ни к отцу, ни к Кучуму, где прошла вся юность остячки. Из ближнего мирного остяцкого селения был призван шаман [жрец, посредник между остяками и их богами, и в то же время

кудесник и врач], который по желанию Семена Аникиевича, после всевозможных церемоний, заставил Алызгу поклясться над лапой медведя [медведь считается священным у остяков; по остяцким понятиям он когда-то был сыном Сорнэ-Турома, творца неба, упал с неба и бродит среди людей], после чего дикарка положенное число лет не могла и думать о побеге.

Вот какого рода странное существо выбежало из кустов навстречу молоденькой Строгановой.

– Что ты делала тут, на бережку, Алызга? – с любопытством, глядя в круглое лицо дикарки, спросила Таня.

Та вспыхнула и потупила голову.

– Так... Алызга глядела на воду... глядела как прыгают и резвятся кули [водяные духи].

– Вот-то глупая!... Это не кули твои, а речные струи, Алызга, – звонко рассмеялась Танюша.

Румянец сбежал с круглого лица остячки, она заметно побледнела.

– Тссс! Не гневи великого Сорнэ-Турома, – вся дрожа вскричала она, – не гневи, госпожа моя... Не было бы от того худо...

– Ха, ха, ха! – еще громче и веселее рассмеялась Танюша, – аль ты запомновала с кем говоришь, Алызга? Духов мне ваших бояться велишь. Да ведь я христианка, православная, глупенькая ты бабенка, Алызга! Нешто можно мне верить в существование ваших

бездружных богов!

– Ох, не говори, не говори так, хозяйка, испуганно прошептала дикарка и глаза ее округлились от ужаса. – Великий Ун-тонг услышит твои речи и тогда беда: пропала и госпожа, и Алызга.

– Ничего, не пропала! – потрянув красивой головкой с толстой русой косой, произнесла Таня. – Не боюсь я твоих глупых божков, Алызга... Один Бог на небе истинный, христианский... И нету, опричь его, других богов, – строго и резко произнесла девочка.

Потом, помолчав немного, добавила мягче, обвивая за шею рукою свою круглолицую подругу:

– Голубушка Алызга, ты любишь меня?

Ее голубые глазки ласково засияли навстречу всегда угрюмым маленьким глазкам дикарки. Тонкие пальчики любовно перебирали темно-русые, твердые и жесткие, как солома, прямые волосы Алызги. Нежная белая ручка продолжала обнимать сильную шею молодой полонянки.

– Ты крепко любишь меня, Алызга? – заглядывая ей в лицо, еще раз спросила Таня.

Дикарка угрюмо взглянула в хорошенькое личико Строгановой и резким движением отстранилась от нее.

– А за што мне любить тебя, госпожа? – усмехнувшись произнесли ее толстые губы.

– Как за што? – так и встрепенулась обиженная Таня, – я ль тебе не дарила и летники [сарафаны] шел-

ковые, и ферязи [верхние одежды], и телогреи, и венцы, жемчугом и камнями осыпанные [девичий головной убор], и бусы, и ленты, и чеботы, шитые золотом да серебром? Только ты не брала их, Алызга, и глядеть не хотела на подарки мои. А небось, мониста и бусы брала от твоей казацкой царевны [жены Кучума, хана Киргиз-Кайсацкой орды. Русские люди того времени кайсаков звали казаками], небось, и сейчас ракушки да монисты носишь, дарованные ею тебе.

И Таня, ревниво косясь на остячку, сердито дернула ее пестрое ожерелье из раковин, бисера и металлических пластинок, которые носила не шее и груди Алызга. Молодая дикарка в свою очередь вспыхнула гневом. Ее глаза сердито блеснули.

– Не тронь! – крикнула она, сдвинув грозно брови. – Дары царевны Ханджар последняя радость Алызги.

И она с благоговением приложила мониста к своей скуластой щеке. Все некрасивое лицо ее озарилось ярким светом. Потом глаза снова стали мрачны и угрюмы и снова обратились печальным взором к реке.

– Ты очень любишь твою царевну, Алызга? – с затаенной ревностью произнесла Танюша.

– Га! – не то усмехнулась, не то всхлипнула дикарка. – Спроси рыбу, любит ли она речную струю. Спроси цветок, любит ли он солнце. Спроси месяц, любит ли он зиму ночь. Двоих людей послал на путь Алызге великий Сорнэ-Туром: Огевия-батыря и царевну Хан-

джар. За обоих умерет Алызга. Но к великой печали ее в мрачный Хала-Турм [подземный мир] отошел муж ее и грозный Урт-Ичэ [грозный бог, сын Троицкого шайтана] разлучил Алызгу с царевной Ханджар... Правда, Ханджар не часто дарила монистами и ожерельями Алызгу, как ты, хозяйка, но зато она свободу дарила ей... Вольной птицей могла носиться по степи Алызга, идти на Белую реку (Обь) к своему князю-отцу. Ханджар сама любила свободу, понимала Алызгу и не мучила ее в полону. А здесь?... О, русские! Вы взяли страшную клятву с Алызги, чтобы не могла Алызга бежать, – закончила с мучительною тоскою дикарка и закрыла желтыми руками свое некрасивое, плоское, скуластое лицо.

– Крестись, Алызга, прими веру нашу и легче куда станет тебе, – тихо и ласково произнесла Таня, снова нежно обвивая шею остячки своей белой рукой.

Что– то странное произошло с дикаркой. Казалось, ненависть, бешенство и гнев разом наполнили все ее необузданное существо.

– Никогда! – топнув ногою, крикнула она резко, – никогда не станет Алызга христианкой! Великий хан Кучум не неволил Алызгу и ее мужа исповедывать Аллу и Магомета, пророка его... [Кучум вводил магометанство среди своих приближенных, сам он был магометанином] Ни царевна Ханджар никогда не говорила о том, так подавно и тебе, госпожа, не след неволить меня принимать Христа. Жила доселе Алызга рабыней сво-

их великих богов и умрет тоже их слугой и рабыней, – громко заключила она, поводя разгоревшимися глазами.

– Ишь ты упористая какая, – произнесла, нахмурившись, Таня и невольный гнев охватил девочку. – Нет таких богов! Вот што! И все твое верование брехня одна! – поддавшись разом нахлынувшей на нее гневной волне вскричала она.

Алызга вздрогнула, вытянулась, как стрела. Вся коренастая фигурка дикарки точно выросла в одно мгновение. Маленькие глазки загорелись зелеными огнями. Она была бледна как смерть.

– Великий дух, могучий Сорнэ-Туром! – грозно потрясая руками вскричала она резким голосом. – И ты, всесильный Ун-тонг, и ты, грозный Урт-Игэ, и вы, быстрые кули и мрачные менги [лесные духи], вы слышите, что говорит она! Откликнитесь, великие... нашлите громы и молнии на место это... Пусть видят кяфыры нечистые всю страшную силу могучих богов! – и она упала навзничь в траву, не то смеясь, не то рыдая, в охватившем ее экстазе.

Доброй по натуре Танюше стало жаль дикарки.

– Полно, Алызга, полно... сбрехнула, може, я... Не серчай, голубка! – наклонившись над нею проговорила она. – У нас своя, у вас своя вера... Не серчай... Не хотела я тебя обидеть, бабочка! Полно, не плачь... Слышь, Алызга!

Все ниже и ниже наклонялась над дикаркой Таня и, занятая бившейся в конвульсиях Алызгой, не замечала, как нечто не совсем обыденное происходило подле нее. Не видела, как разом зашевелились кусты, как чья-то закутанная в оленью кожу фигура в остроконечной шапке с луком и стрелами, засунутыми за пояс, с плоским, темно-желтым лицом и приплюснутым носом неслышно выскользнула из кустов и приблизилась к обеим женщинам.

Радостная, злобно-торжествующая усмешка искривила лицо незнакомца. Он выпрямился. Маленькие глазки его блеснули... Твердой рукой он стал налаживать свой лук.

– Велик могучий Сорнэ-Туром! – грозно прозвучал его голос и почти одновременно звякнула натянутая смуглой рукой тетива.

При звуках родного языка Алызга вскочила на ноги с быстротою дикого оленя. Одновременно громкий, испуганный крик вырвался из груди Тани. Стрела с шипением пронеслась мимо самой головы девочки и вонзилась в молодую осоку, росшую на берегу.

– Спасите! – новым отчаянным криком пронеслось по окрестности и замерло в холодных струях реки. И, не помня себя, молодая девушка ринулась из чащи. Промажнувшийся остяк сердито топнул ногою, потом запустил руку в сапог и, вытащив оттуда кривой нож с короткой рукояткой, каким обыкновенно сдирают шку-

ры зверей охотники-остяки, ринулся в погоню за девочкой.

– Стой! – повелительным жестом остановила его Алызга, – стой, говорю я тебе, – все дело погубишь, брат Имзег! – крикнула она по-остяцки. – Ужели пришел ты сюда, чтобы отправить в Хала-Турм твою и мою душу?

– Молчи, сестра! Недаром я готовлюсь стать большим тодиби [по-остяцки – шаман]. Я не мог выслушивать, как нечистые уста порочат нашу веру. Я служитель светлых богов, – угрюмо произнес остяк.

– Великий Сорнэ-Туром лишил разума эту несчастную и сами боги вольны казнить и миловать ее! – веско и убежденно заговорила Алызга. – Ты пришел вовремя, Имзег! Я каждый вечер выходила сюда слушать крик иволги, которым ты извещаешь свой приход. В этот год он принесет мне счастье. Этот год – последний год плена и страданья Алызги, сестры твоей... Были ты, богатырь, на урмане Вагатима-нет? [священное местопребывание главного остяцкого божества] – с лихорадочной поспешностью закончила свою речь вопросом Алызга.

– Я только оттуда, сестра! – произнес молодой остяк. – Слушай, надо торопиться... А то девчонка успеет добежать до острога и поднять тревогу... Мой каюк [лодка] спрятан в камышах... Успеем бежать, только надо спешить... Слушай: я провел семь дней и

семь ночей на урмане... Я принес в дар великому духу девять [число 7 и 9 имеют каббалистическое значение у остяков] медвежьих сердец, добытых на охоте... Я лежал ниц перед великим изображением могучего шайтана, не вкушая пищи, девять дней и девять ночей и вот что открыл мне могучий Ун-Тонг, сестра моя Алызга: через семь новолуний ты будешь освобождена от клятвы своей и можешь вернуться к отцу на Белую реку, либо в юрт хана Кучума. Слышишь, сестра?

– О, Имзегга! Благодарю тебя за добрую весть! – вся вспыхнув от счастья, прошептала Алызга.

– Постой, не все еще. Ты должна сослужить нам великую службу, Алызга, – кладя ей свою смуглую руку на плечо, произнес остяк. – Пятьсот вогуличей-воинов, с мурзою Бабелием и нашими молодцами, остяцкими батырями, стоят недалече в степи. Сегодня в ночь лучшие молодцы мурзы проберутся к острогу. Ты откроешь нам ворота, Алызга, и наши ворвутся и перебьют собак русских, ворвавшихся в нашу землю и завладевших ею. Поняла ты меня, сестра?

– О, поняла! Все поняла Алызга!

– Когда все будет сделано, ты можешь бежать сегодня же в ночь. Великий дух освободил тебя от страшной клятвы, сестра!

– О, Имзегга! С какими чудными вестями прислал тебя великий дух! Благодарение могучему Сорнэ-Турому! Ты не забыл свою невольницу-сестру, богатырь! –

радостно проговорила Алызга, обнимая брата.

– Я приходил каждые двенадцать новолуний сюда в эту рощу, ты помнишь, Алызга? Вот уже шесть лет, как я узнал, что сестра моя в плену у русских... Теперь, благодарение всесильному Ун-тонгу, тебе остается провести лишь последние часы у этих собак. К восходу солнца, милостью светлых духов, их остроги и поселки – все будет обращено в пепел и прах... Но, чу! Я слышу – сюда бежит погоня. Девчонка верно подняла на ноги острог! Я спешу в мой каюк, Алызга. Прощай до ночи, сестра!

– Прощай, богатырь! Буду ждать к ночи наших храбрецов!

Имзегга в три-четыре прыжка очутился на берегу и вскочил в лодку. Зашуршала осока. Несколько раз взмахнул веслами остяк, и легкая лодка понеслась стрелой вверх по реке. От острога к роще бежали люди, стража и холопы во главе, с самим Семеном Аникиевичем, насмерть перепуганным случаем с крестницей. Его племянники, Максим и Никита, статные, красивые молодцы, с ружьями в руках, вели всю эту вооруженную толпу. Старший Строганов, еще далеко не старый мужчина, с легкой проседью в волосах и окладистой бороде, казался по виду скорее каким-нибудь важным боярином, нежели солеваром-купцом, столько достоинства было в его приятном добром лице и голубых глазах, теперь зажегшихся гневом. Оцепить,

братцы, рощу да обыскать поладнее! Должно, схоронилась там басурманская нечисть, что пустила в крестницу стрелу! – приказал он, первый бросаясь в чащу. И тут же сразу заметил Алызгу. Она стояла спокойная, как ни в чем не бывало, на опушке. Только лицо ее было бледно, да глаза значительно поблескивали из-под насупленных бровей.

– Ага, здесья ты! – сурово произнес Строганов, хватая за руку пленницу. – Ты это што же... а? Спустя лето по малину ходить? Шесть годов выжила кротко да смирно, што твоя овечка, а тут, накося, с твоим песьим племенем никак шашни стала сводить? Так-то ты отплатила за хлеб, за соль да за заботы мои, вражья бабенка!

И, добрый и ласковый от природы, настоящий «отец» своих поселенцев, он теперь, не помня себя, тряс изо всех сил упорно хранившую молчание Алызгу.

Та только закусила губы и тяжело, порывисто дышала.

– Кто в Танюшку стрелял? А? Какого разбойника здесь схоронила? – крикнул, выскочив вперед, Максим, испуганный за сестру не менее дяди.

Алызга молчала. Вся ее небольшая, но коренастая, приземистая фигура олицетворяла только одну настойчивость, одно дикое, животное упорство.

– Эх, окрестить бы тебя нагайкой, чертову куклу! – заметил кто-то из стражников-холопов.

Алызга с ненавистью и злобой скосила на него глаза.

– Право слово, окрестить бы ее, Семен Аникич, – подхватили другие. – Небось тогда заговорит!

– Окститесь, други! Аль бивал я вас когда? – заметно недовольным голосом произнес Семен Аникиевич.

– Николи не бивал! – хором отвечали холопы.

– Так ужели же беззащитную бабенку, да еще плененную нами же, лупить? По добру куда гораздо ладнее спросить ее будет, – тихо и спокойно ронял Строганов, гнев которого уже мало-помалу проходил. И, взяв за руку Алызгу, насколько мог ласково сказал, обращаясь к дикарке:

– Твои боги накажут тебя, коли ты супротив нас не права, Алызга, ежели укрыла здесь вора какого из ваших племен... А все же ужю велю раздобыть я медвежью лапу и новую клятву возьму с тебя, штоб верой и правдой служила ты своим господам. Да вот еще, сходи ты, Максимушка, к попу в поселок, да попроси батю Алызгу к купели готовить. Не след ей своей басурманской вере прямить. Крестить ее скорееича надоть. На ша-то русская, глядишь, не своим басурманам-татарве да самоеди прямить будет, – заключил Строганов, довольный своей выдумкой, поглядывая на всех.

При последних словах Семена Аникиевича Алызга затрепетала. Бледное лицо ее стало багровым. Даже синие жилы вздулись на висках. Но это длилось недолго. Быстрее молнии заработал ее мозг.

Клятву не ранее восхода возьмут. Да и русский та-

дибей [священное лицо] не сейчас придет крестить ее, Алызгу. Пока исполнит свое желание хозяин, она, Алызга, успеет сделать все, что велел ей брат и скрыться навеки из этого проклятого места, – вихрем пролетела мысль в угрюмо-потупленной голове остячки.

– А все же запереть ее не худо, – начал кто-то из слуг, подозрительно поглядывая на остячку. Но Семен Аникиевич, почему-то доверяя проживавшей у него в плену дикарке, не хотел обижать последнюю. И на предложенную мысль запереть молодую женщину до времени в глухом Строгановском подвале, куда обыкновенно сажали провинившихся поселенцев [по жалованной грамоте Иоана Строгановы имели право самолично вершить суд и расправу в своих владениях] или пленных кочевников, только покачал головой:

– Не для чего запирать Алызгу. Не ее вина, што кочевник в Танюшку метил стрелю. Небось, и сама испужалась за хозяйку свою. Правду ль я говорю, испужалась, Алызга?

И Строганов, почти успокоенный тем, что не нашел ничего подозрительного на месте происшествия, уже ласково обращался с дикаркой.

Та только молча кивнула головой.

– А по мне ее в кандалы бы, да в цепи! – произнес горячий и вспыльчивый Максим Строганов.

– И то бы! – вторил ему брат Никита, – а то не слу-

чилось бы худо, дядя.

– Чему случиться? Не сегодня-завтра придут казаки, спасители наши... Вона Евстигнушке намедни прислали грамотку, што больно спешит к нам Ермак Тимофеевич с дружиной своей... Гляди, еще в сю ночку явятся молодцы, – с довольным видом потирая руки, весело говорил Строганов.

Хорошо, что не смотрел в сторону Алызги именитый купец, а то бы увидел, как неожиданно сразу изменилось лицо дикарки, как испуганно забежали ее обычно тусклые, теперь как-то странно загоревшиеся, глаза.

Казаки идут!... Ночью будут!... Не успеют наши... Как оповестить Имзегу об этом? – быстро-быстро мелькала мысль за мыслью в голове Алызги.

Между тем к Семену Аникиевичу вернулись стражники, обыскавшие рощу, и заявили, что ничего подозрительного не нашли нигде.

– Вот, видите, не нашли, – обрадовался добряк Строганов, – небось, чужой, неведомый Алызге, забежал сюда к нам кочевник... Неповинна бабенка, как есть, ни в чем. А таперича айда, домой, ребяташки, надо крестницу успокоить. Сам Господь Татьяну Григорьевну от беды уберег. Пойдем и ты, Алызга. Вижу, зря распалился на тебя.

И Семен Аникиевич ласково погладил по голове дикарку.

Весь маленький отряд двинулся в острог.

9. В СВЕТЛИЦЕ. – СТРАХИ. – СОБЫТИЕ ЗА СОБЫТИЕМ

Быстро оправилась от своего испуга Танюша. Уже к вечеру отошла настолько, что, несмотря на все доводы няни Анфисы Егоровны, вынянчившей свою «золотую кралечку», велела позвать сенных девушек на игры и затеи девичьи в свою светлицу.

– Полежать бы тебе малость в постельке, пташечка! Небось, напужалась-то. Еле от водицы святой отошла. А то игры да песни растревожат тебя и, не приведи, Господи, занедужишься снова, – уговаривала старая нянька свою любимицу.

Но любимица и слышать не хотела о лежанье и отдыхе.

– Не недужная я какая, штобы зря пролеживать перины, няня, – говорила бойкая, веселая девочка. – Скушно мне так-то... Ишь невидаль: спаслась от кочевниковой стрелы... Так ведь спаслась же, не попала в меня стрела та...

– Еще что скажешь! Не попала! Храни, Господи! – так и залилась нянька со страха.

– Ну, вот видишь. Стало быть все и ладно. А коли ладно, зови сенных девушек: Агашу, Марью да Аннушку, да изготвь нам гостинчика, нянечка, пряников ин-

бирных да паточных, бруснички моченой, орешков да репки в меду, да клюквы... Ладно, нянечка, побалуешь нас?

И прыткая, живая, веселая девочка ласковой кошечкой прильнула к груди старухи.

– Ладно уж, ладно, побалую тебя, озорница. И сластей вам изготовлю да сотового медку, инбирного. Будешь довольна, ласточка, – размягченная поцелуями своей любимицы отвечала старуха.

– И Алызгу велишь покликать, нянечка?

– Ну, уж нет! Алызгу не пущу к тебе. Она, негодница, господское дите не уберегла давеча в роще, допустила разбойника стрелять в тебя. Видеть ее, мерзкую, не могу, «бесерменку» [басурманку] эту! – неожиданно захорохорилась Анфиса Егоровна.

– Да ведь она не виновата, нянечка. Разбойник так подкрался, что и не заметила она.

– Ладно уж, не защищай свою любимицу. С той поры как поселилась у нас эта нечисть, прости, Господи, «бесерменская», ты опричь нее и видеть, и знать никого не хочешь... Верно околдовала тебя полонянка эта. Тьфу!

И старуха Егоровна энергично сплюнула при одном упоминании о треклятой «бесерменке», которую не выносила с первых же дней ее поселения в Строгановском городке. Отчасти набожную няньку Анфису отталкивала Алызга, как верная своим богам язычница,

отчасти – ревнивая старуха завидовала той дружбе и любви, которую питала к «бессерменке» ее ненаглядная Танечка. И ответное отношение, самая холодность Алызги к Тане раздражала Егоровну.

– Ишь кочевряжится кочевое отродье... Ей бы ножки целовать у нашего андела, а она, идолша поганая, волк-волком только и глядит! – не раз говаривала о своем враге-остячке Анфиса.

Но на этот раз хорошенькой Тане удалось таки уговорить няньку, и вскоре веселая толпа девушек и коренастая, сильная, хоть и маленькая, фигурка Алызги появились у ней в светличке.

Молодежь разместилась по лавкам, грызя орехи и подсолнухи, да жуя сладкие пряники и лепешки. Говорили все разом, говорили все об одном утреннем происшествии, о разбойнике, осмелившемся стрелять в молоденькую хозяйку. Одна Алызга молчала. Она сидела, угрюмо уткнувшись, по своему обыкновению, в стену, и глаза ее безучастным, тусклым взором смотрели прямо перед собой. Наговорившись вдоволь, девушки затаили песню. Миловидная черноволосая Агаша, главная запеваля Строгановских хором, лихо подбоченилась, руки в бока, и первая затаила своим звонким голоском:

Летала, летала птичка-невеличка,
Ростом-то с пальчик, перышки красны,

По саду порхала, по кустам, дорожкам;
Песенку пела птичка-невеличка,
Услыхала птичку из своей светлички
Девица, молода девица, пригожа,
Роду большого, именитого роду,
Звать-то Татьяной, светом Григорьевной.
Выглянула из окна...

– Стой, никак песню-то сама сладила, Агаша? – с хохотом бросаясь к ней и целуя веселую девушку кричала Таня.

– А то нешто не сама? – лихо тряхнула своей черненькой головкой ее бойкая сверстница и, помолчав немного, подхватила снова: – На радостях и поется-то, и пляшется, боярышня, что вызволил тебя Господь из беды! Хорошо нешто сладила песенку, девицы? – весело обратилась она к окружающему ее сонму подруг.

– Што и говорить, ты у нас мастерица! – откликнулась сероглаза Домаша, с благоговением глядя на хорошенькую запевалу.

– Небось, другой такой, весь свет исходи, не найдешь, – вторила ей Аннушка, тихая, ласковая девушка с длинной косой.

– Такая затейница, што и сказать нельзя! Небось, саму Алызгу развеселишь, – засмеялась хохотушка Машенька, лукаво скосив глаза на притаившуюся в своем уголке Алызгу.

Та при упоминании своего имени медленно подняла голову.

– Што надо? – нехотя спросила она на ломаном русском языке.

– А то надо, што больно ты угрюма, бесерменская княжна. Ходишь ровно идол мохнатый в своей оленине. Пугало ни дать, ни взять. То ли бы дело, бабочка, в летник тебя да убрус нарядить. Поди, подойдет тебе летник-то куды гораздо более, нежели пугальная твоя одежда! – со смехом, хватая за руки Алызгу и вытаскивая ее на середину комнаты, кричала Агаша.

– И то бы, обрядить ее... То-то смеху будет! – подхватила Машенька.

– Не надо, не троньте ее, – вступилась Таня, – пуцай сама обрядится. Хошь, подарю тебе свой летник из червчатого атласа да убрус покойной матушки, Алызга? – предложила она ласково дикарке.

– Не надо Алызге, ничего не надо! – сурово отвечала та.

– Нет, ты обрядись! Чего кочевряжишься? – появляясь на пороге, произнесла сердито няня Анфиса Егоровна. – А вы вот што, девушки, больно ей воли-то не давайте! Руки ей скрутите, да и обрядите бесерменку. Что с ней долго канителиться. Потешьте золотую нашу хозяйку, – с недобрым взглядом в сторону Алызги заключила она.

– Нет, нянечка, не надо, – взмолилась Таня, – коли

не хочет Алызга, зачем же силком?

– Дура она, што не хочет! – окончательно вышла из себя нянька. – Небось, хочет, только сказать боится. Кому не охота летник червчатый да кикку нарядную надеть? Ладно уж, раскошелюсь на радостях. Ты, гляди-ка, выросла из алого летника-то, кралечка, а ей, карлице-малявке, как есть в пору буде. Да мою кикку дам, што в молодости по праздникам надевала, – высказала свою мысль Егоровна.

– Да ведь старое все это, нянечка. Я бы свой червчатый летник да матушкин убрус ей подарила, – нерешительно произнесла Танюшка.

– Да никак ты ты рехнулась, дитятко! Этакой-то дряни, прости, Господи, да шелка носить, да покойницы-хозяйюшки кикку еще давать! Што ты! Што ты! Окстись, Танюшка, – так и замахала обеими руками нянька. – А нутка-сь, Агаша, – обратилась она тут же к востроглазой чернушке-певунье, – добеги до моей клетушки да вынь из укладки [сундук] кикку мою... Там же, в ларе, и старые летники найдешь боярышнины, вот тебе и ключик. Отомкнешь замок...

– Ладно, нянечка! Я духом слетаю. Одна нога здесь, а другая там.

И, как бы в подтверждение, Агаша пулей вылетела из горницы.

Девушки, между тем, веселой толпой окружили Алызгу.

– Постой! Постой! Обрядим тебя, как царевну, княжна бесерменская! – шутили они.

Та только дико поглядывала на них, как затравленный зверек.

Вскоре вернулась в светлицу и Агаша. В одной руке ее была кика, в другой летник.

– Ну, девоньки, обряжай остячку! – скомандовала няня. – Неча ей в своей шубе ходить, ужо, после крестин, все едино скинет.

– Поворачивайся, што ль, красавица! – усмехнулась веселая Машенька и изловчившись занесла руку и сорвала остроконечную шапку с большой, неуклюжей головы Алызги.

Точно под ударом кнута выпрямилась дикарка. Страстной ненавистью вспыхнули ее небольшие глазки. Они испустила какой-то гортанный крик и, изогнувшись как кошка, кинулась на Машеньку.

– Ай-ай! Да ты кусаться, бесерменка негодная! Ей добра хотят, а она ровно зверь лютый... Вот погоди, я ж тебя! – гневно закричала няня Анфиса и в свою очередь бросилась к Алызге.

Неожиданный шум, раздавшийся в сенях, привлек внимание девушек.

Алызга воспользовалась этим и, растолкав окружающую ее толпу, бросилась за дверь, почти столкнувшись на пороге с входившим сюда Максимом. Старший из молодых хозяев был, по-видимому, чем-то взволнован.

На его пригожем лице, как две капли похожем на лицо сестры, явно замечалась тревога. Нервно пощипывая свою русую бородку, он едва ответил на почтительный поклон девушек и, быстро отыскав в их толпе сестру, подошел к ней:

– Танюшка, не пужайся, милая... Упредить тебя пришел. Сейчас пальбу из пушек да пищалей услышаешь, не совсем твердым голосом произнес Максим.

– Што? Какая беда? Зачем палить станут? – так и всколыхнулась молодая Строганова.

– Не бойся, милая, – насколько мог спокойно произнес Максим. – Опять орды кочевников со степи движутся, к поселкам путь проложить ладят... Надоть нам, с Никитой-братом, вызволять поселенцев идти... Палить станем... До пушек они, сама знаешь, не больно-то горады. Разбегутся живо...

– А велика ль орда, братец? – помимо воли охваченная страхом произнесла девушка.

– Нешто их приходит когда по малости? Больно трусливы псы степные, – попробовал отшутиться Максим. Но по его тону и лицу видно было, что беспокойно на душе у молодого Строганова. Неспокойна стала и присутствующая молодежь. Не за себя боялись подружки Тани Строгановой и сама молоденькая хозяйка. Здесь, за толстыми стенами и крепкими запорами, они были безопасны вполне. Иное смущало и голубоглазую Танюшу, и няню Анфису, и всех этих резвых девушек, за

минуту до того веселившихся от души: участь поселенцев Сольвычегодских, разбросавшихся со своими селениями по Чусовой, волновала их. Наверное, кочевники обрушатся прежде всего на мало защищенные поселки, сожгут нивы, угонят скот, а то и людей.

– Как же, братец, – несмело осведомилась девушка, – ты сейчас и пойдешь на охрану наших поселков?

– Сейчас и пойду с охотничками. Да ты не сумлевайся, Таня... Дядя тут с вами останется да и воротников с десятка два, про всякий случай, – стараясь казаться спокойнее заключил Максим.

– Да я не боюсь. Только ты себя побереги малость. Зря-то в пекло не суйся.

И быстрым движением девушка закинула обе руки за шею брата.

– Ишь ты, тоже учит, ровно взрослая, – усмехнулся Максим и, сняв шапку, трижды поцеловался с сестрой.

Потом, наскоро поклонившись присутствующим, он стремительно вышел из девичьей светлицы сестры.

Танюша и девушки кинулись к окнам. Спешно посреди двора строились ратники, заряжали пищали, подвешивали оружие, готовясь в недалний путь. Верст десять всего было до того поселка, куда, по-видимому, метили набежать движущиеся по степи кочевники.

Вскоре небольшой отряд, во главе с Максимом и Никитой Строгановыми, вышел из острога. Только небольшое количество людей осталось для охраны бо-

гатых Строгановских хором, стеречь самый городок и
его хозяев.

10. БЕДА. – БЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ. – НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ. – НА ВЫРУЧКУ

Еще не ложился Семен Аникиевич Строганов. Ночные сумерки давно спустились и степь понемногу теряла свои очертания. В просторной горнице, служившей ему опочивальней, на широкой лавке, крытой кизыльбацкого штофа полавошником, сидел именитый купец. На столе перед ним лежал старинный, в бархатном переплете, псалтырь, который в минуты душевного волнения любил читать владелец Сольвычегодска.

При свете восковой свечи да при бледном мерцании лампы, зажженной перед огромным киотом, горница Семена Аникиевича, блестевшая днем слишком богатым убранством, теперь имела более уютный и скромный вид. Широкая резная кровать на массивных ножках, с целою грудой лебяжьих перин, подушек, со стеганым бархатным одеялом, обшитым по борту золотою гривкой, так и манила к отдыху и покою. Но старший Строганов медлил. Что-то тяжелое камнем лежало у него сегодня на душе. Не впервые приходилось ему отпускать обоих племянников отражать набеги кочевников, но никогда не болело по ним так сердце, как сегодня. Бог весть почему, страх, помимо воли, прокрадывается в душу, щиплет за сердце и заставляет думать

о чем-то нехорошем, тяжелом и мрачном, как никогда. Семен Аникиевич равно любит всех своих племянников-сирот. С малых лет, заменяя им отца, холостой и бездетный, он только и жил для этих детей. Как родные дети они дороги ему. Не дай, Господи, случится что, — места он себе не найдет.

— Да что случиться-то может? Штой-то ровно младенец я стал! Чего боюсь. Не впервой, право! — ободряет сам себя именитый купец, — не впервой, я чаю, с кочевниками сталкиваться. Господи, помилуй! Помолиться разве? — неожиданно решает он и с благоговением подходит к божнице, поправляет лампаду и, опустившись на колени, Семен Аникиевич стал горячо молиться о благополучном возвращении племянников с их отрядом.

Молитва успокоила старика. Бодрый и спокойный поднялся он с колен.

— Все как рукой сняло, — произнес он, умиротворенный новым, тихим чувством.

Потом подошел к оконцу, глянул в него и... невольный крик вырвался из груди Сольвычегодского владельца: темная лавина катилась с невероятной быстротой по пути к острогу, в степи.

— Обошли!... Обошли песьи бесермены! — вскричал он в страшном волнении. — Я к поселкам ребят послал, а они, видно, на самый Сольвычегодский острог мелят... Молодцов-то мало, не отстоять им острога... Эх,

простофиля ты, простофиля, брат Семен... Што тапе-рича делать? Как вызволить из беды Таню, баб?... Не-бось, не замешкают незваные гости, – беспорядочно ронял не на шутку испуганный старик.

Его страхи не замедлили оправдаться.

– Семен Аникиевич! Беда! Ой, беда лихая, хозяин! Югра [югорцы, дикие кочевники Югорской земли, часто нападавшие на Строгановские владения] поганая степью валит на нас! – дрожащим голосом возвестил вбежавший холоп.

Почти за ним следом влетел в горницу воротник.

– Батюшка, Семен Аникиевич! Югра валит, почитай, в трех переходах от нас всего, – докладывал он, не помня себя от страха.

Поднялась суматоха и в Строгановских хоромах, и во всем городке-остроге. Замелькали огни, забегали люди. Стражники-пушкари налаживали пушки.

Славшие до сих пор мирно защитники покидали горницы и бежали к стенам. Из второго яруса хозяйских хором видно было далеко за стену острога. Там находились хозяйские опочивальни и жилые горницы, в то время как внизу ютилась челядь.

Танюша Строганова скоро проснулась от суетни и шуму.

– Никак пожар! – вихрем пронеслось в голове девочки.

Старая нянька с плачем ринулась к ней.

– Ласточка ты моя, сиротинка болезная, ягодка моя, куды я тебя укрою? Ой, лихо, лихо стряслось! Пропали наши головушки! Югра идет! Так валом и валит по степи! – заключила она, с рыданьем обнимая и крестя девочку.

– Югра идет? Вот оно напасть какая! – прошептала Танюша и, вся похолодев разом, почти крикнула в голос: – А дядя-то, дядя где?...

– На стены пошел хозяин Семен Аникич!

– А братцы еще не вернулись? – взволнованно роняла Таня.

– То-то и беда, не вернулись наши соколы! – всхлипнула нянька. – Ой лихо, ой лихо, касаточка моя!

Но девочка уже не слушала причитаний няньки. «Если братья с их отрядом не подспеют, югра кинется на острог и, чего доброго, возьмет его!» – в невольном трепете соображала юная Сольвычегодская хозяйка. – Тогда... тогда... я к дяде пойду! – неожиданно решила она и дрожащими руками стала застегивать запыленные наспех наброшенного не плечи летника.

– Ой, не пуцу тебя, ягодка. Здесья, в горницах, куды спокойнее, – так и вцепилась Егоровна в свою питомицу.

С несвойственной ей резкостью девушка оттолкнула старуху и стремглав кинулась в открытую дверь.

Сбежать в первый ярус жилья, оттуда, через просторные сени, в сад, домчаться до ворот – было де-

лом нескольких минут для быстрой и подвижной девочки. Она духом миновала сад и небольшую площадь за ним, где находились риги, амбары, сольницы и прочие домовые пристройки острожного городка, и побежала к воротам, выходящим в поле. По ее мнению дядя с челядью и стражей находился здесь.

Но полная тишина господствовала в этой части острога. Прилегавшие к садовой части ворота скрывались в тени орешника, густо разросшегося в углу.

Глухим и страшным показалось сейчас это место небоязливой от природы Тани. Гулкий топот доносился сюда, в темноте, со стороны степей. Будто несколько тысяч человеческих ног утаптывали почву. Из-за стены не видно было того, что делалось в степи.

– С нами крестная сила! Идут враги! – дрогнув от ужаса прошептала Таня. – К дяде, к дяде скорее! – вихрем подсказывала ей встревоженная мысль. – У главных ворот дядя... За пристройками не видать огней, – решила девушка и стрелюю метнулась было назад от ворот.

Зловещий крик ночной птицы неожиданным звуком прорезал тишину ночи. Такой же, словно ответный, крик раздался над самым ухом Тани, и из ореховых кустов показалась маленькая, коренастая фигура, бежавшая к воротам.

Ошеломленная неожиданностью Таня так и остановилась, как вкопанная, на месте.

– Алызга! – невольно вскрикнула она.

Тихий, злобный крик был ей ответом.

Алызга замерла на минуту, готовая кинуться на свою молоденькую госпожу. Но, словно раздумав, в два прыжка очутилась у ворот и, с силой рванув железную скобку засова, испустила тот же пронзительный крик дикой птицы, который слышала перед этим Таня.

Почти следом за этим громкое: «держи, держи разбойницу!» прогремело в кустах и двое челядинцев, как из-под земли, выросли перед остячкой.

Что– то яркое блеснуло во мраке. Она взмахнула рукою и первый челядинец со стоном рухнул на траву. Темная струя крови хлынула у него из груди.

– Зарезала! Алызга зарезала человека! Ратуйте, православные, ратуйте!

– не своим голосом закричала Таня.

Алызга в этот миг не на жизнь, на смерть боролась со вторым холопом. Она то извивалась змеею, то визжала и царапалась, как кошка, стараясь нанести противнику смертельный удар своим коротким ножом.

– Алызга! Окстись! Што ты! – обезумев от ужаса вскричала Таня. – Алызга! Подружка моя!

При этом крике остячка быстро обернулась. Ее глаза горели страшным огнем.

– Проклятые! Проклятые! Ступайте все в Хала-Турм! – исступленно взвизгнула она, подскочив к своей молоденькой хозяйке, и со страшной силой

взмахнула блеснувшим снова во мраке ножом.

Инстинктивным движением Таня отпрянула в сторону. Сильные руки схватили Алызгу и, бросив ее на землю, придавили к траве. В следующий миг руки дикарки были плотно скручены за спиной.

– К «степным» воротам бежал сам Семен Аникиевич со стражниками. Глубоко потрясенная всем происшествием Таня повисла на груди дяди и, рыдая и всхлипывая, рассказала ему все в коротких словах.

– Так вот ты какая, змея подколодная! – грозно произнес, склоняясь над связанной Алызгой, старый хозяин, – прикинулась ручною, волчица, а на самом деле диким зверем осталась... Небось, и намедни в роще югров ты ж проклятых укрывала... Взять ее, ребята, да в подвале запереть... Ишь ведь, подлая, ворота отомкнула, улизнуть ладила... На мою голубку белую с ножом! Холопа ранила. У-у, змея, волчица!...

– Што улизнуть, Семен Аникич!... Улизнуть-то еще было бы с пол-беды... Гляди-кась, што замыслила бе серменка поганая: своих югров нечестивых хотела в острог впустить! – спешно прошептал на ухо Строганову один из холопов, указывая рукою в даль, где, в чуть растаявшем сумраке, двигалась темная толпа.

Семен Аникиевич взглянул и тихо ахнул: пока шли с главной стороны острога приготовления к обороне, югорцы обошли крепость и появились с того края владений, где их ожидали менее всего.

– Перетащить пушки!... Воротников сюда скликать!... Запереть острог поладнее! – срывающимся голосом приказал Строганов. – Да увести эту подлячку! – кивнул он в сторону Алызги, все еще беспомощно лежащей на земле.

Двое холопов грубо подняли остячку и повели в сторону жилых строений, двое других подняли раненого и понесли его, по приказанию хозяина, в дом.

– Ступай и ты в горницу, Танюша! Не след тебе тут оставаться! – наскоро поцеловав племянницу, произнес Семен Аникиевич.

– И ты... и ты ступай, дядя... Не приведи Господь, еще убьют тебя нехристи... Стрелы каленые ведь у них! – вся бледная, как смерть, шептала девушка, прижимаясь к крестному и с мольбою заглядывая ему в лицо.

– Никто как Бог!... Да ты не пужайся больно! Стены-то у нас горазд крепки, а как выпалим враз из пушек и пищалей, так твоя югра, что горох, посыпется всмять, – попробовал пошутить Семен Аникиевич.

Но шутка на вышла. Боязнь за любимую крестницу, за всех своих верных слуг, за это насиженное гнездо острым жалом впиалась в сердце старика.

«Ох, не след было отпускать охотников с Максимом да Никитой! Вишь, обходом пошли югорцы... Кто мог знать?!» – думал он и болезненно сжималось его сердце.

И он стал напряженно вглядываться в степь.

Мрак еще не разошелся вполне, но по топоту ног, по характерному позвякиванию и по смутному гулу чувствовалось, что югра подходила все ближе и ближе к городку. Скоро, спешно делали приготовления воротники в этой части острога.

Строганов огляделся кругом. В тени кустов по-прежнему стояла Таня. Около нее находилась нянька Анфиса, Агаша и другие девушки, прибежавшие разыскать свою юную хозяйку.

– Ступайте в горницы, все ступайте! – махнув рукою крикнул им Строганов.

Вся небольшая толпа женщин, не смея ослушаться хозяйского приказа, поспешила к хоромам, уводя за собою громко рыдающую Таню.

– Дядя! Дядя! – вся трепеща от слез, в горе и отчаянии, шептала девушка. – Пуцай и он сюды идет! Пуцай идет с нами... Не то убьют его нехристи! Убьют! Убьют!...

– Полно, ласточка! Не доберутся нехристи до солнышка нашего, до Семена Аникиевича! – утешала свою питомицу няня. – Небось, стены наши крепкие. Не прорваться сквозь них николи силе бесерменской...

– Да дядя-то на стены ползет... Стрелюю по ему можно достать... – рыдая неутешно, говорила Таня.

– Молиться надо! Молиться, девонька! Все молитесь, все! – каким-то вдохновенным голосом произне-

сла нянька и первая рухнула на колени перед киотом.

Вся толпа девушек покорно опустилась за ней.

Полная тишина воцарилась в горнице. Тихим, ласкающим светом обливала лампада уютную девичью свечечку и все молитвенно поднятые на образ лица. Впереди всех, почти распластавшись на полу, лежала Таня.

– Господи! – шептала она, вся дрожа, в томительной муке. – Спаси дядю!... Господи! Сохрани моего крестненького... родимого... Господи! Владычица Небесная, Богородица, к Тебе прибегаю! Сохрани дядю!... Обет даю Тебе, пелену вышью, покровы, воздуха в Твою, Владычица, Велико-Пермскую обитель, Царица Небесная! – заключила она, ударяя рукою в грудь, и вдруг замерла в ужасе. Неожиданный грохот, потрясший до основания Строгановские хоромы, прервал молитву девочки.

– Палят! Наши палят! – не помня себя вскричала Таня и, как безумная, вскочила с колен. Вскочили за нею и все остальные.

Следом за пушечным выстрелом раздался гулкий не то рев, не то вой. Казалось, целая лавина обрушилась на острог. Земля задрожала от топота нескольких сот ног. Дрогнули, казалось, сами стены острога.

– Никак уж близко?! – побледневшими губами произнесла Анфиса Егоровна.

Бледные, встревоженные лица девушек выражали

ту же боязнь.

– К дяде, к дяде! К крестненькому пустите! Пустите меня! – как безумная кричала и металась по своей светлице Таня.

Девушки с Анфисой Егоровной, как могли, удерживали ее.

За первым пушечным ударом прогрехотал второй, за ним третий, четвертый.

От каждого из них дрожали крепкие тесовые хоромы и не менее их могучие стены и ворота острога. Минуты тянулись убийственно долго. Казалось, ночь обернулась назад, не двигаясь к рассвету.

Таня то металась по-прежнему в горнице, умоляя отпустить ее к крестному, то снова притихала, и упав на колени, слала горячие молитвы Царице Небесной.

Наконец, первые лучи рассвета долгой северной ночи пробили ее негустой, но таинственный мрак.

Затихла и пальба из пушек и пищалей, но не надолго.

Опять прогремел могучий залп и как раз в ту минуту, когда находившиеся в светлице девушки менее всего ожидали этого. Новый дикий вой пронесся над степью, гораздо более резкий и страшный, нежели все прежние крики. Ужас сковал сердце бывших в светличке. Старая Егоровна снова тяжело рухнула на пол перед иконой.

– Знать, нам смерть пришла! – прошептала трусли-

вая, тихая Домаша.

– Глянь-ка, боярышня! Зарево ин тамо! – слышался крик Агаши, не отходившей от окна. – Никак посадки наши жгут, треклятые...

– Где? Где? – так и метнулась к оконцу Таня.

И тотчас же, вся бледная, отскочила назад.

– И впрямь жгут... Скоро и до нас доберутся... – чуть слышно прошептали ее трепещущие губы. – Татьяна Григорьевна... боярышня... глянь-кось! От реки-то в обход берут... Из соседней горницы из окошечка видать все, как на ладони. Ох, Господи! Никак оцепили острог...

И испуганная насмерть Машенька появилась на пороге смежных светлиц.

Точно по команде, девушки кинулись в соседнюю комнату, выходящую углом на другую сторону острога, и жадно прильнули к оконцу.

В заметно растаявшем сумраке июньской ночи, со стороны реки быстро подвигалась по направлению к острогу огромная толпа.

– В обход и то взяли!... Господи, помилуй! Чем прогневили Тебя? – в ужасе прозвенел чей-то испуганный голос.

– Ништо... Здеся заметы да вал не подпустят! – уверенно прозвучал более спокойный голос Агаши.

Таня с надеждой и мольбой взглянула на божницу.

– Дай-то, Господи! – шепнула она.

А между тем толпа все подвигалась и подвигалась. Вот уже близко она... Вот совсем приблизилась к первому замету... Ровно и степенно движется... Будто и не югры-дикари это, будто свои...

– Боярышня! Глянь-ка!... Да ведь это наши! – крикнула во весь голос Агаша, приткнувшись к оконцу.

В один прыжок Таня была подле нее.

– И впрямь! Евстигнушка с челядью, што крестный на Каму посылал! Угодники Божии! Спасены мы! Небось, народищу-то, народищу сколько с собой ведут! Сотен с пять будет... На югров ударят сейчас.

И вся трепеща девочка прильнула к расписной слюде оконца.

Мрак поредел. Светлое утро вставало уже над Строгановским городком. Теперь ясно можно было различить из теремных окон огромную пятисотенную толпу, правильными рядами шедшую к острогу. Впереди всех выступал дворецкий Строгановых, Евстигней Дмитрич. Обок с ним шел чернобородый богатырь с гордой осанкой, в расшитой парчой светлой чуге [короткий кафтан], с длинной заморской саблей, привешенной к поясу. От всей его фигуры так и веяло мощью и удачью. Чуть отступя за ним шагал седоватый молодец в более скромной одежде.

Очевидно вновь появившиеся были поражены гулом и шумом, доносившимися из степи. Строгановский городок с поселками и варницами загораживал от них

хозяйничавших с той, задней, стороны югров. Но новая пушечная пальба и смятение на стенах острога заставили разом остановиться отряд.

Из теремного окошечка было хорошо видно девушкам, как передовой богатырь сделал знак рукою дружине и, выхватив саблю, первый ринулся вперед, вдоль стены острога. За ним ринулись и остальные. Только старик Евстигнеич с холопами прошел по мосту, висевшему над заметами, к воротам городка.

Присутствующие в Танюшиных горницах женщины притихли в ожидании. Их сердца то бились, то замирали. Напряженное ухо ловило малейший звук.

Ждать пришлось недолго. Дикий рев югорцев и торжествующие крики набросившейся на них дружины огласили окрестности Сольвычегодской крепости. Половина орды бросилась назад, в степь, половина осталась на месте, изъявляя покорность.

Радостными криками отвечали засевшие в стенах, в башенках острога воротники и Семен Аникиевич.

– Сам Господь послал тебя вовремя, удалой козаче! – выходя с образом и хлебом с солью из ворот острога навстречу победителю, произнес Строганов и истово троекратно поцеловался с вожакom отряда. – Кабы опоздал малость, нагрянули бы дьяволы и на самый острог... Недаром запалила посадки окаянная нечисть! – заключил он печально, глядя на алое зарево, поднимавшееся к небу от поселка.

– Ладно, потушим! Туши, братцы, пожар! – обратился Ермак Тимофеич к своим молодцам, – хозяин-купец именитый, спасибо скажет!

И большая часть его дружины кинулась к поселку, уже сильно занявшемуся огнем.

– Милости просим, гостюшка дорогой!

И с низким поклоном Семен Аникиевич ввел давно желанного пришельца в ворота острога.

– А вас, молодцы, прошу на ближайшее село проследовать... Там вам и избы, и снесь – все готово в ближнем селении. Который день ждем вас, дорогих гостей! – окинув взором оставшуюся толпу казаков, попросил он с новым поклоном.

– Веди, Иванович, робят в село, а апосля вертай в хоромы к господину купцу, – обратился Ермак к есаулу и снова с поклоном, исполненным почти царственного достоинства, сказал Строганову: – Уж не погневись, батюшка Семен Аникич, это рука моя правая. С им, с есаулом моим, мы не разлучаемся никогда. Уж коли меня чествовать мыслишь, то с ним заодно почествуй, именитый купец.

– Будь благонадежен, Василий Тимофеич, – не обижу ни есаула, ни других помощников твоих... Не побрезгуй на гостеприимстве нашем, Иван Иванович! – так же низко кланяясь, обратился Строганов к Кольцу.

Не из страха перед удалыми волжскими разбойниками, не из желания подслужиться им с таким почтени-

ем отнесся Сольвычегодский владелец к удалой разбойничьей дружине: искренно, радостно обнимался с гостями старик Строганов. Одним своим появлением они обратили в бегство орды кочевников и впредь будут ограждать от набегов вверившихся под его, Строгановское, крылышко поселенцев.

И это несказанно радовало именитого купца.

Ночь между тем растаяла совсем. Огненный диск восходящего солнца окрасил пурпуром степь. Зарево пожара побледнело. Удалые Ермаковские молодцы задушили огонь и теперь, при блеске возродившегося дня, устраивались в своих новых жилищах. Как раз к этому времени подоспел и вернувшийся отряд охотников с Максимом и Никитой во главе.

Отлегло от сердца Строганова. Теперь он был вне опасности со всеми своими поселенцами и с дорогой семьей, под мощной защитой славных волжских казаков.

11. НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ. – ПРЯТКИ. – РОКОВОЕ ОТКРЫТИЕ

Раздольное, веселое пирование шло в столой палате просторных Строгановских хором. Вдоль столов, покрытых камчатными скатертями, с золотыми гривками по краям, на длинных, широких скамьях, обитых богато расшитыми полавашниками, сидели гости. Столы гнулись от обилия наставленных на них блюд, под тяжестью ковшей с брагою и медом.

Чего– чего только не было тут! И рыбные блюда, нежная, розоватая омуль [сибирская рыба], и язь, приправленная перцем и пряностями, всякая дичина, начиная с фазанов и кончая мелкими рябчиками да лесными петухами, пироги с саго и мясом и курники, начиненные шпигом, оладушки, лапша, жареная баранина с кашей, гуси, свинина.

Челядь только и знала, что убирала смену за сменой, подавая без конца кушанья и яства.

Не меньшим количеством сортов отличались и вина. Тут были меда сыченые, малиновые, инбирные и другие, брага и олуй [пиво], и фряжское, заморское питье, романея, мальвазия и рейнские вина, так и искрившиеся в серебряных стопках и ковшах. Этими заморскими питьями были до верху полны Строгановские погреба.

Гости отдавали должную дань и винам, и снеди.

Пировали в четырех горницах. Василий Тимофеич со всей своей дружиной был приглашен отпраздновать свой приход в Строгановские владения. Не все приглашенные разместились даже в доме. Пришлось понаставить столы на вольном воздухе, чтобы уместить всех пятьсот сорок человек.

В стольной палате самого хозяина сидели только самые почетные гости: атаман с есаулом да Яков Михалыч или Волк, Никита Пан и молодой Мещеряк.

Сам хозяин с племянниками не садились, а ходили вокруг столов, угощая гостей.

Подле своего нового друга Матвея сидел Алеша. Долгое речное путешествие и несколько дней пребывания на вольном Пермском воздухе сделали свое дело: юный князек выздоровел от своей мучительной болезни. Не обошлось здесь дело и без помощи Волка. Старый разбойник, знахарь по призванию, травами и наговорами окончательно излечил мальчика. Правда, некоторая слабость давала еще себя чувствовать Алеше. К тому же близкое соседство страшного человека со шрамом на щеке, убийцы любимого дядьки, навело на тяжелые, мрачные мысли юного княжича. Всякий раз, что Никита Пан, раскрасневшийся от фряжского вина взглядывал на него, дрожь ненависти и злобы охватывала все юное существо Алеши.

Были тут и двое других людей, которые рождали

совершенно противоположные чувства в душе юного князька. То был Мещеряк, к которому успел привязаться за короткое время мальчик, и тот, другой, могучий орел Поволжья, сказочный богатырь, о котором он слышал не раз, еще в Москве и который с добрый десяток раз, по крайней мере, ускользал от виселицы царской. Этот ославленный всеми душегуб-разбойник, этот приговоренный к плахе Ермак, странным, непонятным образом, словно зачаровывал Алешу. Мальчик дивился его силе, его удали, его бесстрашию и почти отеческому отношению к своей дружине. Сам того не замечая, юный князек восхищался Ермаком. Он невольно подолгу ловил искрометный взгляд атамана, и дорого бы дал Алеша, чтобы услышать обращенное к нему хоть одно атаманское слово. «Этот бы не убил дядьку! Не велел бы повесить Терентьича моего!» не раз приходило в голову мальчику. А тут еще Мещеряк со своими речами толкует ему постоянно: «Нешто наш батька-душегуб? Нешто разбойник отец-атаман? Да они ни одного бедняка не обидел за всю жизнь свою; еще от себя, из казны своей не раз отдавал беглым Московским людишкам... А што бояр да гостей он грабил, так ведь не ихнее добро, а с бедных людишек побранное, трудом холопей-вотчинников. Вот тебя с дядькой молодцы, нешто бы он...» – и не договаривая до конца при виде затуманившегося личика князя, махал только рукою Мещеряк.

И неволью тянуло все больше и больше к лихому вождю-атаману князька Алешу. К тому же не раз замечал мальчик, как часто кручиной подергивалось красивое лицо Ермака, как дымкой печали затуманивались его ястребиные очи.

– Видно и у него горе-злосчастье на душе есть, видно и его гнетет што-то! – решал мальчик, участливым взглядом лаская Ермака.

Сегодня, однако, на Строгановском пиру весел атаман. Сбросил алый кафтан с могучих плеч и, оставшись в одной, шитой шемаханскими шелками с жемчужными запонами, белоснежной сорочке, прихлебывая из серебряной чарки вино, слушает, что говорит ему хозяин.

– Ты мне перво-наперво от нас мурзу Бегбелия отвадь... Он со своими вогуличами да остяками покоя не дает моим поселкам... А опосля на татарские улусы [деревни] не худо бы пойти, новым ясаком обложить нечисть!

– говорит раскрасневшийся от усердного потчевания гостей Семен Аникиевич.

– Ладно, хозяин, и улусы к ясаку приведем, да и самого Бегбелия на аркане тебе притащим... Небось, хитрости тут нет никакой. Видал, небось, как от нас югра лататы задавала... И с Бегбелкой ихним тож справимся! – засмеялся Ермак.

– И то, правда твоя, Василь Тимофеич, – согласил-

ся Строганов. – Молодцы вы, што и говорить. По гроб жизни буду тебя благодарить с твоей ратью... Небось, и на самого Кучумку не побоятся пойти они...

– И на Кучумку пойдут, дай срок, пущай только покажется к нам сюда хан Казацкий (кайсацкий), царевич Махмет-Кул, што ли, – мы его разуважим. Верно ль говорю я? – блеснув взорами произнес Ермак.

– Верно! Верно! Правда твоя, атаман-батяка! – отозвались голоса сидевших за столом есаулов.

– Верно! – помимо воли вырвалось звонким тенором и из груди Алеши.

Этот звонкий детский голос заставил обернуться Ермака в сторону мальчика.

Быстрым ястребиным взором окинул атаман Алешу. В своем голубом, шитом золотом кафтане, подарке Мещеряка, юный князек был чудо хорош собой. Его синие глаза так и искрились, восхищенным взором впиваясь в лицо атамана. Острый взгляд последнего в свою очередь так и вонзился в него. Казалось, этот взгляд проник в самую душу Алеши. А он, словно зачарованный, не сводил глаз с Ермака.

Пытливые глаза казачьего батьки-атамана вдруг неожиданно смягчились, засияли лаской.

– Подрастает соколенок... Крылья никак чует... Слышь, Мещеря, отдай мне парнишку твоего... Я его лихим казаком сделаю. Хошь ко мне, князенька, а? – ласково кинул Алеше Ермак.

Что— то, словно птица, затрепетало в груди мальчика. Какая-то жгучая радость после стольких печалей и мук вошла ему в сердце. Еще неудержимее потянуло его к этому мощному человеку, распорядившемуся столькими жизнями людей.

— Хочу! — хотелось без удержу крикнуть в голос Алеше. Он уже открыл было рот и... неожиданно встретил на себе затуманенные очи Мещеряка.

— А как же я, князенька? Аль меня кинешь? — тихо шепнули губы Матвея.

— Не кину! В жизнь не кину тебя! Ты мне ровно братец любимый! — тихо, но горячо и пылко вырвалось из груди мальчика. — А только... только вот што, Матюша, — зашептал он, тут же ближе придвигаясь к своему другу. — Что, ежели попросить нам атамана к себе обоих нас взять? — весь вспыхнув, как маков цвет, заключил княжич Алеша.

— Ладно, князек! Возьму к себе обоих! Оба у меня вроде как бы оружничьими будете... Согласны? Што ль? — ласково обдавая своим искрометным взором Мещеряка и Алешу, спросил Ермак.

— Согласны! Вестимо, согласны! — отвечал за обоих Матвей, в то время, как юный князек только сверкнул радостно заблестевшими глазенками.

— Слушай, паря, — уже серьезно проговорил Ермак, снова обратившись к Алеше, — тебе на пиру с нами молодцами бражничать как быдто не пристало. Млад ты

годами для того, и от медов сыченых, не токмо што от фряжских вин, голова у тебя кругом пойдет. Видал я в оконце, как на лужайке девки красные молодую хозяйку веселят. Може дозволит тебе Семен Аникич в горелки с ими побегать да хороводы поводить? А? Дозволишь што ль, хозяин-светушка?

– обратившись к Строганову, попросил Ермак.

– Пущай идет. Ему, дитяти, куды веселее побегать, нежели с нами в душной горнице пировать, – ласково произнес тот, погладив кудрявую голову Алеши. – Ступай, паренек!... Очи, што звезды! Взор чистый, правдивый... Дорого бы я дал, чтоб рану его сердешную залечить... Дорого бы дал, чтобы не случилось того, отчего осиротел в конец мальчонок этот, – задумчиво произнес Ермак, глядя в след Алеше, пока статная, красивая фигурка мальчика не скрылась за дверью. – Не терплю я боярского отродья, ни высоких бар, а этот князек-сиротинка, помимо воли, так в душу и лезет со своим ясным лицом пригожим да с очами синими, смелыми, – добавил он тихо и тотчас же, обратившись ко всем пирующим, весело крикнул: – А ну-ка, ребятушки, споем молодецкую! Потешим хозяев тароватых за угощение обильное! Нашу любимую споем, молодцы. Мещеря у нас запевалой по обычности будет... Зачинай соловьем, друже, а мы подхватим тебе.

Услышав последние слова атамана выпрямился Матвей, потрянул кудрями, молодецки расправил грудь и,

Обведя круг пирующих загоревшимся взором, начал низким и сильным баритоном всем пирующим хорошо знакомую песню:

Атаман говорил донским казакам,
По имени Ермак Тимофеевич:
А вы, гой еси, братцы, атаманы казачие
Не корыстна у нас шутка зашучена
И как нам за то будет ответствовать?
В Астрахани – жить нельзя,
На Волге жить – ворами слыть,
На Яик идти – переход велик,
В Казань идти – Грозен царь стоит,
Грозный царь, государь Иван Васильевич;
В Москву идти – перехватанным быть,
По разным городам разосланным,
По темным тюрьмам рассаженным,
Пойдемте мы в жилья к Строгановым,
К тому Семену свету Аникиевичу...

Хорошо запевал Мещеря, хорошо пели казаки, подхватившие из соседних горниц знакомый припев.

В такт песни звенели серебряные чарки и кубки, наполненные искрометным вином.

Строгановы, дядя и племянники, низко кланялись, благодаря за песню. Пир с каждой минутой делался все шумней и шумней...

– Ишь, распелись!... Гляди, до утра протянется пир-

ное столованье! Я уж дважды туда сбегала. Из оконца хорошо видать-то и всех разбойников, и атамана ихнего... – так говорила веселая Агаша, попрыгунья и затейница, рассказывая сгруппировавшимся вокруг качелей девушкам как хорошо разглядела она пировавшую вольницу.

– А у самого-то, у атамана, значит, – захлебываясь и воодушевляясь говорила шалунья, – глаза, што твои уголья, так пламя и мечут, так и мечут...

– Ой, страшно, девоньки! Небось, не единожды руку в человеческой крови омыл! – трусливо сжимаясь прошептала Домаша.

– Тссс! Нишкни, глупая! – прикрикнула на нее Танюша, – нешто можно о том говорить! Коли услышит дядя – беда! Гляди-тка, с честью какою крестненький его принимает!... Ровно боярина-князя, ни дать, ни взять царского посла.

– А все ж крови на ем много! – заметила Машенька, и глаза ее пугливо покосились в сторону хором, откуда неслись песни и крики.

– Крови? А на ком ее нет? – запальчиво подхватила Таня. – Вона на Москве, бают, рекой льется она... И не от руки разбойничьей, а от царевой, прости, Господи, руки. Бают люди, все боле да боле невинной там крови льется! А он, атаман этот, зря не зарезал еще никого... Бают люди, на богачей, бояр да воевод налетят они, бывало, всей ватагой и откупа спросят: коли откупятся

данью, значит проезжай дале, а нет, – не погневись. Мне дядя сказывал! – оживленно заключила свою речь девушка.

– А все же разбойник он! – не согласилась Машенька.

– Эх, заладила сорока одно: разбойник да разбойник... Небось, кабы не разбойник этот, быть бы нам в полону у нехристей! – блестя глазами горячо воскликнула юная хозяйка.

– Верно твое слово, боярышня! Быть бы всем вам в югорском плену! – послышался чей-то звонкий голос из-за куста орешника, и стройная фигура Алеши Оболенского выскочила на садовую лужайку, посреди которой приютилась огромная качель.

– Ай! Чужой! – не своим голосом взвизгнули девушки и стайей испуганных птиц кинулись врассыпную.

Только две из них остались стоять на месте, как ни в чем не бывало. То были голубоглазая хозяйка Сольвычегодска и черненькая Агаша, ее ближняя сенная девушка.

– Стойте, куды вы, глупые! Паренька ин за волка приняли! – насмешливо послала последняя им вдогонку. – Ишь, страшилище нашли! – хохотала она, – неча сказать! Уж волк-то больно пригожий да ладный вышел, – острила девушка.

Действительно, в нарядном красивом мальчике не было ничего страшного. Напротив, позлащенный про-

щальными лучами заходящего солнца, в своем голубом, затканном дорогим шитьем кафтане, он красиво выделялся на общем фоне зелени садовых чащ. Быстрыми шагами приблизился он к Тане и, взяв ее за руку, произнес ласково и тепло:

– Спасибо тебе, боярышня, на добром слове да на заступе твоей.

– Не боярышня я, а дочь купецкая, – смущенно проговорила девушка. – Татьяной меня звать, а то и Таней... А ты тот молодчик-князек, коего вольница у себя в стану приютила? – уже бойко спрашивала его Танюша.

– Он самый и есть. Алексеем меня зовут. А за атамана в другоряд тебе спасибо. Не душегуб он, не разбойник, а богатырь, казак вольный, вот он кто, – горячо произнес Алеша.

– Не разбойник? Ан, тебя ограбил, с подъесаулами своими дядьку твоего порешили, вон челядь што про него сказывала, про атамана твоего! – необдуманно и резко сорвалось с уст Агаши.

В следующую же минуту девушка раскаялась в своих словах. Белее снега стало лицо княжича. Глаза потемнели, губы дрогнули.

– Не атаман то, а Никита Пан разбойник, – глухо проронил Алеша. – А атамана да Мещеряка Матюшу ты не тронь, слышь, не тронь! – произнес он, сдвинув свои черные брови.

– Ишь, подумаешь, Бовы какие королевичи, што и тронуть их не моги! – рассмеялась Агаша и вдруг притихла, взглянув случайно в лицо своего собеседника. Так печально, так грустно было это пригожее лицо, что жалость невольно защипнула за сердце бойкую девушку.

– Прости, княжич, на слове вольном. Сам ведаешь, слово не воробей – вылетит, не поймаешь. Прости, што о мертвом помянула, и не серчай, – робко произнесла она.

– А вы, девоньки, чего притихли разом и ты, Татьяна Григорьевна, тож!

– разом оживляясь и входя в свой обычно веселый тон звонко подхватила Агаша. – Давайте, што ль, гостеньку дорого веселить. В прятки поиграем, што ли? Ишь, сад-то у нас как разросся. Благодать! Хорониться есть где! Места много!

– Вот што ладно, то ладно! – обрадовалась Танюша, – потешим князеньку. Он запечалился што-то, – с ласковым сочувствием произнесла она, не спуская с лица Алеши своего голубого взора.

Милый голосок, прелестное, свежее личико и ясные, голубые глазки девушки разом расположили в свою пользу сироту-князька.

«Какая добрая она! Все одно, што Матюша!» – вихрем пронеслось в его мыслях и, поборов налетевшую на него снова смертельную тоску по дядьке, он сделал

над собой усилие и почти спокойно произнес:

– В прятки – так в прятки! Во што хотите играть стану.

– А я искать буду! – тотчас же вызвалась бойкая Агаша. – Ну, девоньки, врассыпную! Раз! Два! Три!

Не успела закончить своей фразы девушка, как вся толпа, с визгом и хохотом, кинулась прятаться за деревья и кусты.

Кинулся прятаться за другими и Алеша. Быстрый и ловкий мальчик оказался проворнее всех. Пока девушки успели схорониться в кустах, он добежал до небольшого здания, притаившегося в глуши сада, тесно оцепленного боярышником и цепким колючим шиповником. Оно находилось совсем в стороне от прочих жилых строений и от садовой площадки, где играла молодежь, и примыкало к стене острога одной своей стороной. Тут же, подле здания, была прорублена крошечная калитка, почти не заметная для глаза. Из нее прямо шел вход в рощицу, отделявшую с этой стороны острог от прилегавшей к нему степи. Здесь было тихо и уютно. Заходящее солнце ударяло в маленькие окна домика и всевозможными цветами радуги пестрило оконную слюду. Какая-то красногрудая пташка, усевшись на ветке, тихо чирикала, склонив набок голову, и с доверием поглядывала на забежавшего в ее царство мальчика.

Это царство, как нельзя более, пришлось по душе Алеше. Дикий, запущенный уголок почему-то напо-

мнил ему крохотный дворик в Московском домишке, где около восьми лет кряду укрывал его от опричины покойный Терентьич. Так же было и там зелено и глухо, так же чирикали пташки, так же заходящее солнце румянило деревья и кусты. Только на душе Алеши было далеко не так. Хоть и осиротевший тогда после смерти деда, мальчик чувствовал подле себя заботливо любящего дядьку-пестуна. А теперь?!...

Покойный Терентьич, как живой, встал перед глазами Алеши. Мучительной тоскою сжалось сердце несчастного, одинокого полуюноши, полуробенка.

– Князьенька, где ты? – откуда-то издалека глухо донеслось до его ушей.

Он не ответил. Его уже не тянуло к игре и развлеченью. Даже голубоглазая девушка, показавшаяся ему в первую же минуту такой милой и родной, не привлекла к себе.

– Князьенька, где ты? – опять раздался тоненький голосок.

Он не откликнулся ни единым звуком.

Молодые, звонкие девичьи голоса постепенно затихали в отдалении. Наконец, наступила полная тишина. Только издалека, со стороны главных хором, доносились обрывки смеха и песен пирующих. Заметно потемнело в саду. Сумерки надвинулись, кусты стали принимать понемногу прихотливо-фантастические очертания. Над головой Алеши выплыл месяц. Голубо-

ватым, причудливым светом залил он траву и кусты и самый домик в углу, получивший какой-то волшебный, таинственный вид. Еще печальнее стало на душе Алеши. Если днем он забывался немного от своего горя, то ночью ему становилось вдвое тяжелей. Как живой стоял в такие часы в его воображении Терентьич с петлей на шее, иссиня бледный, со скорбным старческим лицом.

Вот он и сейчас стоит перед ним снова... Глаза полны жуткого ужаса, лицо полно тоски... Дрожащие, слабые руки протянуты к нему, Алеше...

Мальчик не выдержал больше и с тихим стоном упал на траву.

Неожиданный ответный стон послышался где-то близко, близко, почти рядом с ним. Он вздрогнул, прислушался, насторожился. Тихо, тихо кругом. Только глухо звучат голоса со стороны хором. Ничего нет. Не слышно ничего, кроме них. Вдруг новый стон еще внятнее и определеннее прозвучал над его ухом.

В одну секунду Алеша был на ногах. Теперь он слышал ясно. Стон выходил из крошечного оконца домика. Мальчик кинулся к окну и, стараясь рассмотреть внутренность избышки, прильнул было к холодной слюде и разом отпрянул назад, вскрикнув от неожиданности.

С внутренней стороны домика появилось чье-то широкое лицо, все облитое серебряным светом месяца, тускло белевшее через слюду. Что-то неживое и

странное было в этом скуластом и плоском лице. Темные глаза крошечными точками мерцали сквозь слюду оконца.

– Господи! Да што ж это? Аль попритчилось мне? – произнес мальчик, невольно поддаваясь охватившему его впечатлению суеверного ужаса.

Но, очевидно, за слюдовым оконцем, в которое едва могла пролезть детская голова, находился живой человек, нуждающийся в помощи его, Алеши.

Сердобольный и отзывчивый по природе, он готов был помочь каждому страдающему существу. Руководимый этим побуждением юный князек снова приблизился к оконцу.

– Кто ты? Что с тобою? Почему ты стонешь? – громко спросил он странное, широколицее существо.

Из– за тусклой слюды послышался глухой, на ломаном русском языке, ответ:

– Сам светлый Тохтен-Тонг [крылатый бог или богатырь, отличающийся мудростью] посылает тебя мне на помощь... Кто ты, юноша, не знаю я, но видно пришел усладить мои последние мгновения...

– Ты разве умираешь?... Кто ты?... Открой оконце, чтобы я мог видеть тебя, – не без волнения произнес Алеша.

– Я не могу сделать этого... Мои руки закованы... Ноги тоже... Если хочешь видеть меня, – отомкни запор... Дверь не на замке... И войди ко мне! – снова глу-

хо прозвучал таинственный голос.

Алеша стрелой метнулся к крошечному рундуку [крыльцо], приходившемуся почти в уровень с землей, и, отодвинув не без усилия тяжелый запор с низенькой двери, наклонив голову, вошел в избу. При млечном сиянии месяца он хорошо увидел небольшую, коренастую фигурку в одежде из оленьей шкуры с бисерными и металлическими украшениями, ярко поблескивавшими при свете луны.

Фигурка сделал движение навстречу Алеше, причем цепи на ногах ее жалобно зазвенели.

– Кто ты и отколи? Пошто ты заперта здесь? Кто заковал тебя? – произнес мальчик.

– О, я наказана по своей вине, юноша! – произнесло странное существо.

– Я рабыня, полонянка здешнего господина моего... Я не угодила ему и меня заковали... Ненадолго, правда... Завтра взойдет солнце и с меня снимут оковы... Но я нынче так страдаю, так, что не дожить мне, Алызге, до утра, до восхода солнца, – упавшим голосом заключила она.

– Алызга? Тебя зовут Алызга? Да? – спросил Алеша. – Кто же ты такая и почему тебя здесь запрятали? На этот вопрос Алызга отвечала только стоном.

– Ты больна? – участливо спросил Алеша.

– Я помираю, молодой господин.

Голос Алызги звучал искренно. Она не лгала, она

действительно почти что умирала от охватившей ее душевной муки. Завтра с нее должны были снять цепи, но с тем, чтобы еще крепче приковать ее здесь другим способом. Завтра ее выведут отсюда и заставят поклясться вторично над лапой убитого медведя, чтобы она и не думала о бегстве. А потом окрестят ее и отошлют в дар Московской царице вместе с разными мехами и штуками парчи. И тогда прости навеки, родная страна, отец, брат и царевна Ханджар, ее любимая ханша.

– Я должна умереть молодой господин! – еще глуше простонала дикарка.

– Да нешто не смогу я пособить тебе чем? – жалостно, горячо произнес Алеша, охваченный еще большим состраданием к необычайному существу, какого ему еще никогда не доводилось видеть в его жизни.

Алызга так и впилась в его лицо глазами. Участливый тон, доброе, юное лицо навели ее на быструю, счастливую мысль. Она вспыхнула даже и залилась румянцем, которого не видно было при свете луны. Быстро овладев собою она проговорила:

– Ты не сможешь спасти меня, красавец... Нет... Но успокоить мою душу перед тем, как сойдет она в далекий Хала-Турм, ты сможешь, юноша... И великие духи помогут тебе... Наш кочевой народ привык молиться вольно, на свободе, в священных рощах [остяки обоготворяют природу; у них есть священные рощи и дубра-

вы, где, по их верованию, присутствуют божества. Там они молятся], наполненных светлыми духами лесов – менгами. И если бы Алызге удалось помолиться сейчас, молодой господин, то... Алызга умерла бы с радостью, благословляя имя доброго юноши, – тихо, чуть слышно, пролепетала она.

– Ты хочешь, чтобы я ослобонил тебя? – неуверенно спросил Алеша.

– Какая свобода! Алызга не думает о ней! – горько усмехнулась молодая остячка. – Алызга все равно умрет на заре... Ей не надо больше свободы. Алызга в цепях. Разве можно быть свободной с цепями на ногах и на руках, молодой господин?

– Твоя правда, – произнес задумчиво Алеша, которому становилось все более и более жаль несчастную пленницу.

Он не мог узнать за свое короткое пребывание здесь о доброте и отношении к холопам Сольвычегодских владельцев и в душе негодовал на Семена Аникиевича, решившегося заковать в цепи эту, казалось, ни в чем не повинную дикарку. Подумав немного, он положил руку на плечо Алызге и тихо спросил:

– Коли ты посулишь мне не убежать отседа, я сведу тебя помолиться... А только путей здешних не ведаю я...

– Путь укажу тебе я, господин мой, – с плохо скрываемой радостью проговорила та.

– В таком разе ступай замною, – твердо прозвучал в тишине его звонкий, молодой голос.

Слабо передвигая закованные ноги Алызга медленно двинулась, позвякивая своими цепями. Эти цепи Семен Аникиевич приказал надеть на нее из опасения возможности побега дикарки. Для именитых владельцев Сольвычегодска побег Алызги представлялся опасным. Убежав Алызга привела бы сюда несметные орды своих одноплеменников, селившихся по Белой реке, в глуби Сибири. Она указала бы заведомо известные ей слабо защищенные места поселенцев и тогда, кто знает, они бы могли принести немало зла поселкам и городкам. Вот почему Строганов и решил отправить свою пленницу в Москву, в дар царице вместе с другими ценными подарками: мехами куниц и соболей, о чем Алызга и успела уже провести.

Месяц освещал путь Алызге и Алеше. Закованная дикарка подвигалась очень медленно вперед. Кандалы по-прежнему тихо, монотонно позвякивали при каждом шаге остячки. Луна заглядывала ей в широкое, бледное лицо.

Добравшись до калитки к стене она знаком указала своему спутнику открыть ее. Переступив порог ее она очутилась в небольшой роще. С трудом пройдя шагов сто, тяжело переводя дух, Алызга остановилась. Все было тихо и таинственно кругом. Невысокие кедры и кусты разрослись здесь на славу, – настоящая чаща,

как в лесу. Где-то близко, близко шумела река.

– Тяжело... невоготу боле... Кандалы не пускают, – произнесла, внезапно останавливаясь, как бы в бессилии, Алызга, прислоняясь к стволу развесистого дубка. – Здесь дозвожь мне остаться... помолиться дозвожь... а ты отойди, господин, малость в сторону... Светлые тени не приблизятся, когда ты будешь здесь. Могучий Урт-Игэ не услышит меня, раз ты рядом будешь стоять...

– Ладно, отойду в сторонку, – согласился Алеша и, зайдя за дерево, стал ждать.

Лишь только его стройная, рослая фигура скрылась за стволом, Алызга беспокойно оглянулась и почти одновременно дикий, пронзительный крик ночной птицы пронизал чащу. Откуда-то поблизости ответили таким же криком. Затрещали сучья, зашуршала трава и, сильными руками раздвигая кусты, молодой остяк очутился в два прыжка подле женщины.

– Имзегга, – с бешеным криком восторга вскричала она, – я знала, что ты здесь!

– Я ждал тебя здесь три ночи, – отвечал остяк. – Великий Ун-Тонг открыл мне, что ты придешь... Спешим отсюда, Алызга... С той минуты, как тебя схватили у ворот острога, я не знал покоя и сна... Я был так близко от тебя и ничем не мог помочь сестре моей... С той страшной ночи наши батыри стояли на страже в этой роще и я с ними... Ты почуять должна была на-

шу близость, сестра... Сам великий Сорнэ-Туром благословил твой приход, Алызга... Мой конь ждет наготове в роще... Мои батыри тоже... На первом же привале я сшибу с тебя твои кандалы, а теперь спешим...

Но она не могла идти. Цепи мешали ей сделать это.

– О, грозный Урт-Игэ! Покарай ее врагов! – вскричал молодой дикарь и, быстро наклонившись над сестрою, поднял легко, как перышко, ее коренастую фигуру и понес.

Легкий крик раздался за их плечами. Имзегга быстро обернулся. Перед ним стоял красивый мальчик-юноша, весь облитый лунным сиянием.

– Куда?! Стойте!... Ты обманула меня!... Назад вертайся!... Зачем обманула меня! – весь дрожа от негодования ронял он побледневшими губами, вцепляясь руками в меховую юбку Алызги.

Ни страха, ни боязни не было в нем, хотя Имзегга, весь зашитый в кожаную добаву [остяцкая одежда], казался настоящим великаном по сравнению с ним, четырнадцатилетним отроком, почти ребенком. Заметив юношу, Имзегга гневно топнул ногою и одной рукой придерживая Алызгу, другою выхватил из-за пояса нож, зловеще блеснувший при свете месяца.

– Не тронь его! – крикнула с мольбою Алызга. – Не тронь его, брат!... Он подарил мне свободу! Кабы не он, не юноша этот, не видать тебе Алызги никогда, никогда!

С глухим ропотом молодой остяк опустил нож и с силой оттолкнул от себя Алешу.

Удар был хорошо рассчитан. Мальчик зашатался и, тяжело ударившись головою о ствол дуба, растянулся замертво в высокой траве.

Имзегга с тем же резким криком ночной птицы рванулся вперед, в чащу, держа сестру на руках. Конское ржание было ему ответом.

Минут через пять он и Алызга уже стояли, окруженные десятком остяцких воинов, вернее таких же зашитых в олени шкуры дикарей, вооруженных луками, стрелами и ножами. Они громко приветствовали брата и сестру. В один миг Имзегга вскочил на коня, посадил Алызгу в седло перед собою и, приказав своим людям спешить за ним насколько возможно, взмахнул нагайкой.

Быстроногий киргизский скакун метнулся с места и понесся сразу во весь опор. Сердце Алызги замерло от восторга. Каких-нибудь два новолуния только, а может и меньше даже, и она увидит далекий Искер и царевну Ханджар, свою любимую госпожу и подругу.

– Я умчу тебя в Назым, к отцу, Алызга! – произнес задыхнувшийся от быстрой скачки молодой остяк.

Она отрицательно покачала головою.

– Нет! Нет, не в Назым! – произнесла она глубоко и серьезно, – наш отец, верный данник и слуга хана Кучума, подарил меня ханше пятнадцать лет назад и

сказал: «служи верой и правдой маленькой царевне, Алызга, и тем прославишь седины отца». Там стало быть теперь мое место, Имзегга... Умчи же меня скорее в Великий Юрт, к могучему хану Кучуму, к моей смелой и гордой царевне Ханджар...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. ВОЛЬНИЦА БУРЛИТ. – СМЕЛЫЕ МЕЧТЫ. – КРУГ СНОВА

Прошло два года.

Стояла ночь. Студеный августовский ночной холодок обвеял природу. Было темно в степи, в лесах и в поселках, прилегающих к Строгановскому жилью. Святая сонная тишь царила за высокими стенами. Все спало кругом. Только из села, занимаемого казаками, неслись звуки песен и балалаек, хохот и крики, звон чарок и нетрезвые громкие голоса. Во всех почти избах поселка шла веселая гульба.

Это пиоровала в досужее время грозная Ермаковская дружина, поселившаяся в Строгановских поселках два года тому назад.

Почти во всех избах поселка горели огни. Изю всех окон неслись пьяные голоса пиоровавших. Только в крайней избе, ближе всех стоявшей к острогу, тускло горела одинокая лучина. Там было тихо и спокойно. В небольшой горенке, за столом, покрытым белой скатертью, на невысоком столыце [табурет] сидел человек. Его взгляд, рассеянный и печальный, скользил по

скромной обстановке избы.

Этот человек был Ермак.

Печальный и хмурый сидел он в своей горнице. Наперекор всем приглашениям Семена Аникиевича устроиться по-царски в его роскошных хоромах Ермак отказался наотрез.

– Не боярин я, али князь какой, а казак военный. Не пристало мне на перинах лебяжьих нежиться. Да и с ребятами моими неразлучен я. В избах живут мои казаки, стало и атаману с ими жить, – говорил он одно и то же на все предложения именитого купца.

Пуще света и солнца любил свою вольницу Ермак. И вот теперь эта вольница допекает его впервые. Пьянством, праздною жизнью да гульбой докучают ему казаки. Который месяц идут пиры в казацком стане. Днями спят мертвецки, не помышляя даже пахать землю, которою щедро наделил их всех тароватый Семен Аникиевич. Днем спячка да безделье, а ночью бражничанье от зари до зари.

Но Ермак не обвиняет свою дружину. Безделье хоть кого истомит, свихнет с правильного пути. А делать-то што? Вогуличи, остяки да татары с тех пор, как поселились в Пермском краю казаки, нос не кажут к Сольвычегодску, а когда сами казаки их улусы воевать ходили, все оседлые югры разом покорились и аккуратно стали выплачивать свой ясак. Тишина и покой воцарились в Строгановских владениях. Далек по окрестно-

стям ходила удалая дружина, приводя к покорности дикарей. Оседлые покорялись, кочевые уходили в степь подальше. Правда, с месяц тому назад снова нечаянно напал на поселки мурза Бегбелий с 680-ю вогуличами, но был в пух и прах разбит Ермаковской дружиной. Неосторожный князек-дикарь и сам поплатился за это своей свободой: в цепях, закованный накрепко, он был отослан в Москву. И снова спокойствие, снова затишье; только бессменные пиры да бражничанье нарушают их. Пирь, песни, ночные столования, крики.

– Избаловались они, – прислушиваясь к этим крикам, мыслил Ермак. – Кто не избалуется? Не Волга здесь, не Дон, где дело не стояло за работой... Но какую работой? Какою?!... – тут же полымем вспыхивала в его мозгу быстрая мысль.

И он вздрогнул невольно всем своим богатырским телом и зажмурил ястребиные очи, как бы опасаясь увидеть то, что лезло ему теперь на мысли.

Странно и сильно переменялся за это последнее время Ермак.

Тихая, бездеятельная жизнь «на покое» доставляла ему долгие часы для дум и размышлений. Там, на Волге, за разбоями да под страхом быть схваченным, думать было недосуг. Зато теперь все его прошлое выплывало перед ним, как на ладони. И жуть брала Ермака от этого прошлого. Да и места эти Пермские, глухие, подсказывали ему в тишине темных ночей нера-

достные думы и воспоминания. Когда-то, мальчиком Ермак жил в Перми. Он был простого, не знатного рода. Его дед, Афанасий Григорьевич Аленин, посадский Суздальский человек, бедняк, почти нищий, принужден был искать пропитание извозничанием и с этой целью ушел во Владимир. Муромские разбойники, хозяйничавшие в окрестностях, свели знакомство с Алениным и прельстили его своим кажущимся довольством. Он возил, укрывал их от правительства и вскоре вместе с ними попал в тюрьму. Оттуда ему удалось убежать вместе с женою и двумя сыновьями, Родионом и Тимофеем, в Юрьевский Павольский уезд, где он вскоре и умер, оставив в полной нищете семью. Дети его переехали «от скудости», как говорили тогда, на реку Чусовую, в Строгановские вотчины. У одного из братьев, Тимофея, здесь родилось трое сыновей. Младший, Василий, оказался особенно умным, бойким, смелым мальчиком. Он вырос, окреп и поступил в бурлаки – тянуть барки по Волге и Каме. Бурлацкая артель выбрала его кашеваром и тогда же прозвали его товарищи Ермаком. Это прозвище так и осталось за ним на всю жизнь. Кровь дедушки, любителя вольной жизни, перелилась и в жилы Василия. Его потянуло к полной превратных случайностей, бесшабашной казачьей удали, и он ушел на Дон, к вольным казакам, где и был выбран ими старшиною Кагалинской станицы. Однако, недолго охранял порученный ему рубеж от Астрахани

до Дона молодой Ермак. Иного дела жаждала его бродячая, беспокойная натура. И, кликнув клич, он набрал собственную удалую дружину и с нею начал хозяйничать на широкой Волге-реке...

Вот вся эта сравнительно недолгая, но богатая событиями, прошлая жизнь и встала теперь перед глазами атамана вольных дружин. Близость к родным местам, где он бегал и играл невинным ребенком, невольно навела на чистые, светлые мысли Ермака. А за ними, за этими чистыми мыслями-воспоминаниями, следом явилось и раскаяние, и муки совести. Чем он был доселе?... Разбойник, душегуб, убийца, умывавший свои руки по локоть в крови... Правда, не невинных бедняков он убивал, а людей, которые, по его мнению, заслуживали этой кары. Да разве он смел быть их судьей и вершителем их жизни, он, такой же грешный, как и они, и может быть даже хуже во сто крат их всех? Он убивал и резал, и жег без сожаления. И что же теперь? Есть у него почести, слава?... Да, но слава разбойника, казака-вора, приговоренного к виселице, грабителя, душегуба. Он даже не смеет вернуться на родную Волгу из боязни попасться в руки царских воевод. Его поймут, закуют и привезут в Москву для лютой казни. Но не казни он боится и не пытки, предшествующей казни позорной, а славушки плохой своей не хочет Ермак. Не хочет он, чтобы лихом помянул его тот народ, которого он любит, из которого вышел сам

он, могучий атаман Поволжья. Его казнят, – он сгинет, а в народе долго будет жить память о его грабежах и разбоях. Нет, не хочет он этого, не хочет. Ярким, могучим подвигом хотелось бы покрыть ему свое позорное прошлое. О том подвиге он мечтает давно. Не раз приходила ему в голову отчаянная мысль, удалая затея, за которую низко поклонится ему, заведомому душегубу, и царь, и народ. Эта мысль жжет голову, мозг атаману, бросает полымя в его красивое лицо, заставляет сердце его то сжиматься в тисках, то биться сильно, сильно... А ночь идет... Идет, как смуглая женщина под черным покрывалом...

Лучина нагорела и потухла с треском. В окна забрезжил рассвет. И вот ушла тихой поступью, скрылась незримо смуглая красавица, прикамская ночь. Заалело небо. Крики пирующих казаков затихли в станице.

– Умаялись... И то сказать, больно работы много, – с какою-то несвойственной ему презрительною злобою произнес Ермак, – ну, да ладно, поднесу я вам подарок ноне, ребятушки, – шепнул он, и загадочно блеснули его ястребиные очи.

В этот миг солнце прорезало алую даль, брызнуло, затрепетало, осветило и станицу, и степь, и виднеющиеся вдалеке, точно дымкой сизого тумана одетые, Уральские горы. К ним приковались острые взоры Ермака. Он вытянулся во весь рост своей могучей, богатырской фигуры и произнес, простирая руку к окну,

странным пророческим голосом жреца:

– Твоим будет все это, народ православный!... От моря до моря, всю югру принесу тебе в дар, святая родина, тебе и царю! Завоюю югорские юрты, сорву венец с Кучума и сложу его у ног могучего русского царя! – заключил он, загораясь своим дерзким желанием. – А теперь, теперь туда, к Строганову в хоромы. Без помощи его, батюшки, не видать нам Югорской земли.

И, словно безумный, захватив шапку опрометью кинулся из избы.

О чем говорили, запершись, в это раннее августовское утро Семен Аникиевич с атаманом Ермаком, осталось тайной для домашних, – только выйдя из горницы оба они так и сияли, точно в Светлый праздник.

– Век тебе не забуду порады такой, – взволнованно говорил Строганов, провожая до крыльца гостя, – за такие речи, Василий Тимофеевич, много грехов тебе отпустит Господь! – дрогнувшим голосом заключил свою речь именитый купец и на глазах всей дворни горячо обнял и трижды облобызал Ермака.

– А ты нешто поп-батяка, што грехи отпущать ладишь? – отшутился Ермак, с трудом удерживая счастливую улыбку. – Только помни, сударь Семен Аникиевич, уговор наш предоставить нам всего в аккурате: и зелья, и харчей, и пушек да самопалов, всего штобы вдоволь. Не то не видать нам югры, как своих ушей!

– Всего, всего вдоволь будет: и стругов дам, и люდეи, и зелья, и свинцу, одежи да снеди, да еще человек с триста наберу из пленных ливонцев да немцев, што живут по посадам, а с ими татарву мирную из наших ясачников снаряжу. Глядишь, с таким-то войском и не зазорно идти на Кучума.

– Мне своей вольницы буде. С таким молодцами и подмоги не надоть бы, – не без гордости произнес, усмехнувшись, Ермак.

– Ладно! Бесерменов все ж прихвати... Ими и поселять завоеванные улусы станешь, – тем же радостным голосом возразил Строганов и вдруг осекся.

– Ты што? – неожиданно вскинул он на Ермака глазами.

Но тот не отвечая ему быстро сошел с крыльца, не отводя глаз с дороги, по которой спешил из станицы, чуть не бегом, есаул Кольцо.

– Што тебе, Иваныч? Аль за мною? – не без тревоги в голосе спросил атаман.

Седоусый есаул запыхавшись очутился в десяти шагах от своего начальника.

– До тебя, Василий Тимофеич. С ребятами сладу нет – больно разбаловались. Всю ноченьку напролет бражничали. Мыслил к утру уймутся, ан еще пуще того озорничать стали. Песни спервоначалу орали, а сейчас палить стали из самопалов, поселенцев пужать. Я с подъесаулами, было, к ним вышел, уговаривать

их стал. Так куды ж тебе! И не чухают... А бабы поселенские да дети ревмя ревут – боятся пищалей-то... Мужья ругаться, а наши за бердыши было... За тобой поспешил. Уйми этих дьяволов, Христа ради, атаман-батька!

– С чего бы это? Тебя они всегда слушались, Иваныч, – недоумевающе пожал плечами атаман. – Што же говорят они? Што? Выкладывай, друже.

– Говорят, што на Волгу, вишь, вертать ладят. Не житье, бают, им здесь, ровно бабам на печи. Набражничались мы, говорят, без дела. На тебя ропщут за безделье, атаман.

– Дурни! – засмеялся беззлобно Ермак. – Ну, друже, приготовил я подарочек им не малый. Собери-ка круг скорейча, Иваныч. Весточку я таковскую им принес, што вся их брань, ровно птица, из башки вылетит. Знатным гостинчиком распотешу вас всех.

– Сказать не изволишь, атаман? – осведомился Кольцо.

Ермак прищурился, усмехнулся и, вперив глаза в далекие Уральские горы, произнес весело и спокойно:

– Сибирское царство воевать пойдем, вот што, Иваныч!

Глаза у Кольца расширились от изумления. Он даже в лице изменился от неожиданности, этот бывалый, пожилой есаул, вскормленный, вспоенный разбойничьими делами.

– На Сибирь мыслишь?... С горсточкой-то нашей на Кучумку самого? – после долгого молчанья произнес он, словно проснувшись.

– А то нет?... Што же, мои молодцы хана югорского не одолеют, што ли!... – задорно и смело блеснул глазами Ермак. – А за то, Иваныч, – после минутной паузы закончил он вдохновенно, – русский народ да государь-батюшка нам вины наши отпустят. Да и совесть, небось, глотать перестанет за те черные дела, что вершили ненароком... А татарвы бояться не след. Блудливы, што кошки, трусливы, што зайцы, Кучумкины народцы... Правду ль я говорю?

– Правду-то правду, а только штобы худа не было из того, атаман... Нас-то пять сотен без лишнего будет, а их тьма тьмуцая, ровно мошкарей над рекою в жаркий вечер...

– Хуже того, што ноне, не будет, Иваныч, – разом упавшим голосом произнес Ермак. – Небось, и у разбойников есть совесть. Небось, не от радости бражничают молодцы. Нешто им сладко жить так-то: с кровью на руках, с виселицами над головами да с совестью нечистой иной раз?... Нет, Иваныч, собирай-ка круг, сокол ты мой седой! Скажи стану, што атаман-де говорить с им будет! – уже повелительным тоном заключил свою речь Ермак.

Кольцо, не смея послушаться, направился к станице. На площади села царило смятение. Около сотни каза-

ков пели песни, стреляли из пищалей на воздух и всячески пугали мирных жителей поселка.

Женщины плакали, дети кричали. Мужчины тщетно пытались уговорить озорников. Ночное бражничание давало себя чувствовать. Буйные головы, отягощенные винными парами, плохо соображали свои поступки.

Но вот, подобно громовому раскату, пронесся зычный голос Кольца, прибежавшего на площадь:

– Круг! Атаман круг велит собрать, робята!

Одновременно с этим зазвенели гулкие удары била, приютившегося на середине площади поселка.

Пальба и шум прекратились точно по мановению волшебного жезла. Пьяные казаки словно разом протрезвились. Круг, по казацким обычаям, сзывался в исключительно важных случаях. Изо всех изб бежали, наскоро застегивая зипуны и кафтаны, казаки. Заспанные, еще не протрезвившиеся, лица выражали полное недоумение.

– Што?... Зачем круг?... Где атаман?... Зачем подняли спозаранку?... – слышались недовольные голоса.

– Пожди малость, придет батька-атаман – все изведаеть, – уклончиво отвечал Кольцо любопытным.

Ермак не заставил себя ждать.

К полному удивлению всей собравшейся на круг стаицы он пришел как на пир, как на праздник. Его бархатный кафтан сверкал золотом и камнями само-

цветными. Золотом же шитая, с алым верхом мурмолка дивно шла к его смуглому, красивому лицу. На золотой же опояске, усыпанной яхонтами, алмазами и рубинами, висел тесак в дорогих ножнах и длинная острая казацкая сабля. Вся фигура дышала особенным величавым спокойствием и торжеством.

– Штой-то с атаманом нашим?... Ишь вырядился, словно тебе в Светлый праздник! – с недоумением переговаривались между собою казаки.

Но вот прогремел сильный и могучий голос Ермака:

– Братцы-казаки! – произнес он сильно, появляясь в центре круга, – с радостною вестью пришел я ноне к вам. Дозволь речь смелую перед тобой держать, могучая казацкая вольница!

– Говори, атаман! Слушаем тебя завсегда охотно! – отозвалось вокруг Ермака дружным гулом.

– Спасибо, молодцы! Не долга речь моя будет. Слушайте! Видать больно мы обжились на готовых хлебах. Притупились шашки наши, подмокло зелье [порох], заржавели пищали. И лежим мы на печке да спим сладко, либо бражничаем да пируем. Да и то сказать: вина не наша в том. Югорцы притихли, сюды нейдут. Делать нам нечего. Вот от безделья и обленились мы. Только брагу тянем да хлеб жуем, аль на палатях нежимся, ровно дети да бабы. Аль забыли молодцы откеда мы соколами налетели? Аль запаматовали про гульбу нашу удалую? Аль не тянет более к пищали да сабле?

Так-то поди може и вольготнее жить, поживать, чужой хлеб жевать да озорничать под хмелем.

Голос Ермака зазвенел и оборвался. Ястребиные очи так и перебегали с одного лица на другое, так и селяли пламя насмешливых искр.

Смущенные стояли казаки, почесывая затылки, поникнув головами вокруг своего вождя. Истинная правда сквозила в каждом его слове, и они не могли отрицать этого. Невольное раскаяние закралось во все эти буйные головы и сердца.

Ермак, видя произведенное им впечатление на дружину, обвел еще раз глазами весь круг и подхватил со страстной мощью в голосе:

– Братцы, смелые удальцы поволжские! Буде нам нежиться на палатях да угощаться на славу. Пора и честь знать. Пойдем, разомнем косточки молодецкие. Не на разбой, не на стыдное дело зову вас, ребята. Довольно тех делов было поделано, хватит про нас. Небось, не одного из вас покаянная совесть гложет. Не к одному, поди, чай, невинная кровь вопиет. Загубили мы, хошь иных и ненароком, братцы, а все ж не мало и душенек невинных, христианских. Буде теперь! На иное зову я вас, други. Вишь, за Югорским поясом, словно царица пышная, разлеглась Югорская земля. Чего-чего в ей нет! И звери пушные в тайгах да урманах дремучих, и рыбы всякие в хрустальных реках, а в черной груди земли-кормилицы да в горах высоких руды

всякой пропасть. А владеет теми сокровищами, сами ведаете, Кучумка-салтан. И больно народцы его наших поселенцев тревожили еще при нас. Не давали, нехристи, строиться на земле Югорской, руду добывать, землю вспахивать. Так надумал я, братцы, одним ударом двух зайцев убить: повоевать ту землю Югорскую, и тем прибавить Руси родимой землицы, да угодий и богачеств всяких, чтобы наш народ православный спасибо сказал, да отпустил нам вины наши перед ним вольные и невольные... А еще, братцы, и царю-батюшке сослужить службу: ударить челом ему Кучумовым царством. И вместо топора да плахи великое прощенье нам будет за это от него.

Сказал и замолк на мгновенье Ермак. Только искры так и блещут, так и прожигают насквозь столпившихся вокруг него казаков.

Кажутся часами тягучими недолгие мгновения ожиданья.

Загудел круг. Точно ропот отдаленного приборя прокатился по станице. Зашумела вольница, как бурное, волнующееся море. Напрасно старался уловить речи и возгласы казаков атаман. Один гул только гудел и переливался с добрые четверть часа. И вот все стихло, — на минуту только, чтобы в следующее мгновение разразиться подобно громовому раскату, прокатившемуся и замершему далеко в степи:

— На Сибирь!... На Кучума!... Идем!... Согласны!...

– Заслужим царю-батюшке!... Сослужим русскому народу!...

– Все до единого охочи идти за тобою, батька-атаман!...

Ермак вспыхнул от счастья. Лицо его загорелось, взоры сверкнули горделивым огнем. Он поднял их к небу, снял шапку, с благоговением трижды осенил себя крестом.

– Спасибо, братцы!... Потешили вашего батьку-атамана!... – произнес он, и быстрые глаза его, с неизъяснимым в них выражением бесконечного счастья, обвели круг.

– Тебе спасибо, что надоумил такое, что с народом православным да с царем-батюшкой примирить нас ладишь, атаман! – слышались умиленные голоса недавних разбойников, теперь идущих на великий подвиг людей. И чуть ли не впервые тихо, бесшумно, без обычных криков и песен казаки покинули круг.

2. НЕПРЕДВИДЕННАЯ ВСТРЕЧА. – НОВЫЙ КАЗАК

Гордый, счастливый, довольный и радостный возвращался Василий Тимофеевич в свою атаманову избу.

Разбившись на кучки, казаки еще говорили и советовались в во всех углах станицы. Надежда близкого похода оживила всех. Ермак не ошибся в своих «ребятах», в своей удалой, смелой вольнице. Ни один казак из круга не заикнулся даже о том, как можно ничтожной, пятисотенной горсти людей идти в чуждую им дикую землю, кишмя кишашую вражьими воинственными племенами. Ни один даже не подумал о том.

– Эх-ма! – с силою произнес сам себе Ермак, – нешто нам, удалые головушки бесшабашные, отваги да храбрости занимать стать?...

И гордо поднималась красивая голова казацкого атамана, и с любовью обращались глаза назад к площади, где тихо и мирно беседуя расходились казаки.

– Благодарю тя, Господи, што дал мне радость в ребятах моих! – произнес Ермак, обращая умиленные взоры кверху.

И самое небо, синее и ясное, казалось, приветствовало его в этот день. Оно сияло с бесконечной лаской,

грея природу последним августовским теплом.

– Добрый знак... Ишь, ровно радуется заодно с нами солнышко, – произнес мысленно Ермак.

– Василь Тимофеич, пожди малость, – услышал он вдруг приятный, юношеский голос за своими плечами.

– Што тебе, Алешенька? – ласково кивнул Ермак, окидывая любующимся взором спешившего за ним юношу.

И было чем полюбоваться в существе молодого князя.

За эти два года Алеша Серебряный-Оболенский выровнялся и вырос, и похорошел на диво. Сильный и стройный, как молодой дубок, он, своей прекрасной, юношеской фигурой, быстрой, ловкой и подвижной, своим смелым, исполненным отваги лицом, казался старше своих лет, может быть вследствие пережитых в детстве страданий. Чудесно сверкали его глубокие, синие, немного печальные глаза. Юною мощью и затаенной силой дышала каждая черта юного князя. Легкий пушок пробивался на щеках и подбородке, а над смело очерченным ртом чуть темнели молодые усики.

– С каждым днем ты у нас пригожее да пригожее становишься, – произнес Ермак с отеческою нежностью, глядя на красавчика-юношу, – и как подумаю только, где такому-то молодцу мы невесту сыщем... Во всей Перми тебе, поди красой не найти под пару, – пошутил он, слегка ударив по плечу Алешу.

Но тот даже не улыбнулся на шутку. Его красивое лицо было бледно. Губы слегка дрожали. Ермак только сейчас заметил странное состояние своего любимца.

– Ой, да што ж это с тобой, Алеша-светик? Обидел тебя кто? – встревожась участливо спросил он юношу.

– Обидел и то, – чуть слышно, отвечал князь, до боли закусывая губы.

Его глаза потемнели, ноздри вздрагивали и трепетали, как у молодого, горячего степного конька.

– Кто смел обидеть? – мощно загремел голос Ермака и черные брови его сурово сошлись над переносицей.

За последние два года он, как сына родного, любил этого статного, пригожего юношу и неотлучно держал его подле себя. Одна мысль, что кто-то посмел обидеть его, атаманова, любимца, бросала в жар и в холод Ермака.

– Кто дерзнул? – еще грознее и строже прогремел его окрик, от которого дрожали самые смелые казаки.

– Но Алеша не дрогнул. Он, подняв смело голову и вперив свои честные, прямые, синие очи в очи Ермака, произнес твердо:

– Мещеряк обидел меня, атаман.

– Мещеря? Твой брат названный, первый друг и приятель? Да што же это он? – недоумевающе ронял слово за словом Ермак. – Аль ополоумел, невзначай, Матюша? Говори, князенька, чем он прогневил тебя.

– Скажу, – смело ответил юноша. – Давеча ты круг

собирать велел, со станом беседовал. Я все слышал, хоть и не смел совать нос в казацкое дело. А слышать, все слышал, как ты на Кучумку идти решил, Сибирь воевать во славу нашего народа, и вместиах ликовал я с вольницей твоею... Только стали расходиться с круга, а Матвей мне и говорит: «Ты, Алеша, не печалуйся больно – не долог наш поход будет. Не заждешься. А я тебе за это, што ни на есть самого дорогого из Кучумкиных сокровищ проволоку, как вернемся»... Вот как обидел меня мой брат богоданный, атаман! – заключил с пылающими глазами свою речь Алеша.

– И все?

– Мало разве?

– Так какая ж тут обида-то, парень? Мне невдомек, – все более и более недоумевал Ермак.

– Да нешто я баба, штобы мне на печке лежать да гостинчика дожидаться Сибирского, – с силой ударив себя в грудь рукою, чуть не в голос крикнул, весь дрожа, Алеша. – Вот ты с молодцами на самого Кучумку идешь, царю и родине, всему россейскому народу службу сослужить, а я жди вас тут, ровно порченый. Да лучше мне было бы, штобы тогда меня Никита петлей задавил, али ножом пырнул заодно с Терентьичем, чем так-то!

И голос Алеши задрожал, краска кинулась в его бледное лицо.

Ермак простоял с минуту, ничего не понимая, но по-

том, сообразив в чем дело, радостно спросил:

– Голубчик! Да нешто ты с нами хочешь?

– А то нет? А то нет? – так и вспыхнул, и задрожал всем своим стройным телом Алеша. – Сам ведаешь, не просился я к вам, когда пришибли дядьку моего. Сами меня взяли, приютили в стане. С вами жил тут в холе да довольстве. А ноне идете вы, а меня здесь норвите оставить. Стало быть чужой я вам, стало ненужный... Вы под пулями да стрелами будете, а я в холе да тепле... Слушай, атаман, верно думаешь млад я годами... Да нешто не силен я, гляди?... Нешто не сумею ножом владеть аль пищалью?... С татарвой да прочей нечистью управиться не смогу? Вон Матвею только двадцать годов стукнуло, а в мои годы он уже с вольницей гулял по Волге... Нешто я слабее его?...

Ермак с восторгом глядел на взволнованного и негодующего юношу и думал:

«Правда, силы и мощи в нем как у взрослого, даром, что семнадцатый пошел лишь годок. А все же жутко брать его с собою. Стрелы калены, сабли татарские, ненастье да голод и мор, Бог весть, што ждет удальцов смелых там, в чужом, неведомом вражьем краю».

И, открыв рот, он хотел уже было привести все эти доводы юноше-князю, как тот, быстрее птицы, отскочил от него, выхватил из-за пояса небольшой чекан и с силой взмахнул им над своей головою.

– Вот што будет, коли не возьмешь с собой! – резко

вырвалось из груди Алексея.

Ермак вскрикнул от неожиданности и рванулся к нему. В один миг оружие полетело на землю и сильные руки атамана обняли белокурую голову любимца.

– Берешь? Берешь, стало? – едва не задохнувшись вскричал Алеша и, прежде чем Ермак успел остановить его, упал в ноги атаману и произнес с восторгом:

– Вот спасибо!... Вот спасибо!... А за это... за это жизнь мою возьми, коли надо, Ермак Тимофеич.

– Ишь, сердешный! – помимо воли умиленным голосом произнес Ермак и, помолчав немного, заметил, нахмурясь:

– Не гоже тебе, князьему сыну, передо мной, мужиком-казакком, унижаться.

– Не мужику я кланяюсь, а славному храбрецу, казакку вольному, вождю будущей роты Сибирской, – сверкая глазами пылко вскричал сиявший от счастья Алеша, не спуская восторженных глаз с Ермака.

– Ну, если так, паренек, коли люб тебе стан наш казачий, входи в него с Богом, будь, как и мы, казакком, – горячо произнес атаман, насильно поднимая с земли милого юношу.

У того глаза только вспыхнули новыми огнями.

– Берешь в стан!... Господи!... То-то радость! – роняли его губы. – Спасибо тебе, Василий Тимофеич!... Вот спасибо!... Приютит ты меня, сироту, и научил любить волю казацкую, так неужто ж теперь, когда я ва-

шим стал, неужто ж оттолкнуть мыслишь?

– Не оттолкнуть, миляга, а только, – нерешительно произнес Ермак, – а только обыкность [обычай] у нас есть: из княжьего да боярского роду в стан не принимать. Ну, да это мы уладим, мои ребята души не чают в тебе. А вот еще у нас испокон веков обычай ведется: перед всяким походом али делом великим прощать, отпускать грехи друг другу, коли виновен кто перед кем. А ты, паренек, Никиту Пана по сию пору простить не можешь, так как же с нами в поход-то на такое великое дело пойдешь?... – тихо усмехнувшись произнес Ермак.

Как под ударом хлыста дрогнул Алеша. По самому наболевшему месту ударил его атаман.

Да, он прав, этот могучий Ермак. Он, Алеша, ненавидит Никиту Пана за гибель дядьки. Ненавидит не менее тех, по чьей вине убит и дедушка-князь, боярин Серебряный-Оболенский. Но разве время теперь ненавидеть и мстить, когда они все не сегодня-завтра пойдут на великий, страшный, богатырский подвиг? Недолго боролись разнородные чувства в душе Алексея. Юноша то краснел, то бледнел, меняясь в лице. А Ермак, не отрываясь, следил за этою игрою лица своим ястребиным взором. Вот потупился и вспыхнул Алешин взгляд, брови разгладились, разбежались с высокого юношеского чела легкие морщины, и тихим, но твердым голосом он произнес:

– Коли Господь велел, прощу и его...

Ермак еще раз крепко, как любимого сына, обнял Алешу.

3. ЛЮБОВЬ И ГОРЕ

Во всей Перми краю не найти под пару, – сказал, усмехаясь, шутливо эту фразу казацкий атаман.

И сто раз кряду повторял эту фразу взволнованный Алеша, пока он шел из казачьей станицы к хорошо знакомому городку-острогу.

Ошибался Ермак. Нашло себе пару впечатлительное сердце Алеши. Нашло помимо исканий, помимо ожиданий.

Уж более двух лет прошло с той ночи, когда его, князя Алешу, бесчувственного отыскиали в роще Строгановские воротники и с окровавленной от падения головой принесли в хоромы именитого купца. И с той самой ночи, когда он с трудом открывал глаза и бредил убежавшей дикаркой и ее спасителем, и водил по горнице обезумевшим взором, его воспаленные глаза встречали сочувственный взор голубых девичьих глазок Танюши Строгановой. Она, с няней Анфисой да с бойкой Агашей, как умела, ухаживала за ним. Он чуть не умер, чуть не истек кровью тогда от толчка Имзеги. Но молодость и силы взяли свое, и Алеша оправился от своего недуга.

Семен Аникиевич с племянниками не упрекнул его ни разу за самовольное распоряжение пленной Алыз-

гой. Дядя и племянники поняли, что не причастен в этой вине красивый, синеглазый юноша, чуть было не поплатившийся жизнью за свою опрометчивость. И вместо брани и упреков – ласки, заботы и любовь встретили юного князька в больших Строгановских хоромах. И когда через месяц он поправился настолько, что мог переселиться в станицу, Строгановы не раз повторяли свое приглашение приходить к ним почаще в городок.

С той поры «это» и началось.

Детские игры да забавы, веселые жмурки да горелки в обществе Агаши и других сенных девушек заставили горячо привязаться Алешу к голубоглазой, веселой и ласковой Тане, юной хозяйке Строгановских хорм. Вместе они подшучивали над старушкой-няней, вместе слушали ее сказки, либо рассказы старого Евстигнея о том, как жилось еще при дедушке Анике в Приперсидском краю. Точно сестричка родная стала дорогой да близкой ему, Алеше, голубоглазая Танюша Строганова. И Танюша платила ему тем же. С восторгом выбегала она каждый раз к нему навстречу, с нескрываемою радостью тащила к себе в светлицу или в сад, где их ждали всегдашние участницы их забав и игр и в обществе Алеши считала себя самой счастливой.

Прошли месяцы – и миловидная голубоглазая девушка-подросток превратилась в стройную девушку, красивую и пригожую, как Божий день.

– Наконец-то!... А мы-то ждали, ждали... Ин Агаша мыслила, што и не придешь, – и Танюша Строганова со всех ног кинулась навстречу показавшемуся на садовой дорожке Алексею.

Агаша и другие девушки, находившиеся подле молоденькой хозяйки, низко поклонились вновь пришедшему в пояс.

Их свежие, молодые лица, пестрые летники, хитро расшитые девичьи венцы на головах, яркие ленты да бусы, на которых играло августовское солнце, все это придавало какой-то праздничный вид густо разросшемуся и тенистому Строгановскому саду. Но этот-то праздничный вид, эта пышная зелень и солнце, и веселые, приветливые лица, улыбающиеся Алеше радостно и гостеприимно, почему-то больно кольнули в сердце юноши. Он нахмурился.

– Батюшки, как грозно!... Аль тебя муха укусила, Алексей свет Семенович-князенька? – весело рассмеялась Танюша при виде его омрачившегося лица.

Высокая, рослая, с голубою поволокою очей, с белым личиком и розовыми щеками, не знавшими белил и румян, употребляемых в то отдаленное время почти всеми знатными женщинами и девушками, Танюша Строганова была очень хороша собою. Она вполне олицетворяла собою ту русскую красавицу, тип которой воспевается и до ныне в старинных русских песнях и былинах. Толстая, почти что до пят, русая коса,

заплетенная в несколько десятков прядей, оттягивая красивую голову, придавала ей какой-то задорный и еще более милый вид.

– Ай-ай-ай! Сычом каким глядит и не улыбнется! – снова громко расхохоталась девушка, глядя в серьезное, нахмуренное лицо Алеши.

– Есть о чем призадуматься, боярышня, – отвечал он, нехотя, мимолетно взглянув на нее.

– А со мной поделиться не хошь думками своими? – лукаво вскинула на него глазками Таня.

Юный князь смущенно поглядел на толпившихся вокруг них девушек.

Таня сразу поняла этот взгляд.

– Вот што, Агаша, – шепнула она своей ближайшей подруге, которая, после побега неблагодарной Алызги, прочно заняла ее место в сердце Тани, – вот што, милая, отведи ты девушек в сторонку, да хороводы заведи с ими. Видишь, Алексей Семеныч словцом со мной перемолвиться хочет.

Черноокая, хорошенькая Агаша только усмехнулась в ответ, повела бровями и весело крикнула во весь голос:

– Ну, девоньки, айда, врассыпную! Догоняй меня!

И первая кинулась бежать во весь дух.

За нею понеслись и остальные.

– Алеша и Таня остались одни.

– Што ты больно не весел, князенька? – участливо

проговорила Строганова, пылливо вглядываясь ласковыми голубыми глазами в лицо своего друга.

Алеша криво усмехнулся. Он сам едва ли понимал, что случилось с ним. Он шел сюда полный радостных, светлых надежд, полный страстного нетерпения поделиться как можно скорее своим счастьем с этой милой голубоглазой Танюшей. Он едва не прыгал, идучи сюда, по дороге, как ребенок, как мальчик... Поход на Сибирь и принятие его в вольницу, надежда послужить вместе с другими родине – все это жаром, пылом опалило его сердце. И вот он увидел Танюшу, теперь может поделиться с нею... Так почему же ноет так остро его грудь? Почему так больно сжимается сердце? Он сам этого не мог понять. Молчаливый, грустный опустился он подле девушки на скамью.

Вокруг них было хорошо и уютно. Играло солнце в кружеве листвы, пели пташки, малиновки да пичужки, сладкими голосами. Трава пышным ковром стлалась на полянке. Веселые, звонкие голоса девушек наполняли сад.

А на душе Алеши тоска и грусть непонятная.

И Танюша при виде задумчивости князя сама точно потускнела, померкла, с серьезным, встревоженным личиком повернулась к нему.

– Зачем у вас круг собирали? – спрашивает она, чтобы хоть чем-нибудь прервать докучное молчание.

Алеша поднял голову, встрепенулся, ожил.

– На Кучумку идем, воевать Сибирское царство, – с заметной гордостью произнес он и весь загорелся.

Таня даже рот открыла от изумления, так дика и невозможна показалась ей эта мысль.

– Да што ты! Што ты, князенька! Окстись! Что говоришь-то! Да нешто можно на Кучумку! Ваших-то капля, а евоные, что твоя саранча, – голосом, упавшим до шепота, пролепетала девушка.

– Дядя твой помощь нам даст, Татьяна Григорьевна, – пушки, пищали, да людишек каких. Да нас-то с пять ста с лишкой будет. Так нешто не одолеть!

И его глаза вспыхнули новыми горделивыми огоньками.

– Да, что ты заладил «мы», да «мы»! – вдруг неожиданно рассердилась Таня, – ты-то что это ерепенишься? Ну, пойдет вольница, а ты што...

– И я с нею пойду, Таня, – восторженно произнес Алексей.

Испуганный крик вырвался из груди девушки. Вся белая, как белые рукава ее кисейной рубахи, стояла она теперь перед ним, дрожа и волнуясь, и роняла чуть слышным от волнения голосом:

– Ты с ими?... На Кучумку... в Сибирь... на гибель... на смерть... ты, Алеша, желанненький... милый...

И, как подкошенная былинка, едва не лишаясь чувств, опустилась на скамью.

Испуганный, не менее девушки, князь обхватил ее

стан рукою и, придерживая Таню, ласково прошептал:

– Желанная!... Пташечка!... Голубка моя милая!...
Што ты!... Што ты, родимая? Очнись, приди в себя...

Но она только схватилась за голову и почти просто-напала в голос:

– Уйдешь!... Уедешь!... Не вернешься!... Стрелы у них каленые... наговорные пики у них. Нехристи они... бесермены... Убьют они тебя, убьют!...

И она разразилась глухим, судорожным рыданием. Но странно: это рыдание, это отчаяние не смутили, не пали камнем на сердце Алексея. Напротив, его недавней непонятной тоски как не бывало.

И чем горше рыдала Таня, тем светлее и радостнее становилось у него на душе. Теперь он понял все. Понял и тоску свою, и боль, охватившую его пять минут назад в густо разросшейся чаще сада.

Ему жаль было покинуть ее, эту обычно веселую, милую, ласковую девушку, ангелом-хранителем явившуюся на его пути. Он боялся, что уедет в далекое сибирское царство, и забудет его голубоглазая Таня, выкинет из памяти своей. Незаметно и тихо подкралась к его сердцу любовь к этой красивой девушке с голубыми очами и толстой русой косой. Она плачет, горько плачет теперь. Плачет потому, что и она его любит, эта красавица Таня, и боится потерять его навсегда.

Огромная, могучая волна неземного счастья ворвалась в его душу, захватила его. Он крепче обнял де-

вушку и заговорил, заговорил так, как никогда в жизни не говорил еще князь Алеша Серебряный-Оболенский:

– Желанная... слушай... люблю я тебя... Люблю пуще солнышка красного, пуще майского дня... Как жизнь и радость люблю... Танюша, голубка, не тоскуй, не плачь... Ведай одно – молод я, юноша годами, а горячо и сильно умеет мое сердце любить тебя... Пуще сестрички родимой люблю тебя, Татьяна Григорьевна... Так бы сейчас и кинулся к дяде твоему, Семену Аникиевичу, так бы и крикнул во весь голос: «отдай за меня крестницу, именитый купец...» Да засмеет меня дядя... Што я теперь?... Разбойницкий приемыш, дитя вольницы казацкой, сам вольный казак. Небось, похватают вольницу и меня со всеми лютой казнью казнят... Такого ль мужа тебе надо, красавица?... А то ли дело, милая, перейду с казаками за Сибирский рубеж, буду с ними во всех схватках да боях биться... Опрокинем мы Кучумку-нехристя, победим бесерменов, принесем царство сибирское к подножью трона Московского, заслужим милость народа и государя... И тогда... тогда, любя моя, с почетом и радостью встретит нас и русский народ, и дядя твой с охотой отдаст свою крестницу за ближнего человека, будущего покорителя Сибирского Юрта! – пылко заключил свою речь Алеша и смело заглянул в голубые очи своей собеседницы.

В них не было теперь слез, в этих радостно засияв-

ших голубых очах. Все личико Тани точно преобразилось. Восторженным взглядом впилась она в лицо своего суженого, и это восторженный взор, казалось, говорил:

«Глядите, какой он у меня, сокол мой, гордость моя, голубь сизокрылый!»

И чуть слышно шепнула, сама загораясь его воодушевлением:

– Ступай, голубчик!... Ступай!... Господь с тобою!... Воюй с Кучумом, с юграми!... Сослужи народу русскому... А я... я буду здесь дожидать тебя, да Богу молиться за тебя, голубчик мой, радостный, счастье мое!...

И крепко, крепко обняла склонившуюся к ней пригожую, кудрявую голову князя...

4. В ПОХОД

Первое сентября 1581 года выдалось на Руси славным солнечным деньком жаркого бабьего лета. Этот день, празднование нового года [в то время новый год праздновали на Руси 1-го сентября], трудно было узнать в раннее, теплое, совсем не осеннее, сентябрьское утро. Суетня, оживление и шум царили вокруг. Сама степь, окружавшая варницы, городок и поселки, казалось, оживилась тоже. Между острогом и поселком, обращенным с приходом казаков в станицу, была собрана рать, готовая к походу, вернее ничтожная горсть смельчаков, дерзнувшая вооружиться на покорение Сибирского царства. Правда, эта горсть бесшабашно удалой дружины была вооружена на славу. Строгановы не поскупились, снабдили маленький отряд пушками, пищалями, самопалами, порохом и свинцом, дали и съестных припасов, и одежды, и холодного оружия; кроме того они дали Ермаку 300 человек литовцев и ливонцев, из пленных поселенцев, присланных сюда из Москвы, да мирных татар и югров, данников русского царя. Таким образом набралось около 840 человек воинов у Ермака Тимофеича, в том числе немало толмачей (переводчиков) и вожжей, как назывались проводники в то время. Дали Строгановы да-

же трех священников для выполнения православных треб в походе и в новой земле сибирской, которую так страстно жаждал покорить Ермак.

На Чусовой же реке, в нескольких переходах от поселков, отряд ждали обильные запасы, уложенные в струги и барки, на которых должны были волоком [тянуть суда на бечевах при помощи поставленных на то людей, которые идут по берегу или едут на конях, обмотав вокруг себя веревки] плыть казаки.

Солнце веселыми, жаркими лучами пригревало ратников. Топоры, кистени, чеканы и сабли так и горели, и переливались миллионами огней в его горячих лучах. Тихо реяли знамена. На каждую сотню удальцов было заготовлено по изображению святого. На знамени Ермака был крылатый архистратиг на белом коне, окруженный облаками. Престарелый священник отслужил молебен, окропил знамена и ратников святою водою, благословил на тяжелый подвиг. И вот низко поклонился по русскому обычаю хозяевам Ермак.

– Ждите либо с царством сибирским, либо с вестью о том, што погибли наши головы в честном бою, – произнес он, трижды поцеловавшись со всеми, потом лихо вскочил на коня, подведенного ему одним из казаков.

– С Богом, ребята! – бодро крикнул он.

Тихо, в благоговейном молчании двинулась рать. Стройными рядами выступали сотня за сотней...

На золотых древках и алом бархате стягов играло

солнце.

– С Богом, ребяташки! Послужим православному народу русскому, да батюшке-царю! – еще раз прозвучал мощный голос Ермака, как только дружина, миновав свою станицу, вышла к побережью, держа путь к стругам, ожидавшим их на реке в нескольких десятках переходов от главного Строгановского острога.

– С Богом! – отозвалась, как один человек, вольная дружина и все глаза с радостью и надеждой впились в молодца-атамана.

– А теперь, ребяташки, грянем нашу поволжскую! – блеснув глазами крикнул Ермак.

И в тот же миг волною разлилась по степи, замирая в лесах окрестных, лихая казацкая песнь, сложенная удалыми поволжскими молодцами.

Но не в счастливый день двинулся, очевидно, со своей небольшой дружиной Ермак.

Утром казаки вышли из Строгановских городков, напутствуемые пожеланиями и приветствиями хозяев и жителей окрестных поселков, смотревших на эту горсть смельчаков, как на своих спасителей, избавителей от югорских дикарей, а в ночь с 1-го на 2-е сентября толпы дикарей, под предводительством Пелымского князя, обрушились огромною толпою на прикамские поселки и городки, сожгли села с варницами, мельницами, пашнями, со всеми угодьями, а жителей-поселенцев увели в плен. Семен Аникиевич с племянника-

ми отправил вслед за этим грамоту царю с жалобой на вогуличей, разоривших посады, и с просьбою прислать на помощь ратников для охраны от дикарей. Почти одновременно с этой челобитной полетел и донос на Строгановых к Московскому царю. Чердынский воевода, Василий Перепилицын, не ладивший со Строгановыми, донес грамотой царю, что последние послали казаков на Сибирь и Кучума и тем лишили казаков возможности охранять Чердынский край, на который не замедлили обрушиться вогуличи, остяки и черемисы.

Грозную грамоту отправил тогда царь Иоанн Васильевич Строгановым с воином Аничковым.

Этому Аничкову было также поручено догнать ушедших на Сибирь казаков, взять их и привести частью в Пермь, частью в Камское Усолье, где и приказано им стоять для защиты, а зимою на нартах [сибирские сани, которые запрягаются собаками или оленями] съездить на Пелымского князя.

«Непременно по этой нашей грамоте, – писал Иоанн, – отошлите на Чердынь всех казаков, как только они к вам с войны возвратятся, а у себя их не держите. А не вышлете из острогов своих в Пермь волжских казаков, атамана Ермака Тимофеева с товарищами, будете держать у себя и пермских мест не будете оберегать и, если такой вашей изменою, что вперед случится над пермскими местами от вогуличей, пелымцев и сибирского салтана, то мы за это на вас опалу свою по-

ложим большую, атаманов же и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешать».

Но отправленный с грамотой воин Аничков не смог выполнить поручение царя и вернуть Ермака с его казаками. Вольная дружина была уже далеко на пути в Сибирь...

5. ПЕРВЫЕ ДНИ. – КАМЕННЫЙ ГИГАНТ. – ТАЙНА СЕРДЦА

Солнце... река и небо... Вдали синееет гордый Уральский хребет, словно могучий старик, простерший руки к небесам. Густые кедровые леса темной шапкой накрыли старого красавца. А от него, конусообразной волной, бегут зеленые холмы, покатые и острые. Вплоть до самой реки Чусовой бегут эти холмы, точно реки, посыпанные розовым и лилово-алым цветом багульника и богородицыной травки. Кусты боярышника, черемухи, ольхи густо разрослись над берегом. Прохладу и тень дают они.

Несмотря на начало осени нестерпимо парит солнце, ярко освещая грандиозные картины пышной, могучей природы.

Умаялись казаки. Дно Чусовой каменисто и мелко. Грести невозможно. Совсем выбились из сил. А тут еще парит, точно в самом разгаре лета. Бросили весла, натянули бечевы, волоком тянут струги да лодки. И то не помогает. Пот градом льется с добровольных бурлаков. И вдруг стоп. Затрещали снасти, остановились струги: сели на мель.

– Стой, братцы! – несется знакомый каждому казацкому сердцу любимый голос.

– Стой! Снимай паруса! Давай запруду делать.

Недоумевающе глянули казаки на своего батьку – диковинное что-то замыслил Ермак. Но им не привыкать стать подчиняться каждому слову молодца-атамана. Что бы ни приказал он, безропотно исполняют они. Сами выбрали его над собою главарем за удаль, за отвагу, за мудрость и лихость без конца.

И старый волк, Яков Михайлов уже смекнул в чем дело. Недаром всю свою жизнь провел он на речных разбойных промыслах. Пособрал у молодцов паруса с ближних стругов, достал из мошны толстую, с сученой ниткой иглу и стал сшивать полотнища холстины, употребляемые на паруса. Вскоре вышла огромная холщовая полоса, гигантский свивальник.

– Ну, робя, кто охоч купаться, полезай в воду, – пошутил Ермак.

И тотчас же, как по команде, спрыгнуло несколько молодцов прямо в прохладные воды реки. По пояс в воде они ждали новых приказаний.

– Ишь, мелко... – усмехнулся Ермак, – тут, значит, моя затея сподручна будет. Ты, Василий, ступай с Гвоздем к правому берегу, ты, Михалыч, с Миколкой к левому, волокни холстину, да и прикрепите поладнее ее, робята, камнем ко дну, верхом к осоке. Вот и будет запруда у нас, любо-дорого...

С веселым гомоном принялись казаки за работу, и в какой-нибудь час парусная преграда легла между

двумя берегами, прорезав воды реки. Вода, задержанная в своем течении, сразу остановилась, стала подниматься выше, выше. Поднялись и струги с нею заодно.

– Ой, славно! – весело крикнули с берега бечевники, почувствовавшие облегчение тащить струги.

– Да и молодчинища же атаман наш! Горазд башковатый! – отозвались казаки, сидевшие в челнах.

Немцы и литовцы, сидевшие в дальних стругах, только одобрительно качали головой.

– Иок, хороша бачка, больно хороша! – на своем странном говоре одобряли Ермака татарские воины, входившие в состав Ермаковой дружины.

А Ермак даже и не слышал этих похвал. Его быстрые глаза уже вперились в даль и, не отрываясь, глядели на что-то, что находилось там впереди.

Солнце медленно садилось. Темная шапка отдаленного Урала уже потемнела. Серые громады подернулись дымкой сумерек. Таинственнее и глуше зашептала прибрежная осока. Стало заметно темнеть.

– Придохнуть бы малость, поискать ночевки, – нерешительно заикнулся кто-то в лодке Ермака.

Но тот по-прежнему ничего не слышал, и глаза его по-прежнему впивались в сумерки.

– Штой-то с атаманом? – чуть слышно обратился Мещеряк к Пану, сидевшему с ним в одной лодке, – неужто татарву-нечисть почуял?

– Где тебе! Нешто они сюда сунутся! Еще не Сибирь

это, – презрительно усмехнулся Пан. – Труссы! Собаки! Небось, помнишь, как на Сылву мы летось ходили, как они под Кунгуром стрекача задавали? А?...

– Да то буряты, а «казаки» [киргиз-кайсаки] Кучумкины, те отчаянные такие. Вона поселенцы сказывали, с ихним Мамет-Кулом на резню так и прут.

– Гляди, Мещеря, а атаман все смотрит... Што за притча! Уж время к берегу приставать, кашу варить, готовить ночевку, – снова нетерпеливо произнес Никита Пан.

– Поспросать бы Алешу, што попритчилось батьке, – нерешительно заметил Матвей.

Но заинтересованным казакам не пришлось обращаться за разъяснением к юному князю, находившемуся в одном струге с Ермаком. Сам Ермак окликнул в эту минуту задумавшегося юношу.

– Алеша, глянь-ка туды, сердешный. Глаза-то у тебя вострые, молодые, позорчье будут моих... Што за чудище, ин, белеется вдали?

И он, протянув руку, указал вверх по реке.

Алеша стал пристально вглядываться в даль. Что-то серое, огромное, безобразное почудилось ему в сплывшихся сентябрьских сумерках короткого дня – не то острог, не то башня, а то и великан, простерший руки к небесам.

– Должно, атаман, городок татарский, – сделал свое предположение Алексей.

Но тот только усмехнулся.

– Эх, молодо-зелено, князьенька! Где ж ты городок увидал? Небось, сердце к бою рвется, и на каждом шагу городки татарские мерещатся... Нет, брат Алексей, сплеховали глазыньки твои, – дружески улыбнулся он сконфуженному Алеше. – Не городок это, нет, верно тебе говорю.

Замолк Ермак, а струги все плыли, и ночь сгущалась. Все явственнее и явственнее обозначалась в сентябрьских сумерках безобразная громада вдали. Вот подплыли к ней струги, и в голос ахнула вольная дружина. Огромная серая скала-великан исполинским утесом повисла над рекою.

– При-ста-вай! – пронеслась могучим криком команда Ермака.

Струги пристали. Дружина вышла на берег. С каким-то благоговейным изумлением оглядывали казаки огромную скалу. Она имела около 25 сажен в высоту и 30 в длину.

Но этим еще не окончилось их недоумение.

– Гляньте-ка, братцы, вход есть! – крикнул радостный голос Мещеряка, и он первый пролез в небольшое отверстие, черневшее у самого подножия гиганта. За ним опрометью кинулся Алеша.

– Лучину возьми, мало ль што бывает, – едва успел крикнуть Ермак.

Кто– то из казаков, успевший высечь огня и зажечь

лучины, раздал их товарищам и все, один за другим, проникли во внутренность пещеры. Вошли, огляделись, и крик восторга вырвался из всех грудей: длинный ряд самодельных покоев представился взорам присутствующих. Сама природа, казалось, позаботилась устроить этот великолепный дворец. Пещеры и переходы сменялись просторными залами со сводчатыми потолками. И все это ярко поблескивало при свете лучин, переливаясь огнями, дробясь сотнями, тысячами, миллиардами искр. Это была исполинская солончаковая пещера, угрюмым сторожем охранявшая верховье реки.

– Знатные хоромы!... У самого Кучумки, поди, не бывало таковых! – шутил атаман. – А ну-ка, братцы, разводи костры и тащи припасы. По-царски мы здесь проведем ночь.

Загорелись костры, обливая ярким пламенем стены пещеры. Рубинами, алмазами заискрились они... Разостлали потники, уселись вокруг костров... Закипели котлы. Подоспел ужин. Серебряная чарка с «хмелевой» обошла дружину. Разрешил на радостях пропустить «малую толику» Ермак, обычно не терпевший в походе пьянства и бражничанья. Поужинав, улеглись спать казаки. Усталые, сытые и довольные своим роскошным пристанищем, они уснули в эту ночь крепко, как убитые.

Богатырским храпом наполнилась пещера... Костры

потухли и только слабо тлели... Красноватые огоньки чуть озаряли внутренность огромных каменных покоев... На разостланных потниках, подложив мешки с запасной одеждой под головы, растянулись спящие казаки. Уснуло все...

Не спал один Алеша, князь Серебряный-Оболенский. Докучные думы не давали ему покоя. В мерцающем алыми огоньками догоравших углей полумраке ему грезился милый, далекий образ голубоглазой Татьяны Строгановой, его последнее прощание с нею. Перед самым напутственным молебствием забежал Алеша к хозяевам острога. В хорошенькой девичьей светелке нашел Таню. Она была не одна. Дядя Семен Аникиевич сидел у своей любимицы. По исключительно ласковому приему, оказанному стариком Алеше, юный князь понял, что именитый Строганов знает истину. Как родного обнял старик юного князя.

– Ведомо мне все, все ведомо, – произнес он умиленно, трижды целуя юношу. – Все мне рассказала стрекоза моя. Ну, што ж, Божья воля! Совет вам да любовь, милые. С радостью отдам за тебя мою Татьяну. За честь сочту породниться со славным родом князей Оболенских. И то сказать, под пару вы оба – сироты круглые, а сиротам Господь помогает. Так-то, Алешенька. С похода вернешься, прославишься, батюшке-царю челом ударишь, гляди, взыщет еще за гибель деда твоего со злодеев-опричников, а тебе великий почет

воздаст.

– Не надо мне почету, Семен Аникиевич. Дедовой гибели мне век не забыть. А до почестей-то я не больно охоч. Отдай за меня Татьяну Григорьевну, коли я добуду честью руки ее, поселимся мы здесь, в тиши Сольвычегодской, подале от злых людей да печальных мест, – уклончиво отвечал Алексей.

Еще крепче, еще нежнее обнял его за эти речи Строганов. Обняла его следом за ним и Танюша.

– Вертайся скорейча, а я ждать денно и ночью буду, – шепнула она своим милым голоском.

И в тиши огромной пещеры слышится теперь этот милый голосок Алеше. Стоит, точно въявь, перед ним стройный облик с голубыми очами, с длинной и толстой косой. И непреодолимо хочется ему увидеть ее теперь, тотчас же... Но невозможно, несбыточно это.

– Тяжело! – помимо воли срывается с губ юноши.

– Што ты, братику? Неможется, што ли? – заботливо спрашивает его проснувшийся Матвей.

– Ах, Мещеря, – печально роняют губы Алеши, – тоска какая... Сердце заныло, мочи нет... Татьяна Григорьевна видится въявь, ну, вот-вот, точно живая...

– Эх, ты, молодость! – добро и снисходительно рассмеялся Мещеряк, – зазноба сердешная не дает покоя... А ведь с чего и кручиниться больно?... Вернешься с похода, повенчает вас поп, станете жить-поживать да добра наживать. Ждет тебя твоя любя, тоскует по

тебе... Не то, что я... по мне-то никто, небось, не тоскует... – тихо, чуть слышно заключил Мещеряк.

– Ну, так што же?... Ведь и ты ни по ком не тоскуешь, – произнес, поднимаясь со своего потника и подсаживаясь к нему, Алеша. – Ведь твое ретивое ни по ком не болит, Мещеряк?

– Болит, – несвойственным ему робким звуком проронил черноглазый молодой казак. И, как бы разом стяхнувшись, заговорил тихо, невнятно:

– Видал, чай, нередко боярышни Строгановой, невесты твоей, ближнюю девушку...

– Агашу-то?... Еще бы!... Как не видать!... Так неужто ж ее полюбил ты, Матюша?

– Ее, – тихо прозвучал ответ.

– Ну и скрытен же ты, парень! А мне ни слова, – упрекнул друга Алеша.

– Неспроста молчал, – взволнованно, горячо начал Мещеряк. – Ты именитый, славнородный князь, боярский внук и кажиная девушка с тобой венчаться за честь примет. А я... Нешто могу я крале моей сказать: «выходи за меня, желанная». – «А кто ты?» – спросит. – «Поволжский разбойник, душегуб ночной, погубитель», – вот што могу ответить любе моей, – с плохо скрытою горечью заключил казак.

– Нет, милый, не душегуб я, – помолчав с минуту подхватил он снова, – хошь и виновен я, што гулял с вольницей на Волге да Дону... Отец мой вместех со

мной, малолетком, пошел к казакам и меня, мальчонка, с собой привел... Нехотя сделался я станичником... А все же не женой разбойника быть моей Агаше. Вот покорим с атаманом Сибирь, с мехами, соболями да кунными зашлю сватов к моей крале и велю сказать им: «храбрый казак-воин, один из воителей сибирских, просит тебя в жены, девица-душа»... Ин, это особь статья будет. Дружинником славным не побрезгает Агаша, – сверкая в темноте разгоревшимся взором заключил Мещеряк.

Уголья в кострах вспыхнули и погасли. Полная, непросветная тьма окутала пещеру. И среди этой, мигмом воцарившейся темноты, тихо прозвучал красивый и звонкий голос Алеши:

– Либо победим, либо помрем под татарскими стрелами да ножами, а без царства сибирского, без славы победной не вернемся к невестам нашим, слышь, Мещеряк...

6. СНОВА В ПУТЬ. – ВОЛОКОМ ЧЕРЕЗ ГОРЫ

Едва встало солнышко, как уж на ногах была вольная дружина. Закипела работа. Опять складывали костры, варили кашу, подкреплялись для дальнего пути.

Быстро прошло в хлопотах время, и снова, покинув гостеприимный приют, огромную пещеру, окрещенную казаками Ермаковым камнем, двинулись дальше вверх по реке. Но это уже была не мелкая каменистая Чусовая: глубокая, прозрачная, как стекло, река текла, словно плавленное серебро, вздымая судна на своем искрящемся, пенистом лоне.

– Серебрянка – река, – заметил кто-то из вожаков-татар, знавших местность.

И сама природа здесь заметно изменилась. Крутые, обрывистые утесы голыми камнями, неуклюжими скалами вздымались по обоим берегам. Чахлые березовые рощицы да поросшие мохом, словно плешью подернутые, берега не манили, как прежде, взора богатым ландшафтом. В иных местах утесы, перекинувшись над рекою, сближались так, что лодки скользили как под сводчатым навесом из каменных глыб. И тогда сумерки наступали среди белого дня. Только серебряная вода чудно белелась и сверкала, придавая ка-

кую-то сказочную прелесть реке.

Два дня плыла по Серебрянке грозная Ермаковская дружина. Высадились у верховьев ее и заложили здесь земляной городок, прозванный Кукуем-городом. Теперь иная работа предстояла им. Простившись с несколькими товарищами, которым надлежало остаться во вновь заложенном городке, и снабдив их порохом, оружием и съестными припасами, Ермак собрал новый круг на берегу Серебрянки.

В виду громоздившегося вблизи Урала он потребовал нового запаса мужества и энергии от своих удальцов.

– Плыли мы, братцы, реками. Ноне волоком по горному ущелью тащить придется и челны да пушки на себе тащить, – сказал он, указывая рукою на громоздившийся впереди них Уральский хребет, покрытый темною зеленью кедровых лесов.

Осень, как нарочно, казалось, медлила наступлением и лиственница еще не меняла своего изумрудного наряда. Кое-где лишь в лесах и рощах золотилась листва, да на ветвях мелькали багровые пятна покрасневших листьев.

– Пойдем и волоком, коли прикажешь, атаман! – дружным хором отвечали казаки.

– Трудно буде вам, братцы, не хочу таиться, – серьезно произнес Ермак.

– Евона!... Што за трудно!... Передохнем малость,

да и айда в путь-дороженьку. Небось, коли руки-ноженьки замрут, мы их на Кучумкиных воях живо расправим, – весело острили казаки. И, повытаскав на берег челны, они обмотали бечевы вокруг поясов и дружно ухнув враз, потянулись по каменистому хребту ввысь Урала.

Тяжелый то был путь, страшно тяжелый. Все выше и выше вздымался узкий проход горного хребта. С обеих сторон его каменными громадами высился пояс. Ноги скользили об уступы, поросшие мхом. Пот градом капался с лиц казаков. Но когда притуплялась энергия и падали силы, появлялась впереди мощная фигура молодца-атамана, сверкали воодушевлением и страстной верой ястребиные очи и могучий голос рокотом прокатывался по горам:

– Приналяг, ребятушки!... Самая малость осталась.

И взяв лямку от первого попавшегося казака, Ермак надевал ее себе поперек стана и тащил челн наравне с другими.

– Небось, в Кучумкином улусе отдохнем. Хорошо, поди, живет собака, – шутил он, оглядываясь на тащившихся за ним следом молодцов. – А ну-ка, братцы, грянем песню поудалее!

И раздавалась песня, могучая и широкая, как сама Русь, рожденная в Поволжье, вскормленная им, удалая и смелая, как жизнь старинных русских героев, веселая и радостная, как весеннее утро. И старый Урал

слушал песню эту. Старому Уралу, слышавшему до этих пор только гиканье да дикие крики своих туземцев-сынов, в диковину была эта захватывающая мелодия русской боевой удали. Старый Урал слушал, это повторяло могучие, из самой души выхваченные звуки сотен сильных, здоровых голосов...

Алеша Серебряный-Оболенский работал и пел вместе с другими. Да и не он один: есаул Кольцо, не говоря уже об атамане, и Волк Михалыч, и Пан, и Мещеряк – все не отставали от простых казаков-воинов.

Алексей, однако, не привыкший к такой работе, скоро выбился из сил. Лямка больно натирала его плечо и грудь, голова ныла, в ушах слышался звон. Пот градом катился по лицу. Алеша далеко отстал со своим челном от других и едва передвигал усталые ноги.

– Ай, паря, да никак и ты при деле? – услышал он громкий голос над собою. Оглянулся – Никита Пан перед ним. Суровое лицо со шрамом дышит участием. Обычно жесткие глаза ласково смотрят на юношу.

Еще перед самым походом подошел к Никите этот молодой красавчик, что трудится сейчас, выбиваясь из сил, вместе с другими, и, протянув ему руку, сказал:

– Много ты виновен передо мною, Никита Никитич... Осиротил ты меня в конец... Держал я за то зло на тебя лихое... В поход выступаем – прощаю тебя... И ты прости, в чем виновен, Христа ради... – сказал и поднял ясный взор на стоявшего перед ним Никиту.

Тот даже всколыхнулся весь. В ожесточенном в разбоях сердце давно загорелась жалость к синеокому юноше, – жалость и раскаяние в убийстве его дядьки. И только из гордости не шел первый к «молокососу» удалый, бывший разбойник, казак. А лишь только заикнулся о мире Алеша, крепко пожал протянутую ему руку Никита.

– Меня прости, окаянного, – тихо шепнул он тогда.

И теперь, видя тщетные усилия Алексея над челном, поспешил к нему на помощь.

– А ну-ка, князьенька, давай-кась, пособлю малость, – предложил он, подхватив бечеву Алешиного челна и с силой потянув последний.

Молодой князь было отклонил подмогу.

«Какой же он казак, коли не справляется с работой? Засмеют другие», – вихрем пронеслось в его голове, но последние силы оставили князя, и он, помимо воли, передал Никите бечеву. Тащившие перед ним другой струг три другие казака одобрили поступок Никиты.

– Спасибо подьесаулу. Выручил князьеньку. Пусть поразомнется малость. Глядишь, и Жаровля скоро.

Действительно, вскоре сверкнула белая полоса реки. Радостный вздох облегченья вырвался из груди дружины.

– Жаровля и то... Кончен трудный путь...

На другой день, отдохнув хорошенько, спустили струги на реку и поплыли сначала по Жаровле, госте-

приимно принявшей усталых путников на свое серебристое лоно, а потом вниз по Туре-реке. Теперь грозный Урал остался далеко сзади. Его величественные вершины глядели уж с тыла на казаков. По обе стороны реки Туры до Тавды тянулась непроходимая тайга. Сосны и ели, пихта и липы разрослись широко и вольно, чередуясь с огромными кедрами, усеявшими склоны гор. Около берега реки – кусты боярышника, таволги и шиповника, дальше сочная, высокая трава, почти в рост человека, еще не успевшая пожелтеть, несмотря на позднее время начинающейся осени. Местами прерывалась пышная заросль тайги, и холмистая степь с болотистыми озерами представлялась взорам казаков. Одно было странно: до сих пор ни на Серебрянке, ни на Туре-реке не было людей. Правда, изредка рисовался силуэт кочевника-татарина на его ходком киргизском скакуне на вершине холма или на опушке тайги, но он пропадал так же быстро, как и появлялся, с такой стремительностью, что Ермаковские воины сомневались даже живой ли то был человек или марево [отражение в воздухе разных предметов и людей, бывающее в степях и как будто удаляющееся от путника вперед], обманывающее взоры.

– Когда ж мы народ-то узрим здешний, спроси вожа [проводник], Алеша, – нетерпеливо обратился Ермак к сидевшему с ним вместе на лодке Серебряному.

Алеша, услыша приказанье, ловко перепрыгнул в

соседний, следовавший за ним, челн, потом в другой, третий и, прыгая как кошка, добрался, наконец, до того струга, где сидел татарин-проводник.

– А вот пожди, бачка, – отвечал тот на вопрос, – сейчас тебе улусы начнутся, народ оседлый пойдет. Глядишь, к вечеру на юрт наскочим. Держи ухо остро...

– К вечеру говоришь? – весь зажигаясь радостью переспросил Алексей.

– Так. Непременно на закате биться будем. Верно тебе говорю, – подтвердил татарин-вожак.

Последнее слово пронеслось уже вдогонку за Алексеем. Обрадованный доброю вестью он уже снова кошкой запрыгал из челна в челнок, спеша передать слова вожа любимому атаману.

7. ПЕРВЫЕ ВЫСТРЕЛЫ. – ПЕРВЫЙ УСПЕХ. – АЛЕШИН ПОДВИГ. – ВАЖНЫЙ ПЛЕННИК

Гляди, Иваныч, никак не соврал татарин, улус чернеет, – живо, оборачиваясь в сторону Кольца, проговорил Ермак.

Седоусый есаул поднял голову и, защищаясь рукой от багрово-алого шара солнца, заходящего за лесом, стал внимательно вглядываться вдаль.

– И то улус, – произнес он радостно. – Ишь, дым из юрт идет. Ну, проздравляю тебя, Ермак Тимофеич, добрались мы до Сибирского царства... Улусы да городки теперича на кажином шагу встречаться будут.

Атаман быстро поднялся в челне и весело крикнул: – Будет работа, ребята!... Приставай к бережку!... Приста...

И не договорил Ермак. Что-то просвистело в воздухе, и целая туча стрел со зловещим шипением обрушилась на челны. Почти одновременно огромная ватага конных татар в остроконечных шапках, в халатах из козьей шкуры, с длинными пиками, выскочила из тайги и бросилась к берегу.

Снова прицелились из луков. Зазвенели тетивы, и новые тучи стрел упали частью в воду, частью в струги,

в толпу казаков. Легкий стон послышался из ближней лодки, и рослый казак схватился за грудь. Острая татарская стрела впиалась в него. Хлынула горячая алая струя.

– Ранены трое... – послышался оттуда суровый голос.

Ермак поднял побледневшее лицо.

– Ребята, целься в ручницы! – прозвучал его дрогнувший затаенным гневом голос.

По этой команде находившиеся в челнах казаки вскинули ружья к плечам и, впившись в лицо атамана, ждали новой команды.

– Пли! – громким голосом крикнул Ермак.

Грянул залп из нескольких сотен ручниц и самопапов. Густой дым застлал берег, тайгу и самые струги на реке.

– Алла!... Алла!... – стоном простонало на берегу не то мольбою, не то рыданьем, исторгнутым многими десятками, сотнями грудей.

Дым рассеялся... Груды трупов покрыли берег... Испуганные лошади метались, волоча за собою мертвые татарские тела. Побросав луки и стрелы оставшиеся в живых кинулись врассыпную, диким, отчаянным воем оглашая окрестность.

Зауральские народцы Сибири никогда не слышали ружейных залпов, не видели пороха до этих пор. Дым и огонь, выходивший из огнестрельного оружия, за-

ставлял одних каменеть от страха, других с воплями бросаться наутек. Это вскоре понял Ермак, продолжая свое движение вглубь Сибири.

Первая удача открыла дружину. С новой, удвоенной силой бросились грести казаки. С новой стремительностью полетели их челны по зеркальной глади Туры. Солнце еще не село, как, миновав несколько прибрежных утесов, они увидели степную луговину, окруженную тайгой с одной стороны, а другою примыкавшею к берегу. Посреди степной прогалины, окруженные валом, прилегая плотно одна к другой, ютились юрты, сложенные плотно из мха, прутьев, вереска и крытые сверху шкурами оленей и коз. Заходящее солнце багровым полымем обливало улус и он казался пламенно-кровавым при этом странном вечернем освещении.

– Это городок мурзы Епанчи, – коротко объявил проводник-татарин. Следом за этим послышалась громкая команда Ермака:

– Причаливай, ребята!... Заряжай самопалы!... Будь наготове!... Гляди во всю!...

Это оказалось далеко не лишним. Едва только высадилась на берег дружина, как из улуса выскочил отряд вооруженных стрелами татар.

– Палить, што ли? – нетерпеливо послышались голоса окружавших Ермака есаулов.

– Пождите малость, – скорее угадали, нежели услы-

шали они приказание Ермака, который сделал знак пушкарю.

Бравый пушкарь, посланный Строгановым в поход с дружиной, быстро подбежал к атаману.

– Наведи-ка жерло пушки-матушки, Петруша. Угостим свинцовым гостинчиком хозяев негостеприимных, – вполголоса приказал ему атаман. – Да ты палить-то постой. Подпусти их поближе, – добавил он, впиваясь загоревшимся взором в скакавший отряд.

И сам замер как статуя. Татары приближались. Вот спешили в какой-нибудь сотне шагов, припали на колени и, выхватив из колчанов стрелы, спешно натянули тетивы.

– Пли! – мгновенно прогремел боевой оклик атамана.

Грянула пушка... Непросветно от дыма стало кругом... Только крики да вопли раненых хищников огласили степное пространство. Кое-где в дыму, без прицела, упали стрелы, пущенные наугад.

– Еще угости, Петруша!... Ишь, славно!... Да и другую заодно заряди пушеньку, – с явною радостью в голосе приказывал атаман.

И еще грянула пушка... Дикий вопль усилился... Топот нескольких сотен ног всколыхнул побережье.

– Никак удрали нехристи? – сделал предположение Кольцо.

– Удрали и есть. Ну, коли так и впредь будет, не боль-

но-то много помехи взять Сибирское царство, – шутил атаман.

Дым рассеялся снова. Толпы скакавших в разные стороны по степи всадников, побросавших стрелы и луки, привели в полный восторг дружину.

– Ишь, трусы!... Небось, чуть што – наутек, – подбегая стрелы смеялись казаки.

Но медлить было нельзя. Впереди находился вражеский улус богатого мурзы и Бог весть какими путями решил отстоять свои владения Епанча.

Надо было вызвать на бой всех находившихся за валом городка обитателей-татар прежде, чем войти в селение. И вот снова загрохотали пушки, одна, другая, третья. Ядра безжалостно врывались в вал, окружавший селение, вздымая груды земли и камней вместе с юртами, расщепленными на части. С тем же характерным гортанным криком татары повыскакали из юрт, наспех захватывая что поценнее, и уносились в степи на своих быстроногих, малорослых коньках. Когда, без малейшего для себя ущерба, дружина заняла улус, ни одного жителя не было в Епанчинском городке: все разбежались, насмерть напуганные выстрелами.

Ликуя и радуясь дружина заняла улус. В сильно порпорченных снарядами юртах все же можно было отлично выспаться до зари. К тому же там ждало казаков и обильное угощенье, второпях забытое хозяевами. Мед и пшено составляли важный ужин для прито-

мившихся за долгий путь казаков.

Сладко спалось в эту ночь казакам. Наутро встали они бодрые и веселые, отслужили молебен, поздравили друг друга с победой и, зажегши разоренный дотла Епанчинский Юрт [где нынешний Туринск], снова сели в челны и поплыли вверх по Туре, погружаясь дальше и дальше вглубь Сибири...

Тот же высокий, покрытый то непроходимую тайгою, то степью берег, та же природа кругом, те же степные озерца и болота поблескивают в солнечных лучах. Но река не та. То была Тура, теперь вошли в Тавду. Быстрая, неглубокая, с каменистым руслом речонка. Берега сдвинулись, словно насупились угрюмо на незванных гостей. Кусты боярышника и таволги почтикупаются в воде. Изредка зашумят, зашелестят они зловеще, и тогда, знают казаки, туча стрел вылетит из чащи. Первые выстрелы дружины, так напугавшие татар, теперь уже потеряли для них часть своей силы. Теперь хищникам они не кажутся более огнем, падающим с неба, и хотя ужасает их ружейный и пушечный залп, а все же, как будто, осмелели они, и все чаще и чаще беспокоят нападениями бесстрашных путников-удальцов.

После теплого, почти что жаркого дня, притомились казаки и рады-радешеньки были, когда послышалась желанная команда:

– На стоянку!... При-ча-ливай!...

Живо вытащили на берег челны, разложили костры, стали варить ужин, разместившись вокруг огней.

– Вот когда бы мяса похватал, ребятки, – барашка жареного аль козули... Небось, дичиной всякой тайга кишмя кишит, – слышался чей-то смакующий голос.

– Попросись на охоту у атамана, авось отпустит, – произнес другой.

– И то, пожалуй, отпустит, братцы, – вскричало несколько голосов разом. – Не больно-то охоч и сам кашу жевать, да сухари грызть аржаные. Небось, настреляем дичи, поделим на всю артель... Идем што ль протиться?... Ты бы, князьенька, с нами пошел, больно к тебе атаман жалостлив. Чего хошь проси, отказу тебе не будет, – обратился молодой казак к Алеше.

Юноша в секунду был на ногах. Предложение казака как нельзя более пришлось ему по душе. Уж очень заманчивой показалась охота в тайге.

– Идем к атаману! – весело вскричал он и первый кинулся выкладывать казацкую просьбу Ермаку.

Тот ласково выслушал юношу.

– Ладно, ступайте. К вечеру, штобы только быть в стану. Да вожа прихватите, Ахметку, што ли. Не ровен час, еще заплутаетесь в лесу.

– Ладно, возьмем Ахметку, – весело согласился Алеша.

Через четверть часа, захватив с собой ручницы, во главе с татаринoм-проводником, они входили в лес.

Тишь, таинственная прелесть и полумрак от тени исполинских елей и сосен, толстостволовых берез и пихт разом очаровали охотников.

– Тута озерца малые есть. У озерец козули на водопое бывают. Разделиться нам надоть, чтоб со всех сторон окружить зверя, – распорядился Ахметка, малорослый татарин с быстрым, бегающим взглядом ко со расставленных глаз.

– Не больно-то много нас. Всем-то вместях сподручнее, – заикнулся было кто-то из казаков, – а то не нагрязнула бы нечисть. Того и гляди явится!

– Да, немного нас. Што десятерым-то поделать, коли их с сотню? – согласился и другой охотник.

– Коли трусите, я один пойду, – неожиданно вспыхнув проговорил Алеша, – здесь не больно-то много козуль. Почти што на опушке тайги мы.

– Нет, ты это неладное, князенька, затеял, – произнес казак постарше.

Но Алеша уже не слушал его и, вскинув ружье, чуть не бегом ринулся в чащу.

Ему недолго пришлось шагать по скользкому мху и начинающей чуть желтеть сочной траве. Вскоре тайга стала непроходимой. Могучие лиственницы и колючая хвоя так близко и тесно сплетались здесь ветвями, что только четвероногий обитатель этого густо разросшегося леса мог проникнуть под ветви дерев. Алеша отстранил несколько сучков и веток со своего пути, боль-

но хлестнувших его по лицу, и, видя, что проход далее вглубь немыслим, с досадой кинулся на траву под самодельный шатер пихты и стал озираться кругом. Зелень и тишь, тишь и зелень окружали его. Где-то близко, сквозь кружево листвы и иглистые ветви хвои, сверкало, серебрясь, небольшое лесное озерцо...

– Сюды должна беспрерывно придти лосина, али и сам бурый хозяин леса, медведь, – мысленно произнес юноша, весь загораясь от мысли потягать свои силы с далеко небезопасным четвероногим врагом, и приготовился ждать.

Минуты потянулись убийственно долго. Алеша то вынимал свою ручницу из кожаной берендейки [чехол], чтобы как-нибудь скоротать время, то снова вкладывал ее назад. Его мысли то вертелись на четвероногих обитателях тайги, то возвращались к недавнему прошлому, к милым голубым глазкам Танюши Строгановой, или с бешеною быстротою неслись вперед. Горячее воображение рисовало ему яркие картины. Он видел уже завоеванной Сибирь... Видел свергнутого в цепях Кучума... Видел рабынями гордых жен [у киргиз-кайсаков, как и у прочих магометан, многоженство] его и дочерей, а победную, вольную дружину на высоте ее славы...

Он зашел в своих мечтах так далеко, что едва услышал легкий шорох неподалеку от себя.

– Должно лось, али козуля, а то и Мишенька проби-

рается, – вихрем пронеслось в голове юноши, и он порочно схватил в руки ружье.

Шорох раздался явственнее, ближе... Чьи-то шаги, мягко и быстро, ступали по мху.

Алексей насторожился, зашел за ствол дерева и притих, затаив дыхание.

Зашелестели пихты, зашуршала трава...

Юноша чуть не вскрикнул от изумления. Перед ним стоял высокий, широкоплечий и сильный татарин-киргиз, в узких штанах из меха, в меховой же, из шкуры оленя куртке, сшитой из прямых бурых и черных полосок попеременно с белым горностаем. Деревянные пуговицы обложены были золотом на куртке. Золотые же пластинки, обильно расшитые по краям одежды, поблескивали при свете заходящего солнца. Шапка – остроконечный войлочный колпак с золотым украшением, из-под которого быстро смотрели с беспокойным блеском живые черные глаза. Очень узкие войлочные сапоги и доха из верблюжьей шерсти заканчивали странный наряд киргиза. Он держал лук наготове. Колчан со стрелами и нож болтались у пояса. На изжелта-бледном скуластом лице и в чуть раскосых глазах виднелось напряженное внимание, почти тревога. На вид ему было лет двадцать с небольшим, но мощью и силой веяло от его богатырской фигуры.

Он не мог видеть притаившегося за деревом Алексея. Очевидно другой враг тревожил его.

Сердце юного князя забило тревогу. Татарин по своему внешнему виду казался не простым смертным. По массе золотых побрякушек у пояса и вокруг шеи, по расшитому галуном высокому колпаку видно было, что это один из важных и знатных обитателей степи.

– Вот бы полонить такого! Ермак Тимофеич спасибо скажет! – вихрем пронеслось в запылавшей голове Алеши.

Но как?... Как полонить?... Он, кажется, вдвое крупнее и сильнее его, князя Алексея, этот степной дикарь. Обернись он сейчас, и пропал Алеша под ударом его кривого, как серп, острого ножа.

– А взять живьем надо... Полонить такого, значит хорошего языка [допросить, узнать, что делается во вражеском стане] добыть, – сообразил юноша.

Нет, во што бы то ни стало его живьем добыть надо!...

И, не медля более, Алексей пригнулся к земле и пополз змеею, скрытый высокой травой тайги. Вот уж ближе, ближе от него татарин. Его узкие черные глаза зорко впиваются в чащу... Очевидно, он слышит шорох, но иначе объясняет его себе... В его скуластом лице отразилось самое живое нетерпение. Дикого лесного зверя поджидает татарин, сын вольных киргизских степей.

Алеша теперь уже был в трех шагах расстояния от него. Он чуть приподнимается и быстро разматывает

пояс, стягивающий кафтан. Сердце его стучит сильнее, стучит так, что вот-вот, мнится юноше, услышит его биение и киргиз... Но последний стоит спиной к Алексею... Если он вздумает сделать хоть шаг, то немедленно наступит на кудрявую голову подползшего к нему князя.

Еще пододвинулся к врагу Алеша. Теперь стоит ему протянуть руку, и он дотронется до мягких войлочных, обшитых верблюжьей шерстью, чобот татарина.

Затаив дыхание Алеша медленно и осторожно берет свой пояс в руки и, чуть дыша, окружает им ноги дикаря. Тот все еще стоит в задумчивости, не подозревая о грозящей ему опасности. А толстый, крепкий пояс незаметно окружает его ноги чуть выше щиколотки, поверх ступней... Совсем уже замерло дыханье в груди Алеши...

– Держись!... – неистово выкрикнул он вдруг, затягивая разом оба конца пояса обеими руками.

Ошеломленный неожиданным криком дикарь хотел рвануться вперед и в тот же миг тяжело рухнул в траву, связанный по ногам.

Не теряя минуты Алеша кошкой прыгнул ему на грудь и, не дав опомниться, свободным концом пояса скрутил его руки. Потом выхватил кривой нож из-за пояса дикаря. Последний лежал на траве беспомощный как ребенок и, дико вращая глазами, силился порвать пояс, плотно скрутивший ему ноги и руки. Но толстая

холстина была соткана прочно. Да и Алексей следил зорко за каждым движением врага.

– Коли двинешься – убью!... – сверкнув на пленника грозным взором вскричал он, и, так как тот не мог понять его слов, приставил к груди дикаря его же нож.

Все это произошло не больше, как в минуту.

Глаза татарина вспыхнули злыми огоньками.

Алексей, все еще сидя на его груди и держа нож у сердца врага одной рукою, другую приставил ко рту и громко крикнул:

– Сюда, ребята, на помощь!...

Гулким раскатом пронесся его призыв по тайге. Вскоре из кустов орешника выглянула скуластая физиономия Ахметки.

– Ай, хорошо пленник!... Больно хорош!... Поймал пленника, бачка!... Князь Таузак это, самого Кучума ближний человек, – мотая головой и поблескивая глазами повторял он, разглядывая связанного татарина как диковинную, редкую вещицу.

Тот только метнул на него свирепым взором.

– Джан Кучик! [по-киргизски значит – собачья душа; приверженцы Кучума ненавидели перешедших в подданство русских своих соплеменников и поносили их] – произнес он хрипло и плюнул в сторону Ахметки.

– Што он лопочет? – заинтересовался Алексей.

– Ругается, бачка... Ну, да поругаешься ты у нас, постой, как поджаривать тебе пятки станем, – зловеще

блеснув глазами прошипел Ахметка.

– К бачке-атаману сволокем его, бачка, на помощь только кликнем своих, – суетился проводник.

Но и скликать не пришлось прочих охотников. Они прорвались сквозь чащу, теперь были тут же и помогали связывать Таузака. Потом освободили его ноги и погнали вперед, прямо в стан Ермака, хваля по дороге своего юного товарища, сумевшего раздобыть атаману такого важного языка.

8. ДОПРОС. – ПОСОЛ К КУЧУМУ

– Атаман, гляди, никак волокут наши особую дичину к твоей милости, – разглядев своими зоркими глазами приближающуюся к стану группу охотников произнес Кольцо.

Ермак, задремавший у костра на вдвое сложенном потнике, с живостью юноши вскочил на ноги.

– И то, особая дичина, Иваныч! Языка раздобыли!... Эка, молодцы у меня ребята! – оживляясь вскричал он.

Вмиг стан засуетился и высыпал навстречу охотникам. Ахметка первый выскочил вперед и спешно стал докладывать, как «молодой бачка» полонил батыря и как позвал на помощь, и как связали они пленника, ровно барана.

– Неушто один одолел, Алеша? – ласково блеснув на юношу своими быстрыми глазами спросил Ермак.

– Один, атаман, – не без некоторой гордости отвечал тот.

– Ай да Алеша! Ай да князенька! Исполать тебе, друже! – обласкал еще раз Алексея Ермак и вмиг светившееся лаской лицо его приняло суровое, грозное выражение. Острые глаза, как две раскаленные иглы, впились в пленного киргиза.

– Гей, толмача мне! – крикнул он повелительно и су-

рово в толпу казаков.

Ахметка, владевший сносно по-русски, выступил вперед.

– Скажи твоему нехристю, чтобы все без утайки нам поведал – где живет Кучум и как нам пройтись к евоному граду, и много ль там воинов припасено ноне у ево... Все чтоб без утайки поведал сейчас же, не то тут же ему карачун придет. Так и скажи, – сурово и грозно приказал атаман.

Едва окончил свою речь Ермак, как Ахметка уже замахал руками, замотал головою и залопотал что-то быстро-быстро, обращаясь к татарину на своем родном языке.

Но чем больше горячился толмач, тем спокойнее становилось лицо пленника. Горделивая усмешка повела его губы. Он, словно нехотя, открыл рот и произнес одну только фразу, холодную и острую, как жало змеи:

«Не хочет Таузак говорить с изменником, с джаман-кишляром» [с подлицом].

Ахметка как мячик отскочил от него. Лицо толмача позеленело от злости. Зеленые же огни забегали в глазах.

– Пытай его, бачка-атаман... Убей его, собаку... Не скажет он ничего тебе... Не хочет собака ничего сказать, – так и ринулся он в ноги Ермака.

– Молчи! Знаю и без тебя, что делать надо, – сурово

нахмурившись произнес тот. – Ей, Михалыч да Панушка, потеревите молодца малость, авось, угольки горячие развяжут ему язык, – заключил он, махнув рукою, отошел в сторону и отвернулся.

Яков Михайлов с Никитой Паном кликнули казаков и велели им стащить с ног татарина его мягкие чоботы. Потом, захватив на чекан несколько углей, старый разбойник плотно обложил им смуглые, желтые ножные пятки киргиза.

«Поджаривание» пяток было в то время самой обыкновенной пыткой и не одних только волжских разбойников. Ермак, вполне доверяясь Пану, не хотел смотреть на пытку. Он смолоду не выносил никакого вида страданий. Если бил ножом или пулей, то бил наотмашь, сразу пресекая жизнь без мук и пытки. В этом могучем и богатырском теле недавнего разбойника жила все-таки прямая, великодушная и добрая душа.

Достигший до него скрежет зубов и запах гари заставили его живо обернуться. Татарин лежал с обуглившимися пятками и с искаженным страданием лицом. Но глаза его по-прежнему презрительно и гордо смотрели на всех.

– Ну-кась, попытай еще раз спросить, Ахметка. Авось, теперь речистее будет, – приказал Ермак.

Последний снова наклонился над пленником. На этот раз лицо пытаемого приняло странное, почти радостное выражение. Побелевшие от страданий губы

раскрылись. Он заговорил сразу много и часто какими-то гортанными звуками, поминутно прерывая свою речь.

– Ну, што? – обратился Ермак к Ахметке, когда пленник, – по-видимому, кончил.

Тот только покачал своей бритой головой.

– Артачится, господин... Слышь, что говорит-то... Говорит, что до Кучумова града идти нам еще долго: Тавдой, Тагилом, Тоболом да Иртышом... На Иртыше и будет Искер, сама столица Кучума... И еще говорит, что не допустят нас к Искеру ихние вои... Што больше ста тысяч набрал рати Кучум и велел окопаться в засеке, под Чувашьей горою... И еще говорит, бачка, што батырь у них есть. Мамет-Кул царевич, силы неописуемой, храбер и отважен, што степной орел... Не подпустит и близко к городу твою дружину... И што сам Кучум-салтан хошь и стар, и слеп, и дряхл годами, а мужества у его не занимать стать: разгромит он твою рать... Вот што говорит собака-Таузак.

Смертельная бледность покрыла при этих последних словах лицо атамана. Ермак вздрогнул от гнева и грозно топнул ногою.

– Ручницу сюда мне! – послал он снова зычным голосом в толпу казаков.

– Ишь, опалился атаман!... Самолично собаку-нехристя похерить желает, – тихим, чуть слышным роко-том пронеслось по рядам дружины. Между тем Ермак,

не спеша, снял с себя железную кольчугу, повесил ее на ветку могучего кедра и, отойдя на несколько десятков шагов, вскинул ружье к плечу.

Едва успел прогреметь выстрел, как, словно юноша, бегом подбежал к пробитой навывлет железной броне Ермак и, схватив ее, поднес к самому лицу татарина.

– Гляди... Видишь, што сделал пуля моя... Медь, железо, булат, что твой пергамент рвет она... Так и скажи твоему салтану: то же будет и с им, коли не сдастся сам добровольно и не сдаст Искера-столицы и всего царства сибирского нашему Государю... Передай ты ему все это доподлинно, толмач.

Ахметка немедля исполнил приказание атамана. Но бледный как смерть киргиз и без его разъяснения понял, казалось, в чем дело. Понял, что далеко было стрелам Кучума до этих могучих ручниц, извергающих из себя дым и пламя.

А Ермак, как ни в чем не бывало, говорил уже спокойно, стоя в кругу казаков.

– Так-то, ребята, не скоро очухается от такой-то пальбы нехристь... Полечи-ка ты ему разным снадобьем пятки, дедушка Волк, ты ведь у нас мастер на это... А как оправится, дать ему струг, да отпустить обратно в Искер к евоному салтану. Пускай попужает хорошенько старика, да порасскажет ворону старому каким оружием мы, вольные казаки, побеждать его будем...

И, весело усмехаясь, отошел к костру и занял свое
прежнее место на войлоке могучий орел Поволжья.

В тот же вечер был отпущен в челне обратно к Кучу-
му в Искер князь Таузак...

9. ЗВЕЗДА ИСКЕРА. – БАЙГА. – СТРАШНОЕ ВИДЕНИЕ

Мягкая, теплая осенняя погода.

В окрестных урманах и тайгах, среди зеленой пышной хвои, сиротливо жалась лиственница, как безобразные скелеты мертвецов среди кудрявых и стройных красавиц. Кое-где листва еще не опала, и красная осина, багровый тополь и золотые пихты и березы, убранные прихотливым капризом старой осени, умирали, одетые в багрянец и пурпур, нарядные, как на пиру. Зеленая степь стала желтой. Цветы багульника, богородицыной травки и кукушкиных слез давно поблекли. Отцвели и восковые белые цветы брусники. Красные, как кровь, ягоды кое-где оживляли поседевшую, постаревшую степь. Там, севернее к Ледовитому морю, в непроходимых тундрах было их царство. Здесь, в степи, они являлись редкими румяными улыбками среди вымиравшей степной флоры. Ряд холмов, еще зеленоватых от пышного мха, убежал в даль волнующейся грядой.

Иртыш еще не замерз [Иртыш замерзает от 23 октября или 25 ноября по 19 апреля – 13 мая]. В своем извилистом русле, среди целой бездны течений, замкнутый высоким холмистым правым и плоским левым бе-

регами, он бежит, стремительно роя землю в каменистом, глинистом дне. Обычно голубой и красивый Иртыш в своих верховьях, он покрыт тиной и плесенью на нижнем течении. Но в это позднее, глухое время он потемнел и надулся, точно недовольный предстоящим близким заточением в глубоких, холодных льдах.

В окрестных холмах и возвышенностях клубился серовато-сизый туман. Старый Урал покрылся, точно траурным флером, его синим покрывалом. О чем грустил старый Урал в это мглистое утро?... О чем пел тихо-тихо однотонно ропчущий Иртыш?... Никто бы не объяснил тайну каменного великана и потемневших от гнева бурливых вод...

Искер давно проснулся.

Несколько десятков юрт, сложенных из глины и нежженого кирпича да вереска со мхом, наполовину тесно прижатые друг к другу и обнесенные высоким валом с двух сторон – вот что представляла тогда недосыгаемая для врагов столица Кучума. Гигантские горы, окружая ложбину, предохраняли ее от набегов неприятелей, образуя естественную стену, более непобедимую, чем все сооружения рук людей. И только скат к реке, сбегавший мхом и вереском, не был защищен. С трех сторон столицы высился тройной вал, окруженный глубокими рвами. Гордо поднималась к небу сторожем-исполином огромная Чувашья гора, окруженная засеками и окопанная рвами. С этой горы были хорошо видны

окрестные городки и улусы подвластных Кучуму оседлых племен.

Искер проснулся. В степи, за валом паслись стреноженные кони и овцы, под присмотром, словно зашитого в меховую куртку, молодого киргиза-пастуха, с кожаной камчи [нагайка] в руках. Из боязни какого-нибудь джюрюга [степной вор] бдительно караулит коней пастух. Вокруг Искера лежат вспаханные под весеннюю пшеницу поля. На берегу разложены сети. Из юрт струится синеватый дымок от шора [огонь]. Видно по всему, что давно и прочно насижено туземцами это хорошо защищенное самой природой гнездо.

В одной из юрт, разгороженной на несколько частей войлочными коврами и шкурами убитых медведей и лосей, уютнее чем во всех остальных жилищах Искера. Стены юрты или керече, как их называют киргизы, поверх темных замшившихся кошм и шкур убитых медведей, покрыты персидскими коврами. Входной итсык [дверь] или, вернее, простое отверстие в кошме завешано такими же коврами. Ими покрыт и земляной пол юрты. Что-то ароматное варится в котле над шором, синий дымок которого частью выходит в верхнее отверстие юрты, частью стелется в ней легким туманом, придавая жилищу сибиряка таинственно странный и красивый вид. На стенах юрты висят кувшины, чашки и турсуки кумыса – единственного любимого питья киргизов. У входа стоят безобразные маленькие изобра-

жения домашних шайтанчиков или идолов, охраняющих семейный очаг. Сам Кучум издавна исповедует мусульманскую веру и всем своим подданным, не говоря уже о домашних, велит молиться Аллаху и Магомету, пророку его, но, тем не менее, шайтанчики украшают каждую юрту сибиряка. В этой роскошно убранной юрте их более, нежели следует. На них с верой и упованием обращена пара красивых, тоскующих глаз. На нескольких кошмах, свернутых вместе и образующих низкое ложе, покрытое мехами, лежит смуглая девушка лет шестнадцати.

Тонкая, ровная, укутанная в какую-то фантастическую одежду, род чапана [халата] из бухарских пестрых шелков, с черными, как смоль косами, перевитыми ракушками и золотыми пластинками, с головой, покрытой остроконечной шапочкой, унизанной бисером, царица Ханджар, любимая дочь Кучума, кажется нарядной не менее своей юрты. Несмотря на чуть выдвинувшиеся скулы и небольшие, узкие черные глаза, юная царица прекрасна. Ее взор непроницаем и глубок как дремучая сибирская тайга. Ее смуглое личико алеет краской нежного румянца, которому позавидовали бы самые алые цветы Ишимских степей. Не столько, однако, красотой, яркой как полярная звезда, сколько беззаветной отвагой и удалью пленяет царица... Но сейчас она печальна и тиха. Туманом легла тоска на черные глаза царицы, хотя под этим туманом так и си-

яют, так и горят они, эти черные, блестящие, восточные глаза. Недаром молоденькую Ханджар зовут звездой Искера. Недаром пуще зеницы ока бережет и лелеет дочку старый Кучум. Гордостью сибирского юрта считают Ханджар и сами жители Искера.

У ног царевны лежит широкое, коренастое, все зашитое в оленьи меха, существо. Плоское лицо этого существа и маленькие карие глазки с явным восторгом впиваются в лицо царевны. Это Алызга, остяцкая княжна Алызга, бежавшая от Строгановых к своей обожаемой царевне. Чисто собачьей преданностью дышит каждая черта ее некрасивого, скуластого, широкого лица.

Царевна молчит. Бог знает, какие думы тревожат под расшитым бисером уке [девичий головной убор] эту дивную чернокудрую головку. Те же мысли отражаются и в преданных глазах Алызги...

Вдруг неожиданно вскочила на ноги царевна. Жалобно зазвенели все ожерелья из ракушек и пластинок на ее смуглой шее.

– Слушай, бийкем [княжна], – вскричала она, вспыхнув вся, начиная с высокого чела и кончая краями смуглой точеной, тоненькой шейки. – Слушай, бийкем... Я не могу понять, чего хочет отец... Идет русский батырь со своими воями... Надо бы встретить его с найзами [пиками] и стрелами – мало их што ль у нас? – выслать рать великую, преградить путь батырю, биться с ним, одну ночь, две, три ночи, – но непременно одолеть, в

полон взять, привязать к хвостам кобыльими пустить в степь...

Ханджар топнула маленькой ножкой, обутой в мягкий козий башмак, и бешено сверкнула очами. Она едва не задохнулась от захватившего ее порыва. Потом, помолчав немного, снова заговорила так же возбужденно со сверкающими глазами и порывистыми движениями рук:

– А победят наши, пускай дальше идут, за горы, на русские улусы нападут, кулов [пленников] наберут – того синеокого, что вызволил тебя из неволи, да девчонку ту, что держала тебя шесть лет на запоре, Алызга моя, – с худо скрытою злобою закончила царевна.

– Она любила меня, повелительница, – тихо произнесла остячка.

– Пускай в Хала-Турм провалится ее любовь! – еще с большим гневом крикнула молоденькая ханша. – Для себя любила, как забаву любила мою джясыр [рабыня]...

– Твоя джясыр с тобою снова, – произнесла с чувством Алызга. – Видишь, к отцу в Назым не поскакала я, сюда, к тебе пришла. И брата привела с собою... О, большой человек брат Имзега!... Сам грозный Уртэ-Игэ внимал ему у Ендырского потока... Великий бакса – Имзега, мой брат...

– А что говорит брат твой, как кончится поход неверного батыря? До каких пор дойдут русские вои? – не-

терпеливо спрашивала Ханджар.

– Не ведаю, царевна. Кабы ведала, все пересказала тебе, звезда очей моих, цветок Ишимской степи, белая лилия Иртыша, – искренно сорвалось с уст Алызги. – Одно скажу, коли придет грозный батырь к Искеру, возьму я, найду брата Имзегу, встану в ряды наших батырей и до последней капли крови буду защищать тебя, царевна моя.

Карие глазки Алызги при этих словах зажглись воодушевлением. Скуластое, широкое лицо озарилось теплым светом. Но на Ханджар иначе подействовали слова Алызги.

– Коли придут сюда неверные собаки, – вся бледная от гнева и ненависти вскричала она, – я выйду с братьями, Абдул-Хаиром и юным Алеем, на городской вал и только по трупам нашим проникнут в Искер собаки!... Недаром зовут меня Ханджар!... [Ханджар значит нож; по киргизским обычаям дают новорожденным имя – название первого попавшегося на глаза предмета] – заключила она, дрожа всем телом и крепко сжимая в кулаки свои смуглые руки.

– О, царевна, сладкий коралл души моей, звезда страны сибирской, вместе жили, вместе и умрем!

И Алызга, упав на мягкие кошмы, коснулась горячим лбом маленькой ножки ханши.

Та оценила преданность своей подруги, положила смуглую ручку на голову остячки и произнесла тихо и

ласково, точно воркуя, своим звонким голоском:

– У тебя, бийкем-Алызга, хорошая, светлая душа. Твои речи звучат, как серебряный сыбызсой [флейта]. Так может говорить не купленная рабыня, а ак-сю-янь [благородная белая кость], благородное, преданное сердце. Спасибо, Алызга... А теперь прикажи Искендеру седлать айгара [жеребца]. На байге [состязание в роде джигитовки] хочет сегодня, как станет падать солнце, скакать Ханджар... Скажи брату, пускай скличет наших батырей.

Едва только проронила последнее слово Ханджар, как Алызга уже исчезла за тяжелым ковром иссыка, привыкшая стрелюю носиться по приказанию своей госпожи.

– На байгу!... На байгу!... – веселым гулом пронеслось по степи, и целая ватага Искерских молодцов вылетела на своих лихих скакунах из ворот улуса.

Вихрем облетела Искер радостная весть – царевна Ханджар зовет на байгу.

О смелости, удали и ловкости царевны Ханджар стая молва разнесла весть далеко. На крупе удалого киргизского коня выросла царевна. Сама степь вложила силу и ловкость в это тонкое, изящное тело, в эти смуглые руки, умеющие лучше любого наездника управлять скакуном.

В то время, как жены ее отца пряли ткани, одежды, гнали кумыс и сводили сплетни, да перебранивались

между собою, царевна Ханджар дикой птицей носилась по степи с нагайкой в руке, подставляя ветру и солнцу свое прелестное, юное лицо, полное удали и восторга.

И сейчас среди девушек-прислужниц она вылетела в степь, подобная быстрой молнии, на своем коне.

Туман расплылся, и пожелтевшая ложбина, с высохшей от осени травой и цветами, казалась золотой.

У городского вала толпилась группа всадников. Это были первые батыри Искера, удалая молодежь, гордость Кучумова юрта.

Впереди всех красовались два брата Ханджар от первого брака: старший Абдул-Хаир и младший Алей, красивый, стройный мальчик, соперничавший в удали с сестрою Ханджар.

Последняя выскочила на своем айгаре вперед. Сменив легкий бухарский чапан на меховую куртку и узкие кожаные шаровары, в своей остроконечной шапке, она скорее походила на красивого мальчика-удальца, нежели на девушку-царевну. Только черные змеи ее кос, вырываясь из-под шапки, десятком тонких прядей разбегались вдоль спины и бедер.

Легким ударом нагайки она заставила своего коня подскочить к группе мужчин.

– Гей, батыри Искера и вольных Ишимских степей, кто хочет словить меня сегодня?... Кто угонится за моим айгаром? Кто схватит меня на лету из седла?... Кто

захочет отведать моей нагайки? – кричала она весело и разразилась веселым смехом.

Рассмеялись эхом за нею и девушки ее свиты.

Смеялись громко, задорно.

Ропот прошел по группе мужчин. Не ударов нагаек боялись юноши Искера, тех безжалостных, могучих ударов, которые наносила, спасаясь от преследования невеста-девушка во время игры. Дело в том, что байга не была простым развлечением молодежи. Ей придавалось особое значение. Тот молодец, который догнал бы на всем скаку девушку-наездницу, по установленному среди киргизов обычаю, делался ее обладателем, супругом. Но никто из самых близких карочей [вельможи] двора Кучума не посмел бы дерзнуть погнаться за любимой дочерью, «зеницей ока», своего хана в надежде, что она станет его женой. Надо было быть царской крови, чтобы явиться искателем руки красавицы Ханджар. Вот почему нерешительность и робость царили в группе мужчин.

Царевна Ханджар между тем смеялась все обиднее и резче:

– Эй, батыри! – кричала звонким голосом она, – аль приросли к земле?... Выезжай, кому любо... Или, может, приближение кяфыров [то же, что урусы на Кавказе – неверные] лишило вас удали, друзья?... Так они еще далече, трусы... Далеко им до нас... В пух и прах разобьют их отцовские дружины, как посмеют прибли-

звиться к нам... Выезжайте же смелей... Аль нет тако-
го?... Перевелись, знать, алактай [богатыри] в нашем
юрту... Эх, кумыс вам с бабами гнать, трусы, пряжу
ткать, а не на айгарах молнией носиться!

– с новым взрывом смеха заключила она.

Заскрипели от судорожной злобы зубы батырей. Не
одна смуглая рука впилась в рукоятку ножа. Не один
взор сверкнул бешенством в лицо царевны. В откры-
тый гул переходил ропот. Юноша Алей, сверкая глаза-
ми, ринулся вперед.

– Не поноси наших удальцов, сестра! Сама знаешь,
не смеют дерзнуть они, – запальчиво крикнул он.

– А ты найди такого, который смеет, – усмехнулась
Ханджар своими черными глазами и тут же испустила
легкий крик.

Из толпы выделился всадник на красивом гнедом
жеребце. Огромный, широкоплечий, могучий, он точно
придавливал коня всей своей тяжестью. Его огромная
голова и широкое, характерное, скуластое лицо, каза-
лось, принадлежали какому-то великану!

Царевна Ханджар вздрогнула при виде его. Бога-
тырь Мамет-Кул был царской крови, потому что при-
ходился дальним племянником Кучуму. Царевич Ма-
мет-Кул мог участвовать в погоне за царскою дочерью.
Но этого-то и боялась более всего Ханджар. Его без-
образное, скуластое лицо, исполненное свирепости и
злобы, внушало ей отвращение и отталкивало от него.

– Если он увяжется за мною, велю прекратить байгу, – вихрем пронеслось в ее мыслях, но тут же она отбросила свое намерение, как недостойное царевны Ханджар.

– Отступить от байги, значит струсить... Пусть знают, что ничего не трушу я никогда, – гордо выпрямляясь в седле мысленно решила девушка.

И, быстро налетев чуть ли не на самого Мамет-Кула, она крикнула задорно и громко во весь голос:

– Бирк-буль!

Потом изо всей силы ударила своего айгара нагайкой и стрелую помчалась в степь.

Царевич Мамет-Кул поскакал за нею.

Вихрем, молнией летели кони: Ханджаров айгар впереди, Маметкулов – сзади. Пыль клубами вылетала из-под копыт. Вся изогнувшись змейкой, почти лежа на спине коня, мчалась Ханджар с пылающими от жгучего удовольствия щеками. Ее черные глаза сыпали мириады искр. Изредка срывался с побелевших от волнения губок резкий гортанный окрик, и удары камчи один за другим сыпались на лоснящиеся от пены бока коня... Но и царевич Мамет-Кул не отставал от красавицы. Он давно и тайно вздыхал по черным очам «Звезды Искера» и только медлил засылать дженге [свах], избегая гнева Кучума, дружбой которого очень дорожил. Похитить, просто выкрасть, по обычаям юрта, Ханджар он тоже опасался: хан мог распалиться за это гневом на

него. И вообще отчаянно смелый в набегах и стычках с врагами, бесстрашный Мамет-Кул боялся этой тоненькой, как стройная пихта, гибкой девочки с насмешливо искрящимися глазами.

Но теперь ему представляется чудесный случай по древнему киргизскому обычаю добыть себе эту девочку в жены посредством байги, и он, загораясь счастьем, как бешеный скакал за ней. Вот все меньше и меньше делается расстояние между ними. Морда его лошади приходится почти у крупа ее коня. Стоит ему только протянуть руку... Но в тот же миг удар нагайки ошеломляет царевича. Кровавый рубец ложится полосой на его щеку и шею. Ханджар, как змейка, с хохотом выскользает из его рук и, новым ударом попотчевав своего айгара, уносится далеко в степь.

Бешенство, глухая злоба и обида разрывают на части душу Мамет-Кула. Обезумевший, ожесточенный, он ринулся за Ханджар, изо всей силы хлеща своего коня нагайкой... Но Ханджар трудно было нагнать. Она была далеко... Мамет-Кул взвыл от злобы... Еще и еще удар... Удары без числа и счету... Дикая киргизская лошадь несется теперь, чуть касаясь ногами земли.

Ханджар уже близко... Ханджар всего в двух, трех саженях от своего преследователя... Ура! Она уже в его руках... Не помня себя от радости Мамет-Кул кинулся вперед, в два скачка очутился подле девушки.

– Пришлю к тебе дженге, царица! – вскрикнул он радостно и обнял Ханджар. Обнял и отскочил от нее вместе со своим конем. Глаза Ханджар были широко раскрыты. В них отражался ужас. Ужас был написан и на всем побледневшем мгновенно лице.

Она подняла руку и молча указала в даль нагайкой. Мамет-Кул взглянул и, испустив крик ужаса, закрыл лицо руками.

Страшное видение представилось взорам обоих.

10. БЕЛЫЙ ВОЛК И ЧЕРНАЯ СОБАКА. – ОБЪЯСНЕНИЕ ШАМАНОВ. – ПЕЧАЛЬНЫЙ ГОНЕЦ. – ЖИВАЯ НАГРАДА

То, что увидели Ханджар с Мамет-Кулом, увидели и все, присутствующие на байге, и весь Искер, и все царство сибирское.

Серебристый туман, как дым из кадила, нежной пеленою разостлался снова по степи, протягиваясь фатою над побагровевшими водами Иртыша. Забили пурпурно-красные волны и над ними, на широком, лишенном растительности островке появился огромный волк, весь белый как сугроб снега. Он медленно подвигался к стороне Искера, потупив острую морду к земле и угрюмо глядя на разделявшие его от берега красные, как кровь, волны Иртыша.

Вдруг громовой лай послышался откуда-то с противоположного берега, и страшное, мохнатое черное чудовище, похожее на исполинскую собаку, показалось на берегу. Его дико выпученные глаза были так же налиты кровью, как и струи реки. Огромные зубы лязгали зловеще. Пламя выходило клубами изо рта. В один прыжок оно с глухим ворчанием перескочило разделя-

ющий берег от островка потока и, метнувшись на спину волка, с остервенением впилось в его шею зубами. Началась ожесточенная борьба. Оба чудовища грызлись не на жизнь, а на смерть. То побеждал белый волк, то одерживала верх черная собака. Ключья шерсти летели во все стороны. Глухое рычанье разносилось по степи. Люди на берегу, собравшись огромною толпою, с ужасом глядели за исходом битвы. И вот, черная собака испустила новый, страшный и могучий, как раскат грома, лай и, перекусив волку горло, вскинула его на воздух и швырнула в кровавые волны Иртыша. И тотчас же закипела кровавая пена, а над нею в воздухе повис серебристый отблеск белых церквей с крестами и монастырей какого-то христианского города. Одновременно послышался звон, нежный, звучный и протяжный, тот «малиновый» перезвон, каким христианские храмы встречают прихожан в праздничные дни.

Отчаянное смятение, суматоха и панический ужас охватил столпившихся на берегу зрителей.

– Шаманов сюда!... Пускай объяснят виденье! – послышался грозный окрик, и седой старик, высокий и плотный, с коричневым, изрытым морщинами лицом, со сросшимися над переносицей бровями, с тусклым, ничего не видевшим взором, сделал повелительный жест рукою. Он был в горностаевом халате, подбитом соболями и обшитом золотыми пластинками по бортам и воротнику. В виде пуговиц шли они в четырна-

дцать рядов сверху до низу его верхней одежды. Высокий железный шлем в три венца, с навершьем, заканчивающимся пером, украшал его голову. Вокруг венцов были начертаны индийско-тибетские письмена. Он был величествен и грозен на вид, этот незрячий, но крепкий и сильный старик, весь словно вылитый из бронзы. Это был Кучум-Шейбанид, сын Муртозы, великий и грозный хан сибирский.

В 1563 году в отомщение за смерть своего деда, зарезанного Едигером, Кучум пришел в Искер и, убив Едигера и брата его Бекбулата, воссел на престоле ханском. Он сумел подчинить себе всех окрестных инородцев стрелами и ножами и заставить их платить ему ясака. Он первый ввел магометанскую веру в идолопоклоннической Сибири, послав к эмиру Бухарскому, Абдуллу-Богодур-Хану за учителями для распространения ислама. Но, несмотря на то, что Кучум был ярым мусульманином, в его душе прочно жил дикарь-идолопоклонник. Он верил предсказаниям баксов, шаманов и колдунов и прибегал к их колдованиям в самые трудные минуты жизни. И сейчас, когда стоявший подле него любимый младший сын передал ему все происшедшее, явная тревога отразилась на лице хана.

– Шаманов сюда!... – приказал он еще раз. И по этому хорошо знакомому, повелительному голосу владыки Искера заколыхалась огромная толпа на берегу. Несколько человек спешно выдвинулось вперед, среди

почтительно расступившейся свиты Кучума.

Их куртки были сшиты из разноцветных лоскутьев материй, узких и длинных, в виде красных и зеленых полос. Узкие же штаны также пестрели такими же полосами. На спине кафтана нашит был густой ряд спиц, длиною в палец, а на плечах торчали большие пучки совых хвостов. Остроконечный войлочный колпак весь был увешан бубенчиками и раковинами. Из-под колпака вилась туго заплетенная и черная, как сажа, косица. Огромная кобза [род большой мандолины, на которой играют при помощи смычка] и бубны были у них под мышкой. Ожерелья из ракушек и пластинок покрывали шею.

Это и были шаманы, вершители судеб не только киргизов, но и всех Сибирских народов. Их лица, испещренные рубцами, опаленные огнем, худые и коричневые, являли собою смесь чего-то таинственного и, в то же время, отталкивающе противного.

Впереди всех стоял седой старик-шаман с побелевшей от времени косицей. Но, несмотря на старость, он казался юношей со своим пронырливым и быстро бегущим взором. Целая масса камешков и блях покрывала его грудь и шею, издавая при каждом движении шамана резкий, раздражающий звук.

– Что велишь, повелитель? – почтительно склоняясь перед слепым ханом обратился он от себя и своих товарищей к Кучуму.

– Ступай за мной в мой юрт, Аксакал, и те, что пришли с тобою: Кунор-бай, Куте-бара и другие, все ступайте... Мои мертвые очи не могли зреть знамения, о котором мне сейчас рассказали, но ты должен был видеть его, Аксакал...

– Так, повелитель...

– Ступай же в юрт с помощниками своими... Пусть сам шайтан откроет тебе значение видения над рекою... И да простит мне Аллах и Магомет, пророк его, что я взываю на помощь шайтана...

И он снова сделал шаманам знак следовать за собою.

Поддерживаемый с одной стороны вельможей Карачей, с другой сыном Алеем, Кучум двинулся медленно к самой большой и просторной юрте во всем Искере. Четыре шамана и приближенные хана на почтительном расстоянии следовали за ним.

Последние уголья дотлевали на шоре, фантастически причудливым светом озаряя исковерканные рубцами и незажившими ранами лица четырех шаманов. Запах острого и пряного куренья стоял в юрте. Старик Аксакал поднял свою кобзу и, медленно водя по ней смычком, стал обходить вокруг потухающего шора. Три другие шамана следовали за ним, напевая что-то непонятное и заунывное глухими загробными голосами и изредка ударяя в бубны костлявыми, желтыми руками.

– Кайракак!... Койраком!... Алас!... Алас!... Алас!...

– только и слышно было бормотанье старшего баксы.

Кучум, со скрещенными на груди руками, сидел на кошмах, крытых шкурами медведей. Молчаливая свита окружала его. Все взоры впивались со жгучим нетерпением в шаманов, которые все быстрее и быстрее обегали тлеющий шор. Все громче и резче пиликал смычок и звенели бубны. Наконец, беготня превратилась в настоящую скачку. Шаманы подпрыгивали на месте, вертелись волчками, кривлялись, с пеной у рта, дико поводя вытаращенными глазами... Бубны заливались... Смычок замолк. Теперь Аксакал далеко отшвырнул от себя звенящую кобзу на кошмы и закружился, неистово колотя в бубны... Его седая косичка и острая щетина из спиц на спине закружились тоже, придавая ему вид взъерошенного волка... Вот он выхватил из-за полы своего пестрого, полосатого кафтану нож и стал наносить им себе в грудь удар за ударом... Кровь брызнула из ран, обагрив кошмы и ковры. Аксакал в корчах упал на потухший шор... За ним следом попадали и остальные баксы... Пена, пот и кровь с их обезображенных тел полились ручьями на землю.

Вдруг, весь сведенный судорогами, поднял с горячих угольев начинавшую уже тлеть голову старший бакса... Ужас и безумие отразились на его залитом кровью лице.

– Могучий хан, слушай!... – захрипел он, дико вращая глазами. – Великие Духи через меня, верного ра-

ба твоего, открыли тайну... Погибель приходит царству Сибирскому... Проклятые кяфыры идут сюда... Они уже близко... Мое сердце чует их... О, великий хан, горе тебе и нам!... Белый волк погиб от черной собаки кяфыров... О горе!... горе!...

– Ты лжешь мне, трус!... – забывшись в бешенстве вскричал Кучум, как юноша вскакивая со своей кошмы. – Я велю сегодня же сбросить тебя в волны Иртыша, собака! Ступай к своему шайтану, вестник горя и зла!

И, выхватив стрелу из-за пояса, он, руководимый инстинктом слепого, стал метко целить в голову баксы.

Вельможи, царевичи и свита с ужасом смотрели на невиданное и неслыханное дело. Неужели Кучум решится бросить стрелу в предсказателя! Особа шамана была священна. Оскорбить шамана значило разгневать самого великого шайтана. Но никто не смел напомнить об этом хану. Кучум был страшен. Со сверкающим взором ничего не видящих глаз, с перекошенным от бешенства ртом и сведенными бровями он представлял собою полное олицетворение гнева и грозы. Стрела, направленная на шамана, готова была уже вылететь из лука, как неожиданно поднялась тяжелая кошма юрты, и царица Ханджар быстро влетела в юрту. Ее глаза пылали как уголья, черные косы бились о спину и грудь. Бисерное украшение упало с головы и кудрявившиеся пряди черных, как смоль, волос окру-

жили сиянием изжелта-бледное личико.

– Отец!... Отец!... Удержи руку, повелитель!... Бакса изрек истину!... Кяфыры близко!... Ужасный гонец спешит к тебе!...

И, с громким воплем опустившись на кошмы, обняла ноги Кучума.

Почти следом за нею вбежал гонец. Его одежда была в клочьях. Войлочной шапки-колпака не было на голове. Небольшая тубетейка покрывала бритое темя. Он задыхался от волнения и бега и почти пластом упал у ног своего владыки, рядом с царевной Ханджар.

– Князь Таузак?!... – вскричала в один голос свита Кучума. – Откуда ты, князь?!...

Но Таузак молчал. Слышен был лишь хрип из его груди.

Тогда Кучум положил свою желтую, как пергамент, руку на черненькую головку Ханджар.

– Звезда и солнце моих слепых очей, принеси гонцу турсук [курдюк кумыса]. Пусть освежит ссохшиеся уста...

– Благодарю, повелитель... – простонал Таузак.

Ханджар легче козочки вскочила на ноги, выбежала в соседнее отделение юрты и в одну минуту появилась снова с мехом в руке, наполненным кобыльим молоком.

– Пей во имя пророка, – произнесла она, подавая курдюк Таузаку.

Тот жадно припал к нему губами. Потом отвел турсуку и вскричал дрожащим голосом:

– Повелитель Ишимских и Воганских степей, великий хан Сибирских народов, горе нам!... Кяфыры близко... Они плывут по Тавде, государь... Скоро будут у устьев Тобола... Они могущественны и сильны, русские вои... Сам шайтан помогает им... Когда стреляют они из своих медных луков, каких нет у нас, государь, огонь выскакивает и опаляет пламенем, дым валит клубами и гремит гул далеко окрест... Стрел почти что не видно, а уязвляют они ранами и побивают нас смерть... Защититься никакими разными сбруями нельзя от них, повелитель: все прорывают, все колят нас сквозь...

Сказал свою речь Таузак, хотел еще прибавить слово, но не смог. Усталость и пережитые муки долгого пути дали себя почувствовать гонцу. Он зашатался, припал к земле и бессильно замер у ног Кучума.

Последний как стоял, так и остался с поднятым луком и натянутой стрелой.

– Велик Аллах и Магомет, пророк его!... – произнес он внятно, воздевая руки над головою. – Во всем могучая воля Аллаха!... В Тобол вступают?... По Тавде плывут? – спросил он снова у гонца.

– На Тавде видел их, государь. В Тобол не сегодня-завтра войдут. Схватили меня, когда я высмотреть хотел их по твоему велению, – ослабевшим голосом

ронял Таузак, – палили из луков своих... Железо и медь насквозь пробивали... Отпустили с тем, чтобы предупредить о сдаче тебя, государь...

– Собаки!... – грозно и сильно вырвалось из груди Кучума, – не думают ли победить меня ничтожною горстью воинов своих!... Много ли насчитал ты их, Таузак?

– Поменее тысячи будет, государь... И ведет их алактай могучий... Как Аллу слушаются его поганые кяфры...

– Менее тысячи... и ведет алактай... – усмехнулся слепой хан своими гордыми устами. – Но и у нас немало есть могучих алактаев и батырей... Их менее тысячи, а нас десятки, сотни тысяч... А что дымом и огнем палят, не страшно это... Аллах хранит правоверных... Ступай, отдохни, Таузак. К закату зайди в мою юрту, расскажешь все подробно о том, что слышал и видал... А теперь уйдите все, князья и карочи-вельможи... Пусть останутся только дети мои, Абдул-Хаир и Алей и ты, радость дней моих, луч солнца среди моей печали, царевна Ханджар, – приказал он ласково.

– И ты, Мамет-Кул, и ты останься с нами, – быстро прибавил Кучум.

Богатырь-царевич, следовавший, было, следом за остальными, остановился и, мягко ступая своими оленьими сапогами, неслышно приблизился к дяде.

– Слушай, Мамет-Кул, – произнес Кучум, почуяв его инстинктом слепого рядом с собою. – Аллах прогне-

вался на меня и лишил возможности видеть любимую дочь-царевну, поразив слепотою очи мои. Но я не раз слышал, как воспевали ее под звуки домбры лучшие певцы Искера... Я слышал, что с кораллами сравнивали ее уста, с дикими розами Ишимских долин ее алые щечки, с быстрыми струями Иртыша ее черные, искрометные глаза. Ловкостью и смелостью она превзойдет всех юношей Искера. Недаром покойная ханша Сызге, мать царевны, на смертном одре предсказала ей счастливую будущность... Я дам за нею лучшие мои табуны, лучших кобылиц и курдючных овец им в придачу... Шелковых чапанов наменяю от Бухарских купцов... Завалю твою юрту тартою [гостинцы, подарки], царевич... Возьми все, дарю тебе в жены красавицу Ханджар... Но за это... за это ты, царевич, победишь мне русского алактая.

Кучум кончил. Его грудь бурно вздымалась. Его лицо, мертвенно-бледное до сих пор, пылало и покрылось багровым старческим румянцем. Его рука обвила стройные, гибкие плечи Ханджар, побледневшей как саван.

Как?! Она будет женою этого безобразного, огромного Мамет-Кула? Не глядя на нее, отец отдаст ее, как рабыню, в юрту царевича?! И все из-за них, из-за проклятых кяфыров, с приближением которых приблизились к ней все беды и горести зараз!

Полная отчаяния и ужаса она едва слышала, что го-

ворил ее отец сияющему теперь от счастья Мамет-Кулу.

– Мои сыновья еще молоды... Если убьют Абдул-Хайра собаки-русские, мне некому будет после смерти оставить Искер. Проклятый Сейдак [сын убитого Бекбулата – злейший враг Кучума] рыщет по степи со своими наездниками и ждет случая занять отцовское место... Алей еще мальчик... Его рано отсылать в поход и ханша Салтанета взвоят, как волчица, от горя, если придется с ним расстаться... Тебе, царевич Мамет-Кул, поручаю войско... Ты поведешь его берегом Тобола... Темною ночью ты с воинами протянешь цепи на реке, чтобы прервать ими путь кяфырам, и всю ратью обрушишься на них... Выбери надежных батырей, Мамет-Кул... Кликни клич кочевым киргизам и с помощью Аллаха Ханджар твоя...

– Я исполню все, как ты велишь, повелитель, и сам пророк да поможет нам! – грубым, зычным своим голосом вскричал Мамет-Кул и, почтительно приложив край ханской одежды к челу и устам, вышел из юрты.

Вышли и младшие царевичи, вышла и Ханджар. Целая буря клокотала в душе юной царевны. Она – обещанная невеста Мамет-Кула, этого зверя с ожесточенным в боях сердцем, в котором не осталось ни капли нежности ни для кого!

– О, Алызга! – шептала она, придя к себе и упав на грудь своей любимой бийкем-джясыри [княжна-рабы-

ня]. – О, Алызга, сколько зла причинили они...

И, выпрямившись во весь свой стройный рост, как испуганная газель поводя глазами, добавила, вся трепеща от ужаса и тоски:

– О, только бы не взяли Искера, Алызга моя... Клянусь, я буду доброй и любящей женой Мамет-Кула, лишь бы избавил он от горя и позора старую голову моего бедного, слепого отца...

И зарыдала навзрыд впервые в своей жизни звезда Искера, красавица Ханджар...

11. ЖЕЛЕЗНЫЕ ЦЕПИ. – ХИТРОСТЬ ЗА ХИТРОСТЬ. – ПОД БАБАСАНОМ. – В ПЛЕНУ

Далече еще до Иртыша, Ахметка?... Ох, штой-то дюже мелко опять стало, – с досадой говорил Ермак, то и дело погружая огромный шест в воду.

Струги чуть тащились по Тоболу. Он словно обмелел. Словно перед тем, как заковаться ледяною броней, решил подшутить злую шутку над казаками Тобол. Весла то и дело упирались в песчаное дно реки. Утренники стали заметно холоднее. Дружина повытаскала теплые кафтаны и оделась теплее, кто во что умел. Дул северяк. Холодный осенний воздух пронизывал насквозь. Съестные припасы приходили к концу, но выходить на берег охотиться за дичью было опасно. То и дело появлялись большими группами на крутых береговых утесах татары и стреляли с высоты в реку, по которой медленно тянулись струги казаков. Нельзя было и думать плыть быстрее. Мелководье, как нарочно, замедляло путь.

– Далече ли до Иртыша, Ахмет? – еще раз прозвучал тот же нетерпеливый вопрос над застеклевшею от осеннего холода рекою.

Татарин, зябко ежившийся под своим меховым ча-

паном, вскочил на ноги, зоркими глазами окинул даль и произнес уверенно:

– Часа два ходу. К полдню будем, бачка-атаман.

Задумался Ермак. Нерадостно было на душе атамана. Как-то неожиданно, сразу наступила осень. Люди зябли. Ветер, не переставая, дул в лицо, замедляя ход. А татары досаждали с берега почти что безостановочной стрельбой. Струги ползли как черепахи. Будущность похода представлялась темной, непроницаемой, как ночь под черной завесой. Кто поднимет эту завесу? Кто расскажет, что ждет дружину в этом холодном, неведомом краю? Уже было несколько битв и на Туре, и на Тавде, и чем дальше подвигаются казаки в глубь Кучумова царства, тем больше помех встречается им на пути. Осмелели, как видно, ханские воины, и ружейная да пушечная пальба перестала казаться им страшной и грозной как в первое время...

Так глубоко задумался могучий атаман грозной дружины, что и не слышит смятения и глухого ропота во круг себя. И только когда что-то с силой брякнуло о дно лодки, и легкий струг поднялся носом над водой, точно ожил, проснулся Ермак.

– Што, на мели, што ли?... Еще не доставало!... – суровым голосом проронил он.

– Бог весть, что случилось, атаман... А только через Тобол протянута какая-то преграда... Вишь, два челна опрокинуло. Перехитрили нас поганые, неча сказать, –

зволнованно докладывал Ермаку Кольцо.

Действительно два струга вверх дном плыли по реке, а сидевшие в них казаки, по грудь мокрые, вылезали из воды.

– Дьяволы!... – выругался Ермак, – вишь, бритоголовые, чем досадили!... Ин, ладно!... Бери чеканы да секиры, робя, разбивай преграду поладнее, – обретя сразу свою обычную бодрость и смелость духа заключил атаман.

Но не пришлось на этот раз дружине исполнить приказание вождя. Дикий рев пронесся вдруг над рекою. Мириады стрел засвистели в воздухе. Целая орда татар зачернела на берегу.

Прозвучала громкая команда атамана:

– Челны, ску-у-чь-ся!...

И вытянувшиеся, было, в струнку одной прямой линией струги тотчас же образовали собою огромную площадь, упиравшуюся в оба берега неширокой в этом месте реки.

– На берег вылазть опасно покеда. Под осокой не больно видно. Лазутчиков выслать бы. Пускай дознались бы, сколько там нечисти на берегу, – не то советовал, не то указывал Кольцо Ермаку.

Но тот только угрюмо помотал головою.

– Не хочу ребят зря губить. Попадутся в руки нечисти, не приведи Господь, искромсают, замучают их поганые.

– Ты меня, бачка-атаман, пошли, меня за своего при-
мут и хошь бы што, – предложил свои услуги Ахметка.

Лицо Ермака просияло.

– Ладно, ступай. А мы ждать будем, Вызнай все,
сколько их там привалило, да смотри поаккуратнее и
вертайся скорейча.

Татарин-толмач только головою мотнул вместо от-
вета, вылез из лодки и тотчас же скрылся в густо раз-
росшихся кустах.

Начинало темнеть. Без устали падали стрелы, не
причиняя, однако, сидевшим в челнах казакам особо-
го вреда. Но все же ранили то одного, то другого. Зна-
харю Волку немало досталось работы перевязывать
товарищей. Стрелять из лодок было бесполезно. Кру-
той утесистый берег мешал пулям вылетать по назна-
чению.

К вечеру стрельба татар чуть поутихла. Очевидно,
наступившие сумерки мешали прицеливаться.

– Запропастился собака Ахметка. Чего доброго не
махнул ли к своим. Хошь и наш он, крещеный, а у них
это часто бывает, – произнес неуверенным голосом
кто-то в атаманской лодке.

Но атаман отрицательно качнул головой.

– Нет, братцы, не уйдет Ахметка. Хошь и бесермен,
все же совесть у него есть. Да вот и он! – радостно за-
ключил Ермак, взглядываясь в темному своими зорки-
ми соколиными очами.

И правда, вблизи струга что-то забелело во мгле, и через несколько минут в челн прыгнул проводник-татарин.

– Видал... Выглядел... – залепетал он быстро, – много их... ой, много, атаман-бачка... Видимо-невидимо... А под Бабасанским урочищем, сказывают, втрое боле будет. Сам батырь ихний, сродственник Кучумов, там с добрым десятком тыщей ждет... А и здесь немало... На берег нельзя соваться, – dokonчил взволнованно и быстро свою несвязную речь татарин.

– Ладно... – усмехнувшись значительно проронил Ермак, – а теперь нужно мне, братцы, надежных человек с пять десятков отрядить вона в лес тот, што за утесами чернеет. Придется мимо поганых прокрасться да хворосту набрать в лесу поболее, вязанки так с четыре на человека. А там, как вернетесь, новую работу вам дам.

– Все мы надежные, всех отряди, атаман, – заговорило несколько десятков голосов сразу.

– Ишь, больно прытки. А здесь кто останется? Дурьи головы, выдумали што, – шутливо остановил их Ермак и тут же отрядил выбранных им самим пятьдесят казаков.

– Веди их, Мещеря, да помни, коли откроют вас поганные – конец всем. Вертайтесь скорейча. Забавное нечто узрите, как вернетесь. Право слово, говорю... Ин, как помыслю о том, со смеху помереть можно, – рас-

хохотавшись в голос заключил свою речь Ермак.

Дивному диву дались казаки. Давно они не видели таким веселым своего батьку-атамана. И когда же? В то самое время, как на высоких утесах, лишь только забрезжит рассвет, их всех, пожалуй, расстреляет татарье. Вперед двигаться нельзя – невидимая подводная преграда мешает. Ночью и искать ее в воде нельзя: не приведи, Господи, потопишь челны, как только двинешься вперед, к Кучумке. Почему же так весело атаману, чего смеется Ермак?...

А он так и хохочет, так и зашелся от смеха. И не заметил, как подошел любимец Алеша к нему и просит его:

– Отпусти меня в лес с молодцами, Василь Тимофеич.

Тут только успокоился от смеха Ермак, чутко, тревожно насторожился. Глядит на юношу, руку на плечо ему кладет.

– Пстой, князенька, не зарись больно. Зря нечего храбриться. Будет и на твоей улице праздник, Алексей. Еще поразомнем белые рученьки не в одном рукопашном бою. А там твоя помощь зряшная будет. Да и не приведи, Господи, попадешь в полон, аль убьют тебя, дед твой мне с того свету покою не даст, – серьезно произнес Ермак.

Юноша только вздохнул, но повиновался. Жажда горячего нужного дела захватывала его все сильнее

и сильней с каждым днем. Молодая кровь бурлила. Кровь дедушки, казанского героя, кровь Серебряных-Оболенских, рожденных для блага родины, сказывалась на каждом шагу. Удадь и отвага до краев наполняли все существо Алексея. Помочь по мере сил и возможности грозной, удалой дружине – вот чем билось горячее сердце молодого князя. Чуть не впервые мысленно негодовал он на любимого атамана за то, что тот не пустил его в опасное предприятие. Однако молчал, не смея противоречить ему.

Ночь еще окутывала землю, когда вернулись нагруженные хворостом казаки. Ермак горячо поблагодарил их за спешно и удачно выполненное дело.

– А теперь, ребята, скидавай, что есть лишнего на себе, да свяжи пучками хворост, чтоб не менее пятиста вязанок пришлось, – отдал он новое приказание дружине, – а как свяжешь, обряжай чучела кафтанами да шапками своими, да поаккуратнее, гляди, чтоб из засады показалось поганым, что и впрямь казаки в стругах сидят... А мы тем временем один за другим шасть из лодок в потемках да окружим нечисть бесерменскую и в рукопашную вдарим. С Богом, братушки! Пособляй друг дружке обряжать болванных казаков! – заключил с веселым смехом атаман.

Ему самому прихлась по душе выдуманная затея. Откуда она пришла ему в голову, – темная ли сибирская ночь навеяла, непроницаемая тайга нашептала,

само сердце подсказало молодецкое – Бог весть.

Закипела работа быстро и спешно под мраком ночи. А когда выплыло из-за облаков северное утро, бледным, тусклым осенним рассветом, более похожим на сумерки, нежели на рассвет, осеняя природу, громкий, победный клич всколыхнул сонную тишину реки. Всколыхнул и татарский табор, стоявший на берегу. Со всех сторон неслись сабли наголо, наперевес бердыши и чеканы. Впереди всех Ермак, за ним податаман Кольцо, есаулы Михайлов, Пан, Мещеряк и другие. Кинулись, было, к берегу оторопевшие татары. А там новые полчища казаков сидят, чеканы наперевес. И нет им числа и счета. С барок глядят медные жерла пушек, с бортов стругов – пищали.

– Алла!... Алла!... – не своим голосом взвыли татары и кинулись наутек врассыпную.

Долго потом хохотал Ермак. Хохотала за ним и его грозная дружина, вспоминая, как утекали бритоголовые, испугавшись насмерть чучел из хвоста, наряженных в казацкое платье, и как перехитрил нечестивых Ермак.

Но непродолжительно было радостное настроение казаков. Впереди ждал их храбрый Мамет-Кул с новыми ордами. Впереди ждала их победа или... смерть.

Разбив железные цепи, преграждавшие им путь по Тоболу, двинулись они дальше, отстреливаясь от то и дело тревоживших их с берега татар.

На Усть-озере, на Тоболе легло окруженное высокими холмами урочище Бабасан. Тихое и спокойное в обычное время, оно поражало теперь своим многолюдством. Огромные орды стянулись к этому дикому улусу. До ближайшего селения мурзы Карачи было еще несколько верст, до самого Искера еще дальше. Сюда выслал Кучум своего племянника Мамет-Кула с десятью тысячами чувашей, остяков и киргиз-кайсаков. Воины сибирского султана были вооружены короткими копьями и стрелами. На урочище пригнали стада баранов. Доставили курдюки с кумысом. Пили кумыс, ели баранину царевич и его ближайшие сподвижники и молили Аллу дать им победу над могучим кяфырским батырем Ермаком, слава о котором облетела всю сибирскую землю. Молились и остяки перед своими шайтанчиками и идолами, стараясь умиловить грозного Урт-Игэ и могучего Сорнэ-Турома молитвами и жертвами.

Между другими шаманами находился и Имзегга, брат Алызги. Шаман и воин в одно и то же время, он не упускал случая отомстить ненавистным христианам, так долго державшим в плену его сестру. Упиться кровью этих христиан, отомстить им за гибель стольких храбрых – вот какова была единая цель жизни, не дававшая отныне ни покоя, ни отдыха Имзегге.

Вечерело. По серому осеннему небу расплылось багровое облако, предвестник близкой зари. Вечерняя

молитва была только что прочтена муллою для киргиз-кайсаков и прочих татар-мусульман. Теперь молились остяки, чувашаи и мордва, удалившись в соседнюю рощу, где, развесив шайтанчиков на оголенных суровой рукой осени ветках дерев, и ударяя себя в грудь руками, шаманы плясали вокруг костра, громко взывая и призывая своего Сорнэ-Турома на помощь Мамет-Кулу.

Имзегга стоял поодаль, смотрел на эту пляску и думал:

– Завтра будет сражение с кяфырами, будет кровавая сеча... Сердце не обманывает его, Имзеггу. Недаром великий дух открывает ему такие тайны, которые знает только главный шаман Троицкого шайтана... Он был рожден для власти, Имзегга, он сын Нарымского князя... Но тихая жизнь в улусе отца не привлекала его. Не привлекали также и земледелие, и рыбная ловля, ни охота за медведями и пушным зверем в лесу – обычный промысел остяцких селений. Он, Имзегга, рожден для иной доли, для полной таинственной прелести жизни фанатика-баксы. Где бури жизни – там и он. Когда лет пятнадцать тому назад отец его привел крошку Алызгу во дворец Кучума в подарок ханше Сызге, он, Имзегга, получил новый смысл жизни. Он стал ходить в Искер, приглядываться к новой вере (мусульманской), которую усердно насаждал хан Сибири, и потом бежал в священные рощи и, валяясь как ди-

кий зверь в траве, стоная и плача, заклинал родные остяцкие божества дать почувствовать мусульманам, как не правы они, исповедуя какого-то Аллу. И позднее сестру Алызгу всячески учил Имзегга повлиять на царевну Ханджар – вернуться к вере ее предков, дать возможность познать истинных богов и защитников Сибири – царства ее отца. Но юная Ханджар рьяно исповедывала религию магометан и не поддавалась влиянию своей старшей подруги. И новыми, необузданными фанатическими волнениями горела отравленная душа Имзегги...

Стало заметно темнеть. В эту ночь плохо спал Имзегга. Ему вспоминались последние годы. Вспоминалось как он, князь Назыма и любимец богов – шаман, прокрадывался к острогу проклятых кяфыров, как какой-то жалкий куль карауля пленную сестру в Сольвычегодске. Сколько дивных ночей он отнял тогда от себя, ночей молитвы, бесед с великим духом шаманства в тиши священных рощ!... Кто вернет ему потерянное время?... И все из-за них, из-за белых собак, пришедших в великое сибирское царство... Проклятие и смерть кяфырам!... – шептал он, сжимая в кулаки свои изжелта-смуглые руки и вперяя в темноту ночи горящие, как у кошки глаза.

С первым проблеском денницы струги грозной дружины ударились в каменистый берег Тобола. Под развесистыми утесами приказал их оставить Ермак. Чу-

десно скрытые навесом нагорных возвышений они не могли быть замечены врагами.

Пушкари вытянули с барок три небольшие пушки и с усилием взгромоздили их на утес. Вскарабкавшись туда же за ними и быстрым взором окинув местность, Ермак невольно дрогнул и подался назад.

– Што? Аль недужен нынче, атаман? – поспешив к нему спросил Кольцо с тревогой в голосе и во взоре.

Тот только руку протянул вперед.

– Гляди, Иваныч: что твои мухи облепила ложбину нечисть бесерменская, – произнесли чуть слышно его дрогнувшие губы.

Кольцо кинул взором в указанном направлении и замер от неожиданности. В предрассветном сером тумане горели тусклые пятна огней. Это были костры Мамет-Куловых воинов, черной тучей усыпавших ложбину верст на пять кругом.

– Эк их привалило! – произнес Кольцо, почесывая затылок.

Ермак не ответил. Его лицо было сосредоточено и хмуро. Одни глаза ярко поблескивали из-под сдвинутых бровей. Он долго всматривался ими в даль, в то место, где горели костры и откуда несся шум татарского стана. Потом, не глядя на Кольцо, тихо произнес:

– Коли убьют меня ноне, Ваня, тебе поручаю и великое дело, и дружину мою... Слышь, Иваныч... Доведи молодцов до Искера. Возьми его хошь свинцом да зе-

льем, хошь измором – только возьми... Кучумку в цепях в дар царю пошли вместе с короной сибирской... Да скажи пред всем народом Московским, что просит милостивого прощения у него атаман Ермак... А теперь скликай ребят наших. Пока што не горазд светло, сподручнее подойти к поганым.

– Живи, атаман, пошто о смерти мыслишь... На Бога надейся... Порадуемся еще вместе не раз на земле югорской, – произнес сурово Кольцо и поспешил вниз с утеса готовить к бою дружину.

Тихо, неслышно в сером тумане рассвета двигались ряды Ермаковой рати. Колебались от свежего осеннего ветерка на золотых древках шелковые стяги.

Уже спокойный и обнадеженный, с ясным взором и молитвою в сердце, впереди грозной своей дружины шагал Ермак. Не было больше сомнений в душе лихого атамана. Твердо верил он, что не попустит Господь свершиться неправому делу. Завоевать царство Сибирское, раздобыть хлеба и крова новым поселенцам среди его могучих громад, притушить разбойничьи набеги инородцев и тем дать свободно вздохнуть русским приуральцам, измученным набегами сибиряков, ужли не правое это дело, не добрый замысел, за который отпустит ему все его прежние вины православный народ?

Так думалось Ермаку, и сердце его закипало новой удалью в груди, и бодро, с поднятой гордо головой, с

орлиным взором, прожигаящим даль, шел он вперед во главе своей дружины.

А туман все рассеивался, все таял. Все заметнее и сильнее. Все ближе и ближе краснели кровавые точки костров татарских.

Вскоре заметили и в неприятельском стане приближение Ермака. Всколыхнулась рать Мамет-Кула. Забегали пешие, замелькали конные татары. Говор и шум лагеря наполнили ложбину.

И вот вся эта черная лавина с грохотом, гиканьем и гвалтом помчалась навстречу казакам.

– Стой, братцы! – внезапно остановиваясь крикнул Ермак, – ни шагу дале! Батя, служи краткий молебен! – обратился он к священнику, бесстрашно следовавшему среди воинов с крестом в руке, и первый обнажил свою черную кудрявую голову. Вмиг полетели шапки и с других казацких голов.

– Господи!... Даждь победу и одоление!... – задрезжал среди голых утесов и темной тайги старческий, слабый голос.

И там, где до сих пор бродили идолопоклонники-инородцы да мусульмане-татары, впервые осветила горы, леса и воды речные тихая христианская молитва.

– Ну, а теперь, – по окончании ее, накрывая голову шапкой, обратился к своей дружине Ермак, – Господь вам в помощь, братцы!... Рубись с именем Божиим на устах – и гибель понесем поганым!...

Сказал, и первый бросился вперед навстречу приближающейся Мамет-Куловой рати... Сшиблись враги... Закипела жестокая битва... На каждого из казаков приходилось двадцать, а то и тридцать человек татар. Стрелы и копья, ловко направляемые руками дикарей, вонзались то и дело в ряды казачьей дружины... Им отвечали порохом и свинцом из пицалей и пушек скорострельных. Там и сям валялись воины Мамет-Кула, как подкошенные секирой дубы. Свинец и порох делали свое дело. Но вот кое-где сраженный меткою стрелою повалился и мертвый казак, за ним другой... третий... Еще и еще... Закипело Ермаково сердце... Видит Ермак: пока заряжают пицали да ручницы казаки, неприятельские стрелы так и косят ее ряды.

– В рукопашную, братцы! – прогремел могучим богатырским кликом голос атамана и, выхватив из-за пояса тяжелый бердыш, он ринулся вперед, в самую чащу, откуда так и сыпались стрелы на удалые головы казаков.

– За атаманом, молодцы!... Господь не выдаст!... Бей нехристей!... – вторил ему голос Кольца на всю ложбину.

И грозная дружина по этому призыву любимых вождей вонзилась в самую густую орду татар, где взбешенные враги ждали их с пиками и ножами.

Точно во сне, опьяненный кровью, ошеломленный шумом сечи, махал своим острым чеканом князь Алек-

сей. Вокруг его стоном стонала битва, валились раненые и мертвые воины-инородцы, ножи и сабли скрещивались со звоном, кровь лилась рекою. Вопли «Алла!» покрывались могучим криком «С нами Бог!». И всюду мелькало побледневшее от возбуждения, чудно преобразившееся лицо красавца-атамана, ни на минуту не перестававшего крошить своей турецкой саблей обезумевшего врага.

Ермака видел Алексей, но лица своего названного брата еще не встретил в пылу битвы.

– Где Мещеряк? Где Матюша? – невольно вихрем пронеслось в мыслях князя.

Он повел взором в сторону и... в самом пекле боя увидел Мещеряка. Молодой казак был окружен целой толпой озверевших от боя остяков, уже занесших над ним свои кривые ножи и пики.

В одну минуту Алексей был подле, ловким ударом чекана раздробил череп ближайшему иноверцу, за ним другому. Третий кинулся сам на Алешу, взмахнул огромным копьем, но тут же выпустил его из рук, сраженный ударом сабли подоспевшего к ним Никиты Пана.

– Расквитались, князенька! – успел только хрипло выкрикнуть молодой есаул и снова исчез среди напавших со всех сторон воинов Мамет-Кула.

– Это он про дядьку... Его загубил, мне спас жизнь, – вихрем пронеслось в мозгу Алеши. – Спасибо ему! –

и, желая еще раз повидать Никиту, глянул вперед. Но вместо Пана пред ним уже стоял молодой остяк высокого роста, поджидавший в стороне его приближения с копьем в руке.

Что-то знакомое мелькнуло в лице этого дикаря Алексею. Он сразу не мог сообразить, где видел эти быстрые, маленькие глазки, это широкоскулое, желтое, худое лицо. Но что-то оскорбительное, гадкое показалось ему в этом лице, в этих глазах, выжидающе и нагло смотревших ему прямо в очи.

– Ишь, зеньки выпучил, поганый, – мысленно выбранился князь и тут же невольно вскрикнул от ужаса и душевной боли: молодой казак, опережая его, бросился к остяку с поднятым мечом, дымившимся от крови; тот стремительно поднял копье и, прежде чем казак успел крикнуть, всадил оружие в сердце несчастного. Не помня себя ринулся на остяка Алеша. Но точно из-под земли выросли два огромных киргиза перед ним. Один из них казался настоящим великаном. Обилие золотых украшений на одежде, с горностаевой опушкой колпак и острая сабля (в то время как другие были вооружены копьями и стрелами) выделяли сразу из всей орды татарского богатыря.

– Царевич Мамет-Кул! – вихрем пронеслось в мыслях Алеши. – Ежели убить этого, победа за нами...

И он сам ринулся вперед навстречу татарскому вождю.

Минута... другая... и чекан юноши-князя высоко поднялся над головой по направлению покрытой горностаевым колпаком головы сибирского царевича. Но странно знакомый Алеше остяк, казалось, только и ждал этой минуты. Быстрый прыжок, удар тяжелого копья по чекану – и князь Алексей оказался безоружным среди троих огромных противников-татар. Мамет-Кул махнул рукою и со злостной улыбкой буркнул что-то своим приспешникам на татарском языке. По первому звуку его речи они разом кинулись на Алешу и, прежде чем тот успел крикнуть повалили его на землю и прижали к мокрой от крови траве. В тот же миг молодой остяк турманом упал на грудь Алексея, толстыми ремнями заткнутой за пояс чемги связал его по рукам и ногам, ударом рукоятки ошеломил его и с помощью товарищей выволок из боя.

А бой между тем разгорался все ярче, все грозней. Казаки то отступали к берегу, то с новым ожесточением кидались в битву.

Только поздно ночью прекратилась сеча. Много убитых подобрала дружина в ту печальную ночь и схоронила на берегу Тобола в одной общей братской могиле. Потом сели в лодки и поплыли дальше. Уставшие за день сечи татары не преследовали их. На рассвете же грозная дружина подплыла к прибрежному городку мурзы Карачи и после недолгого боя овладела им, разгромила, богатства Карачи захватила с собою

и двинулась дальше к устьям Иртыша. Там ждала их новая встреча. Сильнейший неприятель ждал их там: Кучум решился до последней капли крови отстаивать свои владения.

Отдохнул от жестокой сечи под Бабасаном и Мамет-Кул и ринулся следом за уплывавшими казаками вверх по берегу реки. Снова тучи стрел и копий засветили в воздухе. Снова с крутого берега обстреливали татары плывущих по реке казаков. Снова выходили на берег казаки и свинец с порохом одерживал победу над стрелами Мамет-Кула.

Но нерадостен был Ермак. Не утешали его победы. Много храбрых его товарищей полегло при урочище Бабасан, а князь Алексей – любимец атамана – пропал бесследно. Подобрали тела товарищей-казаков, но не смогли найти среди них тела молодого князя.

– Ужли в полон угнали? – с мучительной тоской задавал себе вопрос Ермак, и взор его невольно направлялся вперед, где смутной и темной лентой сверкал вздутый, по-осеннему бурливый Иртыш.

Прошли еще сутки и вскоре показался темный силуэт громадного утеса на правом берегу реки.

– Это Чувашья гора, – коротко произнес в своей лодке татарин-проводник.

Все головы, как по команде, вытянулись вперед.

Чувашья гора, а вблизи ее город Искер, столица Кучумова царства, сердце Сибири, венец всех странство-

ваний, потерь и невзгод!... Победа или смерть? Но что бы ни было, смерть или победа, с удвоенной быстротой понеслись навстречу этой победе, этой смерти легкие струги и челны удальцов.

12. УЖАС СМЕРТИ. – КОШКА И МЫШКА. – НЕИЗБЕЖНОЕ

Несметная толпа народа запрудила небольшую луговину, прилегавшую к северному валу сибирской столицы. Неспокойна была эта толпа. Старики, женщины и дети (взрослые мужчины отсутствовали – они все отправились под Чувашью гору поджидать неожиданных гостей), все волновалось.

Толпа махала руками, кричала и с ожесточенными лицами указывала по направлению Кучумовой юрты.

– Хан придет, хан приведет его с собою, и да свершится воля Аллаха! – кричали одни.

– Мы разорвем его на части, проклятого кяфыра... Дай его нам, отдай его нам, свет солнца и дня, могучий хан и отец наш!... – кричали другие.

– Мы ему отплатим за гибель и поражение наших братьев и мужей!... – визжали исступленные женщины.

В стороне, в числе ханских детей, окруженная женами Кучума – своими мачехами, стояла, опираясь на плечо верной Алызги, царевна Ханджар. Ее лицо было бледно.

Заметная синева легла под черными глазами, и теперь эти черные глаза так и горели лихорадочным ог-

нем. Тяжелые дни переживала царица Ханджар. Тяжелые дни переживала сибирская столица, центр всего Кучумова царства. Гонец за гонцом прилетал сюда из Мамет-Кулова стана. Нерадостные вести приносил каждый гонец. Бабасанская битва при урочище была проиграна. Кяфыры одолели и тут. Правда, храбрый Мамет-Кул не терял русских из вида и настиг их снова у самого Иртыша. Здесь напали опять на Ермаковские струги батыри Искера, тучею степной осыпали, бросали без счета копья. Но пищали кяфыров отражали все нападения, палили и жгли огнем и дымом. Городок Карачи разгромили, разогнали полчища царевича с берега и неустрашимо плывут все вперед и вперед. Того и гляди вечером доплывут и сюда. И, как на зло, по улицам Искера, как желтые скелеты, скачут баксы и гнусливыми голосами, вопя и стеная, пророчат гибель всему сибирскому ханству.

Сегодня на заре прискакал Имзегга – остяцкий шаман – прямо от Мамет-Кула. И не один прискакал. На крупе его гнедого скакуна, весь перетянутый ремнями, лежал пленник. Его отвели в юрту хана, едва укрыв от мести разъяренной толпы. И вскоре ближайший вельможа Кучума вышел к народу объявить ему, что хан отдает на потеху пленника-кяфыра...

Диким ревом восторга отвечала толпа на это. Глаза, сверкающие жаждою мести, так и впились в юрту, из которой должен был показаться с пленником Кучум.

Ханджар вместе с прочими не отводила взора, горевшего ненавистью и любопытством.

Она никогда в жизни не видела кяфыров – врагов своей родины, своего угрюмого и в то же время роскошного, сибирского царства. Они казались ей чем-то чудовищным и страшным и еще более безобразным, нежели ее жених Мамет-Кул, нежели те черные духи, которых старались умиловить баксы по повелению отца. Напрасно Алызга, в продолжении шести лет своего плена жившая у русских, старалась уверить свою госпожу, что русские такие же по виду люди, только с белой кожей. Царевна Ханджар не решалась поверить ей. И теперь, несмотря на бессонные ночи, плач и стенания окружающих, не могла победить своего любопытства красавица, вышла поглядеть на пленника, а заодно и насладиться видом мщениия разъяренной толпы. Кровожадная и мстительная, настоящая дочь своего дикого племени, Ханджар горела лихорадкой ожидания.

Но вот сильнее загалдела толпа... Вытянулись головы... Поднялись кулаки... Послышался визг женщин... Проклятья стариков...

– Смерть кяфыру!... Смерть убийце, губителю наших батырей!... – пронеслось по луговине.

Медленно подвигался окруженный муллами и мурзами Кучум. Его любимец, старик Карача, и другой любимец, молодой еще Атик-мурза, городок которого был

расположен вблизи Искера, на берегу Иртыша, вели под руки хана. За ним двигалась свита. На длинном ремне, каким гоняют лошадей в табунах, Имзег вел пленника. Ханджар так и впилась в него глазами.

Его лица не было видно, оно было потуплено в землю, но к удивлению царевны это был такой же человек, как и все люди. Ошеломленная неожиданностью Ханджар приложила руку ко лбу, защищая глаза от солнца и пристальнее взглянула на приближавшегося. Взглянула и замерла от неожиданности. Тот поднял голову. Такого лица, исполненного благородной осанки и презрения к смерти, мужества и отваги еще никогда не приходилось встречать среди своих соплеменников царевне Ханджар. Не только во сто крат краше ее жениха Мамет-Кула, но и красавчика Алея, славившегося своим пригожеством на весь юрт, казался пленник. Русые кудри его золотило солнце. Синие очи сверкали как звезды. Белее белых саванов Сибири казалось молодое лицо...

Что-то невольно ущипнуло за сердце Ханджар... И такого красавца убьют!... В это пригожее лицо вонзятся стрелы и камни!... А между тем этот юноша мог бы быть лучшим «кулом» в юрте ее отца...

Ханджар хотела было поделиться этой мыслью с Алызгой, как та первая звонким шепотом зашептала ей в ухо:

– Это он, царевна моя, это он...

– Кто он? – вздрогнула отнеожиданности молоденькая ханша.

– Тот, кто спас меня... хоть и не по своей воле... тот, кто помог мне спастись и бежать... – по-прежнему волнуясь сообщила Алызга.

Это был действительно он, Алеша.

Оглушенный при Бабасанской сечи ударом ножа Имзеги он упал со звоном в ушах, потеряв сознание. Он не помнил и не чувствовал, как его привезли в Искер на солнечном восходе и очнулся только от рева толпы, окружившей на площади их коня. Чуть живого от усталости и разбитого нравственно и физически, втолкнул его молодой остяк в отверстие юрты. Тепло от шора, запах кислого молока, кошмы и звериных шкур – все это сразу обдало Алешу и вернуло его к действительности. Перед ним на шкуре белого медведя сидел старик. По мутным незрячим взорам, по величавой осанке и особому головному убору, рознившимся от уборов остальных татар, наполнявших юрту, Алексей понял, что перед ним Кучум.

Хан сделал ему знак приблизиться, но князь не двинулся с места, только горделиво повел глазами на окружавшую хана толпу вельмож. Тогда старый морщинистый татарин, живший долго в плену в Сольвычегодске и снова убежавший на родину, перекинувшись словами с Кучумом, обратился к Алексею на ломаном русском языке:

– Драгоценный алмаз душ наших, повелитель Искера приказывает тебе, кяфыр: поведай, сколько воев у вашего батыря Ермака и как палить огнем и дымить вон из этой игрушки, – и он передал ему взятую из рук находившегося тут же Имзеги пищаль.

Очевидно, последний подобрал и унес ее с поля битвы.

Алексей только презрительно пожал плечами и проговорил, вперив в вопрошавшего смелый взор:

– Передай твоему хану, холоп, што не токмо что не покажу ему, как наши пищали палят, а и говорить-то с им, нехристом, не желаю... Пускай убивает и мучит сколько ему в душу влезет, а о батюшке-атамане и его дружине грозной – умру, не обмолвлюсь поганому Кучумке твоему... Так и передай.

Передал или боялся передать всю доподлинную, смелую речь пленника толмач, но только загалдели разом люди в юрте. Встрепенулся слепой хан и отдал новое приказание.

С криками и шумом высыпала на площадь свита.

– Ты будешь на куски разорван женщинами и стариками!... – бешено сверкнув на него глазами прошипел толмач.

Имзега дернул за ремень и связанный князь поневоле должен был двинуться туда, куда повлекли его, как скованного зверя.

Бешеные крики собравшихся на луговине людей, во-

пли и проклятия, искаженные нечеловеческой ненавистью лица, все это ошеломило юного князя.

– Смерть кяфыру!... Смерть ему!... Отдай его нам на потеху, любимец Аллы, могучий из ханов мира!... Дай его нам на потеху, Кучум!... – вопила, стенала, волнуясь, опьяневшая от злобы толпа.

Алеша не мог понять этих криков, но он не мог не отличить в то же самое время, что ничего доброго не предвещали они.

Бледный, но спокойный ожидал он своей участи. Неизбежная смерть грозит ему – в этом он был уверен. Но смерть не была страшна молодому князю. Правда, не хотелось умирать, не успев свершить задуманного дела, но Алеша верил, что посильная жертва была уже принесена им там, на урочище Бабасан. Верил и в то, что его жизнь не останется не отомщенной, дружина возьмет с Божьей помощью Искер и казаки жестоко отплатят за гибель своего любимца... А все же тяжело умирать... Образ голубоглазой Танюши, словно въявь, снова стоит перед ним... Не вернется он к ней, желанной... Не увидит больше ее... «Прости, Танюша... Прости, любя моя... Не поминай лихом... И ты, удалой богатырь Ермак, и ты, Мещеря, братик названный»... – шепнули чуть слышно губы Алеши, и он стал мысленно читать короткую молитву. Потом, успокоенный, поднял горделиво голову и стал ждать. Ждать недолго пришлось. Несколько старческих рук поднялись с луками,

вооруженными стрелами. Снова пронесся разъяренный вопль по толпе, и тетивы звякнули, натянувшись. Прозвенела первая стрела. Она пронеслась мимо самого глаза пленника, на полдюйма от черных ресниц Алексея.

Он вздрогнул невольно.

Уж убили бы разом... Нет, допрежь так искалечить хотят... – с досадой и болью стучало его сердце.

Вновь зазвенела тетива...

Алексей, подведенный одним из окружающих Кучума воинов к высокому кедру, увидел, как щурясь от солнца, коренастый старый кайсак метит ему прямо в сердце.

– Смерть... Сейчас... Сию минуту... – вяло проработал его мозг, и он невольно закрыл глаза.

Вдруг что-то неожиданное прозвучало на площади Искера.

– Отец!... Заставь их перестать!... – не помня себя вскричала Ханджар, кидаясь со всех ног к Кучуму. – Не позволяй убивать его, во имя Аллаха!... Я хочу сделать его своим кулом, рабом, отец! Он будет убирать твою юрту и кормить, и чистить наших коней... – и, заметно побледневшая от волнения, она прижалась горячим лбом к костлявой желтой руке Кучума.

Когда что-нибудь просила Ханджар, нельзя было отказать ей в ее просьбе. Грациозной, ласковой кошечкой прильнула она к груди отца. Маленькими, нежны-

ми, холеными пальчиками гладила она его морщинистое лицо. Под этими ласками невольно расцвели суровые черты сибирского хана. Без памяти любил свою царевну-дочку старый Кучум. От любимой покойницы-жены, красавицы Сызгэ, осталась ему Ханджар-царевна. Он обожал когда-то Сызгэ. Он выстроил ей город Сызгэ-Тура [Сызгэ-Тура – женин город, нынешние Сыгунские юрты] близ Искера и переселил туда свою красавицу-ханшу, подальше от завистливых и злобных других жен, невлюбивших за красоту чаровницу Сызгэ. И вся любовь его к покойной перешла на дочку. Не было просьбы, казалось, в которой бы отказал старый хан своей любимице Ханджар. И вот, под влиянием ласк царевны, все более и более размягчалось суровое сердце Кучума.

– Отдай мне белого кула, отец!... – лепетала красавица. – Отдай мне его!...

– Бери, око жизни моей... Бери, дикая роза Ишима... – произнес слепой старик, кладя свою высохшую, как пергамент, руку на благоухающие кудри Ханджар, – дарю тебе пленника, царевна моя...

Резким, гортанным, победным криком вскричала Ханджар и, подпрыгнув как дикая лосиха, очутилась подле недоумевающего Алексея. Его глаза широко раскрылись при виде черноокой девушки, что-то оживленно толкующей на непонятном ему языке. А она между тем вырвала из-за пояса близ стоявшего бра-

та нож и в один миг перерезала ремень, стягивающий члены пленника.

– Ты будешь жить... Отец подарил тебя мне, я дарю тебе жизнь... – не без гордости произнесли ее алые, как кровь, гордо изогнутые губы.

Но тут, как из-под земли, вырос перед ними Имзег.

– Пстой, царевна. Неладное затеяла ты. Это мой пленник. Я привел его к хану. И хан не может отдать тебе чужую добычу, царевна Ханджар, – резкими звуками вырвалось из груди молодого шамана.

Красавица вздрогнула, вспыхнула, топнула ногою. Вся кровь прилила к ее лицу.

– Отец!... Отец!... Что же это!... Кто смеет нарушить слово твое!... – так и отпрянула она снова к Кучуму, расталкивая окружавших ее людей.

Теперь невольное смятение отражалось на незрячем лице повелителя Сибири. Его чуткое, как и у всех слепых, ухо уже успело уловить речь Имзеги. В тот же миг и сам Имзег предстал перед ним. Его глаза сверкали. Лицо было бледно, как смерть, от гнева, бешенства и плохо сдержанной злобы.

– Великий хан!... – произнес он, весь трепеща от охватившего его порыва, – будь справедлив до конца. Отдай мне добычу, которую твоя дочь-царевна хотела взять от меня... Я схватил этого пленника у Баба-сана... Он мой, повелитель Искера и всего сибирского юрта... Будь справедлив...

Он говорил смело с ханом, как равный. Свита Кучума почти с ужасом вслушивалась в его слова. Вот-вот, казалось, поднимет руку с копьем слепой Кучум и насмерть поразит дерзкого шамана. Но, странно, чем смелее становилась речь Имзеги, чем требовательнее делался его тон, тем более и более прояснялось лицо Кучума.

Ему давно нравился молодой остяцкий князь. Нравился настолько за свою бескорыстную службу при дворе его, Кучума, что он позволил ему и сестре его Алызге исповедывать их языческую веру, он, Кучум, сам ревностный мусульманин и всюду вводивший веру магометанскую! Бесстрашие и искренность молодого шамана из рода Назымских князей окончательно покорили хана. Он произнес:

– Ты прав, Имзега, добыча твоя... Бери пленника... Он принадлежит тебе по праву... Ханджар, сердце сердца моего, сверкающая звезда моего слепого ока, не горюй... Много тканей из шелка, много чепанов, каких нет ни у одной ханши в мире, велю я выменять тебе у бухарских купцов вместо живого подарка.

И тут же, обращаясь к разом просиявшему остяку, спросил:

– Но скажи мне, Имзега, что ты сделаешь с ним?

– Я принесу его в жертву великому Урт-Игэ, чтобы умилостивить грозного духа, великий хан... Кяфыры недалеко... Кяфыры плывут к Искеру, но великие духи

открыли Имзеге, что если умилостивить грозного Урт-Игэ, сына великого Ун-Тонга, он прикажет своим менагам и кулям потопить вражеские лодки и схоронить на дне Иртыша русских батырей и воинов, – вдохновенным голосом вскричал молодой шаман.

– Велик Аллах и Магомет, пророк его! Ты несешь добрые вести, Имзеге!

– произнес Кучум и радостным светом озарилось на миг его мрачное, суровое лицо.

Имзеге низко поклонился хану, и, грубо дернув за ремень, связывающий руки пленника, поволок его за собою.

Едва переступая от усталости, Алексей двинулся за ним.

Близ ворот, сложенных из камня, находилась небольшая скала, как бы отпрыск гигантской Чувашьей горы, находившейся дальше. Небольшое отверстие вело в пещеру. В этой пещере жил Имзеге. Здесь лежали шкуры убитых зверей, висели на стене принадлежности шамана, лебедь-домбра, бубен и длинные спицы вроде щита. Лежал и пестрый наряд из разноцветных лоскутьев. Имзеге надел цепи, лежащие тут же в углу и как бы нарочно приготовленные, на руки Алексея. На этих цепях Имзеге держал когда-то ручного медведя. Теперь они понадобились для другой цели...

При помощи каменного молота он приковал своего

пленника к стене пещеры.

Слабый свет, проникавший сюда извне, освещал злобное, торжествующее лицо шамана.

Он бормотал какие-то слова себе под нос. Проклятия ли это были или молитвы – Алексей не знал, но лицо его нового владельца делалось все страшнее и жестче с каждой минутой. А Имзег между тем все бормотал, поскрипывая зубами.

– Сиди, собака... Сиди всю ночь и думай о Хала-Турме, где шайтаны давно скучают по душе твоей... Пойду помолиться великому Урт-Игэ... Зажгу костер в честь всесильного... И когда он сгорит во славу его, принесу горячих угольев в пещеру, разведу огонь, заложу выход, очищу дымом священным нечистое тело твое, чтобы великому Урт-Игэ не противно было принять нечистую жертву...

Затем, сняв со стены бубен, ударил в него и стал медленно ходить по пещере, напевая уныло остяцкую песню.

Ни его речи, ни его песни не понял, не мог понять Алексей. Да если бы и понимал он по-остяцки, то теперь бы не мог различить слов Имзеги.

Усталость, голод, пережитые душевные муки, все это сделало свое дело. Юный пленник опустился на колени, прислонился к стене пещеры и не то забылся, не то уснул.

13. НОВОЕ ЧУВСТВО. – В КАМЕННОЙ МОГИЛЕ. – ОТКАЗ

Удивительно странные грезы витают в эту ночь над головой Ханджар. Белый юноша с синими глазами, со смелой, мужественной осанкой – юноша-пленник, которого она впервые увидела накануне, не покидает ее ни на минуту. Он, точно живой, стоит в ее грезах, этот красивый, стройный, белый юноша, не похожий на его татарских сверстников... Что-то новое пробудилось в сердце Ханджар. Оно то сладко замирает в груди, то бьется усиленно, шибко... Сделать что-либо для этого юноши, чтобы увидеть благодарно обращенный на нее его синий взгляд – вот каким странным желанием билось гордое сердце Ханджар и не дает ей ни сна, ни покоя...

Не спится царевне... Темнота царит кругом. Только красные уголья тлеют на потухающем шоре. Тут же у ног ее раскинулась Алызга. Через отверстие ченарока [род окна для дыма над шором] царевне видно темное небо и звезды на нем, виден и куш-юлы [Млечный путь], знакомый ей издавна. О нем ей не раз говорил ее слепой отец и Алызга. Алызга молится куш-юлы. По мнению остячки куш-юлы – это дорога к престолу Сорнэ-Турома. Но сегодня серебристо-зеленые огонь-

ки словно изменили свой облик: они кажутся царевне синими очами... Это _е_г_о_очи. Она узнает их из тысячи других... Как острые пики впиваются ей в мозг докучные мысли. Что если повидать синеокого пленника, увести его от Имзеги, схоронить до поры до времени? О, какое счастье будет тогда ей, Ханджар!... Она чувствует теперь, она понимает, что этот пленник стал ей дороже братьев и отца, дороже сестер. Молнией, с первого же взгляда, ворвалось в ее сердце какое-то странное, непонятное чувство к нему, – странное, но в то же время счастливое... О, она не расстанется со своим счастьем! Она освободит этого синеокого, уговорит его уйти, скроет его... А потом, позднее, прикажет белому кулу стать мусульманином... Разве он осмелится ослушаться ее, царевны Ханджар, воспеваемой всеми кайсацкими баксами и певцами?...

Птичкой вспорхнула Ханджар с груди кошм и ковров, свитых вместе и служивших ей постелью. Ее мысль между тем быстро мчалась все дальше и дальше... «Он», синеокий пленник, станет мусульманином, отец сделает его своим ближним корочей, даст ему табунов и кибиток вдоволь, сделает его богатым и знатным – и станет синеокий витязь ее мужем-повелителем, ее лучшим другом навсегда... «Ему» она покорится, она, Ханджар, не покорявшаяся доселе никому в мире... Мамет-Кулу откажет отец. Мамет-Кул осрамил поражением его седины и ему не видеть Ханджар женою сво-

ей...

Глаза Ханджар горели, лицо смутно белелось в темноте юрты. Сердце билось в груди как птичка...

– Проснись, бийкем!... – шепнула она свернувшейся котенком в ее ногах Алызге. – Проснись скорее! Ты должна идти за мною...

Алызга с быстротою лани вскочила на ноги.

– Что надо царевне?... Отчего не спит солнце и лучи души моей?... – недоумевающе спрашивала она, протирая сонные глаза.

Ханджар быстро наклонилась к ее уху и, волнуясь, зашептала ей свою смелую мысль.

Не говоря ни слова Алызга покорно наклонила голову, закивала ею, и первая тенью выскользнула из юрты. Царевна бросилась за нею.

По пути остячка говорил:

– Должно быть пленника увел в свою пещеру брат Имзегга. Пока не встанет заря на небе, мой брат не предпримет ничего дурного. Я знаю его обычай... Он молится по ночам Урт-Игэ в священном месте рощи... Мы можем спокойно теперь пробраться к его жилищу.

И обе – царевна и ее верная подруга – ускорили шаги. Миновав соседние помещения своеобразного дворца Кучума и ближайших юрт его вельмож, они проскользнули за городскую насыпь и вскоре очутились у знакомой пещеры, куда не раз ходила к брату княжна Алызга.

В темноте ночи им слышался смутный гул со стороны Чувашьей горы. Под нею копошились воины, стянутые сюда со всего Кучумова царства для защиты столицы. Сам Кучум все последние ночи с муллами и корочами проводил в молитвах на вершине горы. Там пылали костры и мусульманские священники тягучей, как грустная песня, молитвой призывали милость Аллаха. Ждали русских каждый день, каждый час, каждую минуту. Воины были наготове, чтобы достойно встретить дерзких удальцов.

– Гляди!... Вон пещера Имзеги!... – тихо произнесла дрогнувшим голосом Алызга.

Ханджар встrepенулась. В двух шагах от нее зияющей пастью чернела пещера. Алызга незаметно проскользнула туда, Ханджар за ней. Зная все закоулки жилища брата, остячка стала хозяйничать там впотьмах. Она отыскала ощупью трут, высекла огня, засветила жировую плошку, выдолбленную из черепа убитого волка, и вскоре осветилась внутренность пещеры. Прикованный к стене Алексей спал. На его измученном, но по-прежнему красивом лице играла счастливая улыбка. Он видел во сне тенистый сад в Сольвычегодске, качели и ее, Таню, веселую, милую, щебечущую ему что-то...

– Проснись!... Проснись!... – слышит он ее смеющийся голосок.

«Что это? Аль и впрямь уснул он ненароком под те-

ню орешника в Строгановском саду?» Он хочет протереть глаза, поднимает руку и тут же в бессилии опускает ее.

Загремели докучные цепи... Этот звон окончательно привел его в себя. Он проснулся... Ни сада, ни орешника, ни голубоглазой Танюши. Перед ним внутренность пещеры – жилище остяка. Две женщины или девушки стоят перед ним. Он вглядывается в одну из них, и невольный крик вырывается из его груди:

– Алызга!... Вот где привелось повидать тебя, змею-обманщицу! – с ненавистью вскричал Алексей, вперяя в остячку негодующий взгляд.

– Полно, батырь, полно, – засмеялась Алызга, – сами боги посылают к тебе меня... Ишь, што вспомнил! То, что давным-давно быльем поросло, – своим ломаным русским языком говорила дикарка. – Ты дал когда-то свободу Алызге, и Алызга пришла отблагодарить тебя... Слушай меня внимательно, батырь...

И, усевшись на корточки перед скованным Алексеем, она заговорила, быстро-быстро роняя слова:

– Взгляни, батырь, вон стоит царевна Ханджар. Она глядит на тебя... Знаешь, почему глядит?... Полюбился ты ей, алактай русский, пуще звезды полночной, пуще волны речной, пуще всей жизни своей... Слушай, батырь: на смерть обрек тебя, видно, брат мой Имзегга... Видно на смерть, коли, как пса, приковал к стене... На заре убьет тебя Имзегга... Сердце Алызги так гово-

рит... Такого молодого батыря убьет!... Такого красавца, какого нет в Ишимских степях, до самого Тибета нет!... Батырь, рано тебе умирать... Другая ожидает тебя судьба... Слушай, батырь: здесь стоит царевна Ханджар... Нет такой красавицы промеж ваших девушек. Нет таких черных огневых очей у кяфырских дев... И она, царевна, самоцветный камень, алмаз Искера, отличила тебя... Она выбрала тебя... Приказывает тебе царевна принять мусульманство и стать ее женихом... Мы собьем с тебя цепи, и ты будешь свободен сейчас же, как вольный сибирский орел... Будешь ближним человеком хана, будешь мужем царевны, займешь почетное место у трона его...

Окончила свою речь Алызга. Пронзительным взором метнула и – отпрянула назад.

Бешенством и злобой сверкали глаза Алексея. Недоумением и гневом пылало его лицо. Руки – конвульсивно сжались в кулаки. От бессилия и возмущения разрывалось сердце.

– Молчи, змея!... – крикнул он хрипло, весь подавшись вперед. – Молчи, дьявол-соблазнитель во плоти человеческой!... Чем искусить мыслила?! Да нешто я... да... нешто!... Слушай ты, агарянка поганая, передай твоей царевне, что не хочу я ваших почестей и счастья и вовек не изменю вере моей православной... Не надо мне ни жизни, ни свободы, коли такой ценой будет куплена она... Смерти не боюсь... Господа сво-

его не продам, а на твою царевну лупоглазую глядеть не желаю... Есть у меня невеста в Сольвычегодске, Танюша моя, и мою кралю любимую ни на каких царевен Искера не променяю... Слышь!... Запомни же поладнее все то, што поведал я тебе...

– Что сказал тебе батырь русский? – видя негодование, охватившее пленника, так и бросилась к Алызге Ханджар.

Та угрюмо потупила свои маленькие глазки.

– Не хочет он ни любви твоей, ни свободы, радость жизни моей... – прошептала она.

Побледнела, как снег, Ханджар.

– Так пусть умрет! – вскричала она бешено. – Пусть убивает его Имзег!... Да проклянет его Алла на веки веков! – исступленно топнула ногою.

Едва успела она досказать последние слова, как гулкий пушечный раскат пронесся со стороны реки над Искером и замер вдали, за горой.

За ним другой... третий...

– Палят, как будто, у городка Атик-мурзы, – прошептала Алызга, впиваясь в руку царевны дрожащей рукой.

– Горе нам!... – вскричала Ханджар, трепеща всем телом. – Берут городок мурзы!... Возьмут и Искер кяфыры!...

– Искер не возьмут!... Батыри наши охранят его... Десятки тысяч их собраны под горою... Великий дух

оградит нас от несчастья... – убежденным, твердым голосом произнесла Алызга.

Гул на Чувашьей горе между тем все усиливался. Искер проснулся совсем и зашумел. На площадь его высыпали мирно спавшие старики и дети, разбуженные пальбою.

И вот, со стороны горы, откуда были видны окрестности как на ладони, побежали люди.

– Городок Атик-мурзы взят русскими!... Молитесь Алле, да даст он победу над кяфырами нашим батырям!... – вопили они.

– Идем скорее... Вон бежит сюда Имзег... Нехорошо, ежели застанет нас здесь... – произнесла Алызга, хватая снова за руку Ханджар и увлекая ее за собою. Но та и сама уже летела стрелою по направлению горы, на которой был ее отец.

Алызга отстала немного, замедлила свой шаг и остановилась. Она не солгала царевне: ее брат быстро приближался к пещере. Лицо его было сумрачно и сурово. При свете выплывшего месяца он казался бледным и утомленным. Огромный пук хвороста был на его плечах. Не желая быть замеченной Имзегой, Алызга скользнула за куст боярышника и с замиранием сердца следила, что будет дальше. Из ее убежища ей была хорошо видна внутренность пещеры.

Имзег, между тем, торопливо вошел в жилище, сбросил пук хвороста на землю и тут только заметил

горящую плешь на полу пещеры. Безумная, фанатическая радость охватила его лицо.

– Великий Урт-Игэ, ты дал добрый знак! – вскричал он в голос. – Ты сам послал огонь, очищающий жертву. Да свершится воля великого духа!... Пленник, ты умрешь сейчас!... – заключил он торжественно, обращаясь к скованному Алексею.

Тот не понял слов шамана. Но когда последний, сложив из принесенного хвороста костер у его ног, вылил на него масла, пленник разом понял весь ужас своего положения.

– Живым ладит сжечь... – вихрем пронеслась его мысль, и волос дыбом поднялся на его голове...

Умереть здесь, сейчас, внутри этой ужасной пещеры, казалось таким чудовищным ему, молодому, сильному, полному мощи и здоровья юноше!...

Между тем костер занялся... Огонь поднимался выше... Он уже коснулся кафтана князя... Цепи, сковавшие ноги, нагрелись и раскаленными звеньями жгли его, смрадный дым душил горло, ел глаза...

А сам Имзег закружился, как бешеный, вокруг костра. Вот он схватил со стены бубен и, ударяя в него, завертелся на одном месте.

– Великий Урт-Игэ! Прими мой дар!... – хриплыми звуками срывалось с его уст, пока, наконец, грянув в конвульсиях на пол, чуть живой от усталости, он не потерял сознание.

Огненные языки уже лизали Алексея. Одежда на нем занялась в нескольких местах.

Имзегга, лежа на полу, не подавал признаков жизни. Этим мгновением воспользовалась Алызга. Быстрее молнии рванулась она в пещеру, схватила потники и кошмы, сваленные в углу, и в одну минуту затушила костер. Потом забросала ими загоревшиеся одежды Алексея и, когда они перестали тлеть, взяла его за руки, подвела к выходу пещеры и сказала:

– Ты дал мне когда-то свободу, батырь, теперь благодарная Алызга отплатила тебе тем же и спасла тебя... Беги к своим, пока брат Имзегга не проснулся... Но берегись попасться снова на глаза Алызге... Алызга – женщина и как женщина слабее тебя, мужчины... Но бойся ее, батырь... Велик гнев Алызги... Узнай, батырь, стрелы ее бьют не хуже стрел первого алактая... За унижение моей госпожи, царевны Ханджар, сумеет отплатить кяфыру Алызга... – заключила она дрожащим от волнения голосом.

Алексей слабо улыбнулся.

– Не больно-то страшны твои угрозы, Алызга, – произнес он. – Я слаб и безоружен... У тебя в руке нож... Ударь меня им, коли чувствуешь в себе правоту... Но помысли о том: отвернулась бы ты от твоих богов, Алызга, от родины и кровных, когда бы враги твои пожелали того?... Слышишь меня, Алызга?...

Она только блеснула своими маленькими глазами в

ответ.

– Ступай, не то накроют наши... – шепнула она, быстрым, ловким движением раскрыла замок ржавых цепей на руках Алексея и скрылась в кусты.

Алексей поднял голову к небу. Ласковые звездыглянули на него, словно радуясь за него, словно подбодряя. Он перекрестился истово и, придерживаясь руками за встречные деревья и кусты, поплелся вперед, наугад, едва передвигая ослабевшие ноги.

14. СВЕТЛОЕ СЛОВО. – ВОСКРЕСШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ. – КРОВАВАЯ БИТВА

Какая темная и непроглядная осенняя ночь!...

Сквозь приподнятую кошму иссыка видны другие юрты и скат к реке, и темное небо с мириадами золотых очей. Огни на небе и огоньки на земле... Огоньки мелькают и внизу... это не спят казаки, взявшие в сумерках городок Атик-мурзы и разгромившие его богатства. В юртах татарского князька расположились они отдохнуть перед последним боем. Кровавым и страшным будет этот последний решающий и решительный бой. Под Чувашьей горой, на засеке, копошились Кучумовы воины. Еще до сумерек увеличилось, возросло почти вдвое их число. Это Мамет-Кул со своими батырями присоединился к защитникам Искера. Костры неприятельского стана пылали ярко. Шум и гул их голосов неся по реке. В наскоро сложенной юрте, на вершине Чувашьей горы, устроился Кучум со своими мурзами и муллами, чтобы следить с высоты утеса за ходом битвы.

Не тихо и внизу, в только что взятом с боя городке Атик-мурзы. На площади его и в юртах, и на береговом скате разместились Ермаковская дружина. Го-

ворают громко, спорят бурно. Слышны возгласы, крики. Чуть не до Чувашьей горы долетают они. Мертвого они разбудят, не то что встревожат живого.

– Не ладно дело затеял атаман... Нешто можно так-то?... Нас мала горсточка, а их вона, што комаров о летнюю пору, – звучали все настойчивее и сильнее голоса казаков.

– Вестимо дело: не одолеешь... Перебьют нас за милую душу... Косточек не соберешь...

– Вот бы ночью-то, покаместь тьма кромешная стоит, сесть бы в струги ладненько да и отвалить к Тоболу, – нерешительно заметил чей-то голос.

– Вестимо, отвалить... Давай обрядим это дело, ребята... Собирай круг, молодцы, – подхватили другие голоса.

– Без атамана-то круг собрать?! Штой ты? Аль очумел, паря!... – останавливал Мещеряк расходившегося казака.

– А о чем атаман-то мыслит?... Чего ждуть?... Какое ему рожна еще надоть?... Набрали богачеств у поганных, навоевали их именья, да и буде... Вспять можно, пока не перебили нас всех... Гляди, полегло уж сколько из дружины... Да и патроны у нас почти што все... Атаману што: он бобыль, сирота круглая, а у нас бабы в Сольвычегодске оставлены, за два-то года тамошнего житья переженились многие, ребята кой у кого малюточки, тоже жалко...

– И то жалко... На што и Сибирь нам, коли жисти решиться, – подхватывали все новые и новые голоса.

И вскоре настоящий бунт вспыхнул на кругу. Напрасно Кольцо и его помощники перебежали от одного к другому, успокаивали, уговаривали и убеждали – ничего не помогало. Страх, как спрут, охватывал, дружину своими липкими, отвратительными щупальцами и держал ее как в тисках.

Дружина роптала.

– Не хотим под ножи поганых!... На утек пойдём!... – кричали казаки.

Бледный, с трясущеюся челюстью кинулся в юрту Ермака Матвей Мещеряк.

– Выходи, атаман... Сладу им нет... Бунтует дружина... – неожиданно, точно вырос он перед задумчиво сидевшим на кошке Ермаком.

Быстро, в один миг, очутился атаман в кругу дружины.

– Кто дозволил круг собрать?... Кто галдеть зачал?... – грозно прогремел его окрик.

И горящими глазами он обвел круг.

Все разом стихло, как по мановению волшебного жезла.

– Братцы! – прозвучал после недолго молчания хорошо знакомый каждому казаку голос Ермака. – Куда бежать нам, ребятушки?... Время осеннее... позднее... Гляди, лед на реках смерзать зачинает... Стру-

ги засосет... А и пусть бы проплыли благополучно, так нешто худая слава за нами не поплывет?... Вспомним, братцы, что честным людям обещали, чем русскому народу православному да царю-батюшке заслужить хотели... Нет, не вернемся вспять... Не положим укоризны на себя бегством нашим... Ударим с Божьей помощью на засеку с рассветом. Стыда не примем... И да поможет нам Бог, и память о нас не оскудеет, и слава наша вечна будет...

Сказал и обвел взором дружину. Глядит и ждет. А уж казаки не те. Бледные лица подняты на него с уверенностью в победе и горят вдохновенной верой, надеждой...

Еще минута и победным звуком вырвался клик могучий, как рев пороха, из многих десятков грудей:

– Идем на Кучума!... Все до единого идем!... Прости, атаман!... Пусть не оскудеет память о нас, и слава нам вечно будет!...

– Спасибо, ребятушки!... А теперь отдохните малость. На рассвете жаркое дело предстоит, – тепло и радостно откликнулся атаман. – Да сторожевых поставить распорядись, Иваныч, – обратился он к есаулу.

Тихо разбрелись по юртам казаки. Тишина воцарилась в городке. Только сторожевые обычным окликом «слу-у-у-шай» по временам нарушали ее.

Матвей Мещеряк добровольно занял пост одного из постовых казаков, отпустив спать последнего. Ма-

твею не спалось все равно в эту темную, непроглядную осеннюю ночь. Смутно реяли думы в темнокудрой голове недавнего разбойника. Невеселые думы. Участь названного брата непоправимым укором легла ему на совесть... Не уберег он, не доглядел, попустил погнать его, Алешеньку, окаянный... Эта мысль точно камнем упала Матвею на грудь и давила, давила нестерпимо. Особенно угнетало его то, что, несмотря на поиски, он не мог найти между убитыми трупа Алеши. Даже Агашу забыл теперь Мещеряк, забыл и обещание свое принести ей богатые подарки, награбленные из татарских юрт... Перед ним стоял окровавленный призрак его юного друга и брата. Красивые синие глаза Алеши с укором, казалось, глядели на него...

– Не доглядел... не уберег... – шептали беззвучно ссохшиеся от внутреннего волнения губы Матвея.

Он взглянул на небо. Там было хорошо. Золотые звездные огоньки-очи мерцали, мигая с какою-то умиротворяющей лаской на темень земли. Но они не приносили должного облегчения душе Матвея. Он перевел взор на реку. Река стонала. Легкий слой льда, сальца, хрустел и ломался в ночной тиши. Прибрежные кусты осоки тянули безобразные, в темноте принявшие чудовищные очертания, крутые ветви... Что-то темное копошилось под одним из них. Матвей невольно дрогнул.

– Никак татарва сюды крадется?... Вот бы раздо-

быть языка... Ишь, придумал где схорониться, поганый!... Пстой же ты у меня!...

И, держа чекан наготове, Матвей бросился вперед к кусту, к тихо двигавшейся фигуре.

Та перестала шевелиться и притаилась в тени осокли.

В один миг Мещеряк очутился перед лежащей фигурой.

– Жизнь либо смерть! – вскричал он грозно, занеся свой чекан над головой врага.

И тут же выронил оружие, весь похолодев от ужаса.

– Алеша, ты ли это?... – не своим голосом вскричал казак.

– Я, братику... Я, Матюша... – услышал он слабый ответ. – Едва выбрался из полону... Слава те, Господи, добрался до своих...

Не помня себя обнял его Матвей.

– В юрту... к атаману... – лепетал он, едва сознавая действительность, – родимый ты мой, ведь за мертвого почитали... молились за упокой души... А он!... Зелена вина тебе чарку да хлебушка... Пойдем, родимый... – весь дрожа от нетерпения ронял Мещеряк.

И обхватив своими сильными руками за плечи Алексея, он почти понес Алешу в юрту Ермака.

Но не один он радовался освобождению князя. Атаман света не взвидел от счастья, увидя своего любимца.

Чарка водки и несколько сухарей, да крепкий сон разом восстановили упавшие было от голода силы Алексея. Он спал как убитый в эту ночь, последнюю ночь перед последним боем.

Этот бой должен был сбросить венец Кучума к ногам Ермака или положить костями его грозную, удалую дружину.

15. РЕШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА. – ШУТКА ШАЙТАНА. – ГИБЕЛЬ ЗА ГИБЕЛЬ. – ГНЕВ АЛЛЫ

Это было на рассвете 23-го октября. Холмы и овраги еще спали под серой полосой тумана, когда к татарской засеке неслышно подобрались скрытые в долине казаки, таща за собою три небольшие, но тяжелые пушки.

Не доходя нескольких десятков саженей до засеки они остановились. Ярким золотым пятном засиял крест в руках священника, шедшего в рядах воинов-казачков. Появились хоругви и стяги. Шапки полетели с казачьих голов. Усердная молитва понеслась к небу. Коленопреклоненная дружина с верой и упованием предавала себя в руки Божии. Потом снова двинулась в путь, далее к засеке, где, окопавшись, засели полчища Кучума с удальцом Мамет-Кулом во главе.

Прогрохотала первая пушка... Раскатистое эхо повторила дремучая тайга и серые утесы далеко, далеко...

Градом стрел отвечал из засеки многочисленный неприятель. Стрелы посыпались частым, непрерывным градом на головы удальцов. Чем ближе приближались казаки, тем больше валилось раненых и убитых, усти-

лая телами окровавленный путь к Искеру.

Видя, что русских только ничтожная горсть, татары сами проломали засеку в трех местах и устремились на осаждавших.

Ермак, собственноручно управлявший главной пушкой и в промежутках паливший без устали из своей пицали, увидел несметное количество конных и пеших, с диким гиканьем и свистом мчавшихся огромною ордою на его маленький отряд. Этот отряд убывал и убывал с каждой минутой под стрелами вдесятеро сильнее-го врага. Сердце атамана обливалось кровью. Жгучая мысль пронизывала мозг:

– А што ежели правы были ночью ребята?... Што ежели все до единого поляжем костями и николи не поведает народ православный, как славно бился за него насмерть со своей дружиной Ермак?...

Но это было только мимолетное малодушие. Через минуту новым порывом отваги и уверенности в себе и в своей храброй дружине кипело мощное сердце Ермака.

– За мною, в рукопашную, братцы!... Господь поможет!... Одолеем врага с помощью Всевышнего!... – сквозь грохот пушек и пицалей пронесся зычный голос его.

И с поднятым чеканом в одной и саблей с другой руке он метнулся вперед, и первый врезался в самую середину орды татарской.

– Бог в помощь, ребята!... Не выдавай друг дружку нечисти поганой!... – гремел оттуда его могучий призыв.

Закипела сеча, страшная кровавая сеча, в которой приходилось по пятьдесят человек татар на каждого казака. Рубились чеканами, кололись пиками и копьями, схватывали голыми руками за горло друг друга и душили один другого, кровью и трупам покрывая лощину.

Люди превратились в зверей. Одно общее стремление к крови, к гибели, уничтожению врага охватывало цепкими звеньями дерущихся. Каждая пядь земли покупалась десятками трупов, бочками крови, сотнями израненных тел...

От ржания перепуганных коней, зловещего гортанного крика сибирцев, звона, лязга оружия и выстрелов пушек и пицалей стон стоял в воздухе...

Без усталости работал своей казацкой молодецкой саблей Ермак. Всюду, где только закипало самое пекло боя, попевал он, грозный и страшный врагу, желанный своей дружине. С могучей силой опускался его топор на головы облепивших его, как мухи, татар. Стон и вопли стояли столбом там, где проносилась его мощная, плечистая фигура, где звенела его стальная сабля, лучшая добыча былых грабежей...

...Не ясен то сокол по небу разлетывает,

Млад Ермак на добром коне разъезживает.
По тыя, по силы по татарские...
Куда махнет палицей – туда улица,
Перемахнет – переулочек...

Вот как сложилась старинная песня о народном богатыре Ермаке.

Воодушевленный одной мыслью, одним желанием, почти нечеловеческим, стихийным по страсти и силе, победить или умереть, он, в случае поражения, уже приготовился дорого продать свою жизнь. Десятки татар так и валились под ноги его боевого коня. Его сабля, дымящаяся от крови, обдавала на расстоянии паром и теплом. Сверкающие очи молнией прожигали кругом. Этот огненный взгляд, эта мощная, смелая героическая фигура больше всякого призыва воодушевляла дружину.

В самый разгар битвы, когда поднявшийся ветер разогнал последние остатки утреннего тумана, из-за вала засеки вихрем, во главе новой орды, вылетел широкоплечий атлет-татарин и, крича что-то по-татарски рубившимся неистово своим воинам, стал носиться ураганом по бранному полю, кроша кривой саблей вокруг себя...

Это был Мамет-Кул, подоспевший со своим главным подкреплением на выручку татарам. Вид у него был страшный. Глаза навывкате.

Как разъяренные львы бросились казаки на новую орду. Не выдержали татары. Напрасно кричал им что-то по-своему Мамет-Кул, носясь птицей и ободряя дерущихся, то и дело направляя свое губительное копье направо и налево. Не вынесли татары и отступили к засеке.

Когда об этом отступлении, этом временном смятении узнал молящийся на горе Кучум, он сделал знак рукою, и мусульманские священники прервали свои фанатические завывания, свои возвания к Алле.

– Кто проберется к Мамет-Кулу и прикажет ему от имени моего продолжать битву, пока ни одного из русских не останется в живых? – прогремел призывом голос старого хана.

Но вокруг него не было никого, кроме мулл, шаманов-бакс и женщин гарема его, жен и дочерей. Все корочи и сановники, даже оба сына его, – Абдул-Хаир и красавец Алей, – все были в засеке под горою.

Но вот, словно из-под земли, вырос пред Кучумом молодой шаман. Это был Имзегга. Дрожащим от волнения голосом он произнес:

– Пошли меня, повелитель... Пусть братья мои, шаманы, молят великого духа о спасении твоего Искера, а мое сердце горит жаждою отомщения проклятым врагам... Они держали мою сестру полонянкой, они убили моего друга и брата Огевия, мужа сестры Алызги... Они положили много храбрых остяцких батырей под

огненными стрелами своими... Пошли меня, хан... Я гибель и смерть понесу им именем великого духа, повелитель...

– Ступай! И передай Мамет-Кулу, чтобы победителем или мертвым вернулся бы он ко мне!

И, сделав повелительный жест рукою, величаво поступил свою старческую голову Кучум.

Имзегга стрелою ринулся вниз по скату горы.

Вдруг чья-то маленькая, сильная рука легла на его плечо. Он быстро оглянулся. Перед ним стояла Алызга.

Волнение и трепет были написаны на ее обычно каменно-спокойном лице, когда она проговорила:

– Брат Имзегга, и я за тобою... Ты один остался у меня... Отец далеко в Назыме... Муж погиб под саблями русских... Царевну Ханджар, мою повелительницу и госпожу, буду защищать наравне с мужчинами батырями... Я там, в бою, нужнее... Мой нож бьет без промаха... А ненависть к русским умножит силу руки моей... И да помогут мне все силы Хала-Турма... Смерть и мщение кяфырам понесу я следом за тобою...

– Иди! – проговорил Имзегга, любуясь невольно воодушевлением сестры. – Великий Урт-Игэ да будет тебе, сестра, покровом.

Схватившись за руки, они помчались оба с горы к засеке, где передыхал от перенесенной сечи со своей дружиной Мамет-Кул.

И вот снова закипела битва, еще более грозная, нежели прежде. Рекою полилась татарская и казацкая кровь. Падали татары, как мухи, гибли кругом, но и казаки погибали и уменьшались с каждой минутой в числе... Всюду царила гибель...

Наравне с сильными воинами своего и татарского племени билась Алызга, ни на шаг не отступая от брата. Вооруженная ножом, с развевающимися волосами, с диким выражением горящих глаз, она казалась безумной. Теперь до малейшей точности припоминалась ей другая битва, когда она участвовала в бою, но не подле брата, а рядом с любимым мужем. Он пал, Огевий, там, далеко, под ножами русских, в Пермском краю... Кровь его вопиет... Она почуяла это с первыми звуками сечи... И она отомстит за гибель любимого супруга, она, его жена, его Алызга... Но не одна месть и желание биться в защиту Ханджар и помочь брату привели ее сюда. Ее сердце грызла тоска раскаяния. Поддавшись минутной жалости и желая отплатить добром за добро, она отпустила в эту ночь пленника на свободу. И какого пленника!... Существо, предназначенное в жертву великому духу!... Она украдала дар у божества и должна искупить свой грех. Кровью кяфыров умоет она и очистит свою помраченную совесть. И бьется Алызга сильная, как мужчина, поспевая всюду на помощь своим, добывая раненых врагов, разя неожиданно сильных и здоровых.

Имзегга не отстаёт от сестры. Он твердо сознаёт, что принесённая жертва принята Урт-Игэ.

Как только он очнулся от обморока в пещере, полной дыма, он завалил вход её огромным камнем, чтобы не только тело сожжённого им, но и душа его не ушла из пещеры и досталась в дар великому духу. Что его пленник сгорел, пока он был без сознания, Имзегга не сомневался. Более того: он был уверен, что эта жертва даст победу его благодетелю, хану Кучуму, и бился с удвоенной силой, весь пылая фанатическим воодушевлением и время от времени воодушевляя короткими бодрящими словами сестру.

Но что это?... Смертельный ужас охватил Имзеггу... Прямо на него, с окровавленным мечом, несётся знакомый юноша, тот самый, который сгорел в пещере. Великий дух не обманывает ли его зрение?... Имзегга вздрагивает... Колючий холод проникает насквозь, заставляет дробью застучать его зубы...

– Урт-Игэ!... Грозный и могучий!... Менги и Танге!... Великий Сорнэ-Туром!... Смерть и гибель несут они Имзегге...

Он хочет поднять копье и не может... Страх и ужас сковывают его душу... Сам шайтан шлет на него гибель, на Имзеггу, шайтан, принявший образ спалённого им на костре пленника... Последний несётся прямо на него со своим конем... Из недра самого Хала-Турма, казалось, несётся... Ни защищаться, ни крикнуть,

ни произнести заклятия не может Имзег... Не может и не успевает... Князь Алексей молнией налетает на него, поднимает чекан, и молодой шаман с криком: «Урт-Игэ!... Смилуйся над нами!...» – замертво валится под ноги его коня...

Этот крик услышала Алызга, отброшенная от брата в пылу боя... Быстрая, как коршун, бросилась она к нему, и дикий, нечеловеческий вопль огласил поле битвы... Она увидела мертвого брата, увидела скакавшего далее и разившего своим чеканом врагов Алексея – и поняла все.

– Горе мне!... Горе!... – диким воплем взывала Алызга, и, царапая себе тело в кровь, вырывая волосы из головы с корнями, как безумная, помчалась обратно на гору, где горели костры и где ждал вестей потрясенный, взволнованный гибелью стольких воинов, Кучум.

– Мамет-Кул ранен... Наши бегут... Спасайся, повелитель!... – пронзительным воем повисло, как вопль стенания и горя, над Чувашьей горой.

Окровавленный и в изодранной в клочья одежде стоял перед ханом гонец.

Кучум затрепетал всем телом. Смертельная бледность покрыла его старческие ланиты. Губы дрогнули и раскрылись.

– Иннис-Алла... – прозвенел, как надорванная струна домбры, его разом упавший голос. – Иннис-Алла, за что караешь меня?...

И крупные слезы, одна за другою, потекли из слепых глаз хана.

А внизу, под горой, происходило что-то невообразимое. Татары и дикая югра беспорядочно бежали мимо засеки к Искеру. Русские преследовали по пятам, кроша, как месиво, бегущих. опережая всех, группа всадников мчала безжизненное тело Мамет-Кула к столице.

– Отец, спасайся!... Спасай всех жен и детей!... Кыфыры ворвутся сюда... Не медли, повелитель!...

И оба царевича, Абдул-Хаир и Алей, взяв под руки слепого хана, пытались посадить его на лошадь.

Но Кучум медленно отвел их руки и, качая головою, произнес:

– Искером я правил – в Искере и умру... Оставьте меня, дети... Одни спасайтесь... О, Бекбулат, и ты, Едигер, вы, убитые мною, не тщетно зывали вы о мщеньи Аллу!... – заключил он и, бросившись на землю, стал биться головою об утес.

В ужасе и трепете стояла свита. Минуты были дороги. Медлить не приходилось. Русские каждую секунду могли нагрянуть сюда, и тогда гибель ждала всех без исключения... Окружающие Кучума знали это, но молчали, не смея нарушить взрыва отчаяния своего повелителя. И вот приблизилась к обезумевшему отцу красавица Ханджар.

– Любимый... – произнесли с трепетом ее побелев-

шие губы, – бежим отсюда... Искер возьмут... Пусть возьмут все наши сокровища и богатства, но твоя слава останется тебе, повелитель... Хан Кучум останется ханом... В вольных степях Ишима мы разобьем новые юрты и кликнем клич всем народам сибирским, всем племенам. Они стекутся к тебе, отец, и тогда, тогда, клянусь, гибель кяфыров упоит нас сладким мщением. И ты вернешься в Искер могучим ханом, отец... Ты вернешься!...

Чем– то властным, уверенным и смелым звучал голос царевны. Что-то пророческое чудилось в нем. Старый Кучум поднял голову. Его слепые глаза разом высохли. Лицо прояснилось.

– Ханджар, сокровище души моей... Твои уста мне шлют утешение и сладость... Нет... Не погиб старый хан... жив Кучум... и о нем вы услышите не раз, проклятые кяфыры... – заключил он, грозно потрясая руками над седой головой. – В путь, дети и друзья! И да хранит нас Алла от всего дурного!

И, прижав к сердцу любимицу-дочь, он стал быстро и бодро спускаться с горы.

Жены, дети и свита последовали за ним. Чувашья гора опустела. Костры догорали на ней. Снизу, с долины, доносились крики победителей и вопли побежденных. Над костром, точно каменная статуя, темнела одинокая фигура. В бледном лице не было ни кровинки. Как у мертвой, иссиня-желто было оно. Только глаза горели,

как уголья, и сыпали пламя. Это была Алызга.

– Великий Урт-Игэ, – глухим, мертвящим душу голосом роняла она, – я прогневила тебя, великий дух Ендырского потока... Обреченной жертве твоей дала свободу и жизнь. Зато ты покарал меня, великий, отнял брата, отнял счастье и покой, а Ханджар, любимую мою госпожу, сделал нищей беглянкой... Великий гнев твой, могучий... Но я попытаюсь умилоствить тебя, всеильный дух. За одну непринесенную жертву я погублю во славу твою десятки, сотни кяфыров... И если... если мне не удастся это, клянусь, за жизнь пленника отдам тебе свою жизнь, великий, грозный Урт-Игэ!

И, сказав это, она упала навзничь и долго лежала распростертая у самого костра. Потом вскочила на ноги и кинулась догонять уже затерявшихся в наступивших сумерках беглецов Искера.

Со славой кончилась для казаков Искерская решительная сеча. Но не радовала их эта победа. Около половины дружины полегло безмолвными трупами на берегу Иртыша.

Оставшиеся в живых были все почти переранены и утомлены настолько, что не пытались даже преследовать бежавшего врага, а, войдя в городок Атик-мурзы, расставили сторожей и легли спать, не думая о том, что ожидало их утром. Проснувшись с зарею они с почестями схоронили своих мертвых товарищей, зарыв

их на песчаных откосах берега реки. Целые три дня рыли бесконечные могилы казаки. На четвертый решили, собравшись с силами, двинуться к Искеру.

– Надо думать, засаду устроил лукавый Кучум, – размышляли они, осторожно приближаясь к сибирской столице, каждую минуту ожидая нападения притаившихся за его валом татар. Но мертвая тишина царила в Искере. Удивленные казаки вошли в город. Он был пуст. Дома, сложенные из дерева, нежженого кирпича и глины, были покинуты обитателями. Покинуты были и царские сокровища Кучума, золото, серебро и дорогие меха.

Обрадованные казаки с жадностью накинулись на добычу. Она явилась хоть отчасти наградой за понесенные труды.

Но вскоре приуныла храбрая дружина. И золота, и серебра, и мехов, всего вдоволь, а самого необходимого – хлеба – не осталось в покинутом городке. Голод и смерть грозили победителям. В соседние урманы нельзя было и думать идти за дичью на охоту – они кишели воинами Кучума.

Грусть и уныние воцарились в Искере. И самое взятие сердца Сибирского ханства, столицы Кучума, не радовало теперь, казалось, казаков. Не радовало и самого Ермака. Все сумрачнее и озабоченнее становилось лицо атамана. Положение, в котором очутилась после столь тяжелых трудов, после стольких по-

терь его любимая дружина, беспокоило храброго вождя. Что предпринять теперь казакам, как спасти уцелевших в боях храбрецов? Уже четыре дня провели они голодные в Искере. Последние съестные запасы пришли к концу. Орлиные очи атамана невольно устремлялись в синюю даль степи, за стену городка, как будто там искали разрешения мучившей его заботы.

И действительно, в самую тяжелую минуту помощь пришла оттуда совершенно неожиданно.

Однажды, стоявшие на сторожевых постах голодные, полусонные часовые заметили вдали большую толпу дикарей. Не то вогуличи, не то остяки приближались к Искеру. Дали сигнал, поднялась тревога. Первою мыслью казаков было схватиться за оружие и достойно встретить незваных гостей. Но вдруг, к их удивлению, от толпы отделилось несколько человек и выступило вперед. Делая какие-то знаки, размахивая руками и крича что-то непонятное на своем гортанном языке, они направились к городку. По их знакам и жестам видно было, что у них были мирные намерения. Вот они быстро повернули к городским воротам, продолжая делать свои непонятные знаки. Теперь уже хорошо можно было рассмотреть остяцкие скуластые лица, косо поставленные глаза, смуглую, загорелую, желтую кожу. Когда остяки приблизились к ожидавшей их толпе казаков, Ермак выслал к ним навстречу толмача-татарина.

– Передай бачке-атаману, – обратились они к толмачу, – что мы пришли от остяцкого князя, который прислал богатый ясак в виде съестных припасов в дар русским и кроме того хлеб и дичь всякую, и все, что вам нужно, и желает жить с русскими дружно.

Толмач все это тотчас же передал Ермаку.

Тогда атаман, окруженный горстью своих, сам вышел к остякам.

Послы низко-низко, до самой земли поклонились ему, сложив на груди свои руки.

– Ты прогнал Кучума, нашего бывшего хана, господин, и стало быть станешь новым ханом ныне в этой земле, – говорил через переводчика вождь отряда, – и мы отныне тебе ясак платить будем, не обижай только нас, мирных югорских людей.

Ермак принял дары, явившиеся как нельзя кстати, обласкал неожиданных гостей и отпустил их с миром обратно в их кибитки, обещая им свою защиту и помощь во всякое время от врагов.

Вскоре стали стекаться к Искеру и другие мелкие кочевые и оседлые народцы, несли ясак и отдавались в подданные «белому салтану» [русскому государю].

Ермак принимал их милостиво и отпускал на свободу, обещая им свою защиту.

Вскоре вокруг Искера выстроились новые юрты мирных бурят и остяков. Искер делался вселюднее и населеннее. И слава великодушного и милостивого баты-

ря Ермака все росла и увеличивалась с каждым днем,
разлетаясь далеко по окрестным улусам и селеньям...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1. В РУССКОМ ИСКЕРЕ. – АБАЛАЦКИЕ ЖЕРТВЫ. – МЕСТЬ ЕРМАКА

Яркий зимний денек. Белый дедушка-морозец раскрасил инеем кедры, пихты, кусты боярышника и саваном накрыл окрестную широкую, как приволье, белую степь, накинул ледяные путы на бойкий, гремучий Иртыш. И замолк Иртыш, и перестал сказывать свою смелую, звонкую, гремучую сказку. Холодно стало кругом.

Чистенько выстроенные из тесовых бревен домики нового, теперь русского, Искера выглядели празднично и нарядно, умытые снегом, принаряженные в его лебяжий убор. Солнышко колючее, не греющее, но яркое, как взор искрометный далекого заоблачного богатыря, будто в сговоре с дедом-Морозом, и не думало пригревать людей. Стужа все крепчала и крепчала.

Мириады солнечных искр играли на белых сугробах. Алмазами, рубинами, топазами и изумрудами отливали они. Словно богатая невеста, убранная в залитый

самоцветными камнями летник, выглядела степь. И дремучие окрестные тайги принарядились тоже: серебряным инеем, жемчужною пылью украсил их затейник-мороз.

На тесовый рундук одного из новых, чистеньких и нарядно выглядевших изб вышли Ермак и Кольцо. В теплых медвежьих шубах, в трехгранных остяцких шапках с наушниками и в меховых валенках они не чувствовали стужи, точно карауливший их появление на улицу дедко-Мороз, только шутя наскочил, налетел на них, ущипнул за щеки, за нос, запушил бороды своей белой пудрой, кинул, играя, алый румянец в лицо.

– Ишь, денек-то выдался, что твой хрусталь!... Не померзли бы наши молодцы на озере, Иваныч, – опасливо произнес Ермак, теплее кутаясь в медвежью шубу.

– Ништо... Прорубь вырублена еще с намеднясь... Стало долго им не проканителиться там... Тольки сети закинуть, Тимофеич... Небось, не помрут... Полушубки на них да валенки – ин до шестого пота, гляди, прошибет. А без рыбки нельзя. Давишняя вся, ин, вышла. Не мясом же кормиться. Пост ведь ноне у нас. До стреляной дичины, што литовцы приволокли, не дотронутся ребята наши... Нет, уж ты им не перечь, пушай рыбки наловят... О другом я речь поведу, атаман. Дозволь слово молвить, – неожиданно перебил самого себя есаул Кольцо.

– Говори, Иваныч, сам ведаешь, как я речи твои ценю. Ум хорошо – два лучше.

– Не скажу, а спрошу тебя, Василь Тимофеич, когда же ладишь посольство к царю послать? Два месяца, ин, скоро как Искер мы взяли, отстроились, вишь, маленько, новых данников под ясак привели, а ты, гляди, еще о том московский народ не уведомил и послов к государю не заслал... Гляди, худо бы от того не было, атаман... Не помыслили бы православные, что не для них, а про себя юрт сибирский покорил славный Ермак, – тревожно глядя в лицо атамана заключил свою речь Кольцо.

Задумался Ермак. Потупил очи в землю. Умную речь молвил седой есаул. И впрямь следует послать посольство. Ведь для того и шел он сюда с горстью удальцов, для того и усеял трупами поганых сибирские степи, для того и пожертвовал многими жизнями своих друзей, чтобы сослужить службу народу русскому, царю православному. И вот сослужена служба. Добыта Сибирь. Отчего же ныне сомнения и опаска берут эту смелую душу, эту бесшабашную, удалую голову?

– Слушай, Иваныч, друг мой верный, што я тебе молвлю, – произнес Ермак. – Истинную правду сказал ты: снарядить посольство надоть, как вскроются реки... Да кого послать с посольством?... Кто знает, кто ведает мысли царя Ивана?... Дар-то он примет, когда ударят послы челом царством Сибирским, а самих-то послов,

чего доброго, в цепи закует, в темницу бросит, а там лютым пыткам да казни всенародной предаст... Небось, помнит царь дела наши прежние... Нешто могу я удалцов моих обречь на гибель такую?... Сам пойду – не вернусь, кому поручу дружину свою, Искер покоренный?... Знобит мое сердце, как подумаю, что дела своего победного сам не доведу до конца... А то бы, видит Бог, самолично пошел бы на Москву бить царю челом царством Сибирским.

Горячо и пылко звучала речь Ермака. Искренностью, правдой веяло от нее.

С юношескою живостью перебил Кольцо:

– Правда твоя: не гоже тебе идти на плаху. Меня пошли. Все я пережил, все испытал в жизни моей. Мне лее жалеть на склоне лет, на шестом десятке. Отпусти меня, Тимофеич, к Московскому царю, нашему врагу давнишнему, и либо с почестями, со славой вернусь к тебе в Искер, либо сложу на плахе буйную, старую голову, – веско, сильно закончил свою речь есаул.

Обнял товарища Ермак, обнял горячо и крепко.

– Спасибо, Ваня! Век не забуду услуги твоей! – произнес он растроганным голосом. – Поведай на кругу ужю твое решение... Дай клич, кому из Строгановских охочих людей, што пришли с нами – им царя не бояться, в разбоях былых не повинны они, – с тобой идти охота, и с Богом по половодью к царю поезжайте... А теперь, друже, обойдем володенья наши, доглядим

остяцкие юрты, што присоседились к нам, поглядим, как живут новые данники у нас под боком, – весело и бодро прибавил Ермак.

Но не пришлось на этот раз сделать обход своим новым данникам атаману. Глухой шум, несшийся из-за высокой стены, крепкой бревенчатой оградой окружавшей русский Искер, заставил вздрогнуть его и Кольцо и чутко насторожиться. Шум рос с каждой минутой, рос и приближался.

– Лихо приключилось, батька-атаман! – услышал Ермак отдельные возгласы за стеною, и вскоре большая толпа очутилась перед рундуком, на котором находились оба начальника и вождя.

Тут были мирные данники-остяки и свои казаки. Все это шумело, волновалось и кричало вне себя. Ободранный, израненный, без шапки человек протискался вперед и, рыдая, упал у ног атамана. Сердце захолонуло в груди Ермака. Мрачное предчувствие огромной огненной зловещей птицей впорхнуло в душу и опалило ее...

– Што?!. Што еще?!. – срывающимся голосом ронял он беззвучно.

– Наши... атаман... робята-то... што на Абалак [Абалацкое озеро, по-татарски Абалак-Бюрень, под высоким берегом Иртыша и соединяющееся с ним] пошли, по рыбу... сети закинули, а сами недалечко у костров спать полегли... А татары-то... проклятые... подобра-

лись, нагрянули... и всех до единого, кроме меня, во сне перерезали, атаман...

Едва успел закончить свою речь чуть живой от ран и волнения казак, как темнее ночи стало лицо Ермака. Грозным пламенем вспыхнули черные глаза и бешено крикнул он на всю площадь:

– Коней седлать!... Да живо!... Охотников сюда!... На конь, ребята!... Нагоним убийц проклятых и отмстим за гибель товарищей!... Гайда!... За мной!...

И, сбросив тяжелую шубу на руки Кольца, он выхватил огромный бердыш у близ стоявшего казака, птицей вскочил в седло, и первый ринулся из ворот Искера, точно не чуя зимней стужи.

Уже около леса нагнал отряд своего атамана. Весь день блуждали по тайге казаки вокруг Абалацкого озера. К вечеру настигли татар. Настигли и перерезали всех до единого, сея смерть и мщение вокруг себя. И только когда последний татарин упал под казацкой саблей, обливаясь кровью, только тогда опустил свой окровавленный бердыш Ермак и хмурый, как грозовая туча, велел своему отряду скакать на Абалак. Там, на берегу озера казаки нашли двадцать обезглавленных трупов товарищей. Вырыли братскую могилу и схоронили в ней мертвые тела. И еще раз поклялся Ермак над свежей могилой своих сотоварищей-друзей сложить им памятник из груды тел татарских.

Печальные, понурые вернулись к ночи казаки-мсти-

тели в Искер.

2. ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА. – СВАДЕБНЫЙ ОБЫЧАЙ. – ЖЕРТВА АЛЫЗГИ. – ПОХОД

Зацвела опять вольная и широкая Ишимская степь. Разлились сибирские реки. Вскрылся голубой Иртыш, быстрый Тобол и зеленовато-мутный Вогай в окрестностях Искера. Пробудилась сонная тайга; веселым гомоном птиц наполнилась она после долгого мертвого зимнего сна. Невысокие холмы зазеленели. Сочной травой засверкали темные овраги. Наступила весна.

Волнистые поверхности изумрудных пригорков весело побежали к северу, туда, в объятия старого Урала, обновленного, помолодевшего в этот ранний праздник весны. Березовые рощицы да молодые лески сверкали здесь и там красивыми оазисами, вместе с бесчисленными озерами несказанно крася Ишимскую степь. Высокой травой поросла она, сочной и волнистой. Запестрели в зелени ее желтые, алые и белые цветы. Тут была и богородичная травка, и багульник, и кашка, и кукушкины слезки, и точно из воску слепленные нежные сквозные белые цветы брусники. Копчики, галки, малиновки и мухоловки оживляли веселыми голосами, криками, свистом и пением Ишимскую степь. А под самыми облаками, белыми и перистыми, как ги-

гантские хлопья снега, рельефной темной точкой по синему фону сапфирового купола реял гордо и плавно вольный степной орел.

Там, где, точно уступая место друг другу, далеко одна от другой росли стройные, молодые березы, бил хрустальный родник, образуя небольшое озерко. На берегу озерка паслись стреноженные кони. Дальше, под открытым небом, в степи, полускрытые высокой травой приютились тирмэ [киргизские кибитки] кайсаков. Наскоро сложенные юрты приветствовали весенний день синеватым дымком шора, вьющимся к небу сквозь ченарак.

У дверей одной из юрт сидел на разостланных кошамах, поджав под себя ноги, Кучум. Подле него турсук кумыса. Но слепой хан и не притронулся к любимому, освежительному питью. Лицо его хмуро и печально. Перед ним, опираясь на ствол молодой березки, с перевязанной головой стоял Мамет-Кул. Богатырь-царевич еще не оправился от раны, которая могла бы стоить ему жизни, если бы не искусство лечивших его знахарей-бакс. Он долго боролся между жизнью и смертью и только пятый день на ногах. Лицо его хмуро и угрюмо, как никогда. Печальные новости узнал он сегодня и пришел поведать их хану.

– Твой ближний Карача изменил тебе, пресветлый повелитель: он предался кяфырам, – глухим голосом произнес Мамет-Кул, невольно прижимая руку к обмо-

танной тряпичей ране.

Как раненый зверь вскочил со своего ковра Кучум. Слепые глаза его вспыхнули гневом.

– Карача изменил!... Карача, говоришь!... Собака!... Дай только добыть изменника!... Кожу велю содрать с живого, изжарить заживо прикажу на угольях костра!... Язык и очи вырву у предателя!... – кричал он, свесив дрожжа от гнева.

– И еще горе, повелитель: Сейдак, твой враг давнишний, сын убитого тобой Бекбулата, по степи бродит, ищет найти тебя и погубить, – снова роняет Мамет-Кул.

– Сейдак?!

Теперь уже не гнев, не бешенство, а страх, животный ужас отразился на лице Кучума.

– Сейдак?! Сейдак идет мстить за гибель отца?! – словно топором ударяло в голове хана.

Юноша Сейдак, этот бесстрашный, молодой, отчаянный по храбрости львенок, сумел найти время когда отплатить старику за гибель отца и дяди!...

И белым, как мел, стало обычно желтое, обветренное лицо хана. Снова давнишнее кровавое видение выплыло из дали и встало мучительным призраком перед мысленным взором слепого старика.

Много лет тому назад то было, когда он, Кучум, из Тибетских степей набежал на Искер со своею ратью. В море крови он потопил столицу, разгромил сокрови-

ца хана Едигера и его брата Бекбулата, а обоих связанных властителей Искера велел привести к себе. Напрасно валялась у ног его супруга Бекбулата с маленьким сыном, первенцем Сейдаком, вымаливая жизнь своему мужу и шурина. Он, Кучум, оттолкнул красавицу-ханшу и обезглавил обоих ханов на глазах матери и ребенка.

И вот он вырос, этот ребенок, сын Бекбулата и, взывая о мщении, идет на него.

В отчаянии схватился за голову старый Кучум.

– О, Мамет-Кул!... – диким голосом взвыл он, – горе нам, горе нам!

Но это был мгновенный упадок духа и сил. В следующую минуту хан уже был неузнаваем. Стан выпрямился. Лицо прояснилось.

– О, Мамет-Кул, мои слепые глаза мертвы и рука моя не годна для боя... Но, милостью Аллаха, ты храбрый воин, остался у меня... Добудь мне венец Сибири и, клянусь седою бородою пророка, клянусь именем Алы и Магомета, Его пророка, я верну тебе руку Ханджар... Искер будет ее приданым... Ты будешь защитником царевны и меня, ее слепого отца, и ни Сейдак, ни батырь кяфырский не страшны тогда станут старому Кучуму...

Мамет-Кул внимательно взглянул в лицо старого хана. Румянец возбуждения играл на нем. Раненый царевич встрепенулся.

– Слушай, хан, – произнес он громко, – Алла разгневался на нас с тобою, послав нам поражение под Искером. Я не осилил кяфыров, и за это ты во гневе взял назад свое обещание отдать мне Ханджар. Верни мне свое слово, повелитель, и, клянусь гробом Магомета, Искер будет твой...

– Она твоя, царевич. Сегодняшний же вечер велю я созвать женщин на ваш обручальный обряд, – торжественно и веско произнес Кучум, снова медленно опускаясь на свои кошмы.

С легким криком упал на колени Мамет-Кул и приник устами к его одежде.

Заунывно и скорбно поет домбра... Ей вторит сабызга [флейта] певучим звуком. Бакса-певец прославляет под эти звуки подвиги всех знаменитых героев Тибета и Монголии. Гости хана пьют кумыс, едят жареные на курдючном сале баурсаки [лепешки], да баранину, чуть опаленную на огне. Все это заедается куртом, любимым и неизбежным кушаньем киргизов. Сабы с кумысом поминутно наполняются прислуживающими джясырями и опустошаются снова. Едят, пьют и слушают баксу. Его голос дребезжит, то возвышаясь до визга, то понижаясь до глухой хрипоты. Не голос важен, важно содержание песни. О храбрых витязях кайсацких, о громких подвигах их поет певец.

Угрюмо задумался старый хан, важно восседая на бухарских подушках, положенных сверху обычных

кошм и ковров.

Задумался и Мамет-Кул, счастливый жених красавицы-царевны... Он внес богатый калым Кучуму из 1000 голов верблюдов и рогатого скота. Но это еще не все. Самый Искер принесет он обездоленному хану... Теперь Ханджар его. Возьмет Искер и отпразднует свадьбу... Вот она – его невеста, красавица его. Она сидит, облитая пылающим отблеском огня, в своем пышном саукеле [свадебный наряд], поджав под себя маленькие ножки. При каждом движении царевны звенят раковины и ожерелья на ее точеной смуглой шейке. Под накинутой легкой, прозрачной тканью сверкают ее черные горячие глаза.

Печальна Ханджар. Свершилась воля Аллаха. Бакса предсказал взятие Искера ее отцу, и старый хан вторично отдает ее руку Мамет-Кулу. Она покорилась. Ради пользы и счастья своего народа она будет женой того, кто вернет ее отцу трон и венец Искера. Завтра поход. На Вогай отсюда идет Мамет-Кул, оттуда к Искеру прямо.

Замолк певец. На смену ему выступают другие. Это девушки и батыри Ишима славят красоту царевны Ханджар, славят богатства и мужество ее будущего супруга. Парно выходят они на середину юрты и превосходят друг друга в певучих песнях в честь Мамет-Кула и ее, Ханджар.

Вдруг царевна вздрагивает под своим девичьим уке.

На нее направлены черные, пылающие глаза Мамет-Кула. От раны-рубца, перерезавшего лоб, он кажется еще безобразнее, еще страшнее... Как птичка трепещет Ханджар. Душа ее ноет. О, если бы на месте его, Мамет-Кула, был бы тот синеокий русский батырь, не болела бы, не ныла ее душа!... Вот он снова, как во сне, стоит перед ней, такой юный, стройный, пригожий. О, ему отдала бы с радостью свое сердце и любовь царевна Ханджар...

– Алызга, – лепечет она, изнемогая от тоски, – где ты, Алызга!... Тяжело мне, бийкем, верная моя...

Но нет Алызги в пировальной юрте, где поют свадебные песни и где в высоких сабах и курдюках пенится белый кумыс. Любимая подруга и наперсница царевны сидит в это время в самой дальней кибитке на конце стана. Перед ней безобразная страшная кэмпырь [старуха] – шаманка с совиными перьями на плече, с ожерельем из мертвых змеиных голов, в разношерстной, пестрой куртке, как у мужчины. Она стоит на корточках с горящими угольями в жаровне, старая бабка-шаманка, и бормочет что-то.

– Ты твердо решила, бийкем, послужить своим благополучием хану? – спрашивает глухим голосом старуха.

– Так, бабушка... Алызга хочет этого... Алызге нет больше радости на земле. Убили, убили Имзегу... Ханджар, царевну-радость, немилому отдают... Прокля-

тие русским!... Алызга должна отомстить за мертвых мужа и брата, за свою Ханджар... Алызга пойдет в Искер, прикинется покорным кулом... Никто не догадается... Сделай только так, бабушка, чтобы не узнали Алызгу они, а там... – глаза остячки вспыхнули и загорелись безумным огнем, – предаст весь Искер Алызга, и Кучум уничтожит всех кяфыров во славу Урт-Игэ... – заключила она.

– Но ты молода еще, бийкем, ты полюбить еще можешь... А ежели исполнить желание твое, ни один батырь и не взглянет на тебя... Слыхала меня, бийкем?...

– Слыхала, слыхала, бабушка... И все же решаюсь, кэмпырь, только – сделай так, чтоб никто-никто не признал Алызгу... Многие из кяфыров видали меня полонянкой, многие в сечи видали меня... Так надо, чтобы не признали они Алызгу... Не жалея, кэмпырь, приступай к работе... Домбру покойного брата отдаю я за это тебе.

Старуха только угрюмо мотнула головою. Потом кратко приказала:

– Ложись...

Алызга повиновалась. Что-то холодное легло ей на глаза, и она перестала видеть на минуту. Потом кэмпырь, дую себе на пальцы, схватила несколько угольков из жаровни и стала водить ими по широкому скуластому лицу лежавшей перед ней остячки, опалая и почти подпекая его.

Невыносимая боль заставила застонать Алызгу. Она стиснула зубы и заскрипела ими, а старуха все водила по лицу ее до тех пор, пока оно не превратилось в одну обнаженную, опаленную рану. Когда запах жареного мяса и дыма наполнили кибитку, кэмпырь отшвырнула уголья назад в жаровню и, помешав палкой в стоявшем тут же котелке, опрокинула его на лицо Алызги. И вскоре раны затянулись, залепились синеватыми жилками и шрамами. Какое-то цветистое месиво покрыло их. Потом сорвала повязку с очей Алызги старуха и сунула ей в руки какую-то тусклую железную пластинку, игравшую роль зеркала.

Алызга взглянула в нее и с криком ужаса выронила дощечку. Ее лицо стало неузнаваемо и ужасно. Язвы и рубцы бороздили его. Безобразной, страшной и отталкивающе-гадкой показалась самой себе Алызга. И в ужасе она закрыла лицо руками...

В ту ночь луна особенно нежно сияла над юртою Кучума. Разметавшись на кошмах спала Ханджар. Ей снились сладкие сны. Ей снился снова синеокий батырь-красавец. Он наклонялся к ней, шептал ласковые речи, от которых сладко замирало сердце красавицы-царевны. И не чувствовала в те минуты Ханджар, что не батырь-юноша, русский, а умышленно обезображенное лицо ее любимой бийкем-джясыри склонилось над нею в последний раз в эту весеннюю ночь и что не русокудрый витязь, а уродливая Алызга

шепчет ей с любовью и тоскою:

– Прощай, радость и счастье жизни моей, золотая звезда моих мыслей счастливых, мой полночный месяц, царица моя!... Прощай, изгнанница Искера... И знай, я верну отцу твоему, хану, его столицу или упьюсь досыта кровью твоих злейших врагов...

И сказав это, чуть коснувшись обезображенными губами прелестной ручки царицы и исчезла за керечью юрты.

3. СНОВА В БИТВУ. – ЦАРСТВЕННЫЙ ПЛЕННИК. – НОВЫЙ СЛУГА. – ОДНИМ ХРАБРЫМ МЕНЬШЕ

Ласковым шепотом тихо шепчет дремучая тайга... Нежный тот шепот, весенний... Столетние дубы да кедры, да широкоствольные березы и пихты вспоминают будто что-то таинственное и сладкое... Чудная весенняя дрема-греза сковала тайгу... Жарко печет весеннее солнце, а здесь, на опушке, прохладно, тенисто, хорошо...

Раскинули казаки шалаши из ветвей молоденькой березы да орешника, накрыли их кафтанами да сермягами и сидят под тенью их, – сидят и ждут среди дубов-гигантов, кедров и берез. По водополью этой весной пришел к Ермаку мирный данник-татарин и поведал ему, что стоит Мамет-Кул недалече на Вогае-реке, верст за сто от Искера. Ермак собрал небольшой отряд и поспешил с ним к означенному месту. Разбились станом на Вогае Ермаковы воины и ждут желанных гостей.

Не много казаков осталось в его дружине. Из 840 пришедших в Сибирь только 300 человек осталось, а

впереди много еще дела предстоит. Велик либо нет отряд Мамет-Кула – того не знает Ермак. Да если бы и знал – поможет разве этим делу? Из трехсот оставшихся ему не сделать вчетверо большей дружины. А не идти на Мамет-Кула нельзя. Сам придет под Искер и осадит его, чего доброго, царевич. Так лучше предупредить его и напасть на неожиданного этого набег татарского вождя.

Чудесно скрыт под навесом тайги отряд Ермака. Атаман умышленно не велит раскладывать костров и варить каши. До ночи попустятся как-нибудь, лишь бы не привлечь взоров медленно подвигающейся от Вогая татарской орды. Ему, Ермаку, надо жалеть людей. Мало их осталось у него. Каждый человек дорог, каждая рука нужна в Искере. Хотел посылать к царю за подмогой, да медлит все. Вот возьмут они Кучума либо Мамет-Кула и ударят ими челом царю вместе с царством Сибирским. Но как взять-то? Неуловим, как волна, старый хан. Неуловим и его приспешник тоже.

Так думает Ермак, спасаясь от жарких солнечных лучей в своем шалаше.

А рядом с ним, в таком же шалаше, веселый говорит идет.

– Слышь, наряжать посольство к царю атаман ладит, – говорит радостно Алеша Мещеряку. – Попросимся и мы с есаулом. У наших, в Сольвычегодске, побываем на обратном пути. Може и свадебки сыграем две

заодно. Шутка ль, более году не видывали наших кра-
лей. Небось, и думать они забыли о нас.

– Зато плаха московская не забыла, – отшучивался
Матвей.

– Не страшна мне плаха, Матюша. Не верится штой-
то, чтобы русский царь за дело такое на плаху по-
слал, – беззаботно, тряхнув плечами, решил Алексей.

– Вот что, братику, – помолчав с минуту снова заго-
ворил он, – я завтра же отпрашиваться у атамана на
Москву с Иваном Ивановичем буду. А ты как хошь.

– Вестимо, и я не отстану. Нешто разлучусь когда с
тобой? – сердечной, теплой нотой прозвучал в ответ
голос Мещеряка.

– Ин, ладно. Гляди, чтобы обе свадьбы зараз
играть, – засмеялся юноша-князь, обнимая друга.

– Сыграем, – усмехнулся Мещеряк.

Долго они болтали так. Ночь подступила. Светло-
окая бледная северная ночь. Только далее, в тай-
ге, точно темным флером, подернулась природа. За
то степь осталась светлой и нежной, как днем. Мутная
зеленая илистая вода Вогая казалась теперь распла-
вленной ртутью. Серебро реки слилось с серебряным
горизонтом степи, и был дивно красив этот согласный,
сверкающий аккорд.

Кречеты прокричали в небе. Иволга проплакала в ку-
стах – и все стихло. Помолившись Богу и браня «про-
клятого Мамет-Кулку», заставившего их лечь с пусты-

ми желудками спать, завалились казаки на боковую. Стихло все в стане.

– Только в шатре, ближайшем к атаману, не спали и тихо перешептывались Алеша и Мещеряк. В сотый раз поверял молодой князь своему другу, как взяли его в полон татары, как хотела оковать своими чарами «казацкая» ханша и как спасла его бывшая Строгановская пленница – Алызга.

А ночь все вливалась в степь серебристо-жемчужным потоком, белая, волшебная, нежная, северная весенняя ночь.

– Штой-то?... Слыхал аль нет, друже?... – внезапно, схватив за руку Алексея, повысил голос Мещеряк.

Тот насторожился. Действительно, из глубины темной тайги доносились до них странные звуки, не то говор, не то согласный хор нескольких сотен голосов.

– Татары!... – в один голос вырвалось из груди обоих друзей. И в смятении они переглянулись.

– Надоть выведать, где остановились поганые и сколько их... – после минутного замешательства произнес Мещеряк и, не теряя ни минуты, выполз из шатра, вскочил на ноги и быстро ринулся с опушки в чащу. Не говоря ни слова Алеша бросился за ним.

Голоса между тем утихли. Их заменили одиночные возгласы и ржание коней. Очевидно и татары расположились на покой в глубине чащи. Оба юноши теперь уже не шли, а ползли в траве, бесшумно углубляясь в

лес.

Вот завиднелась сквозь деревья лесная прогалина, сплошь усыпанная татарскими сонными телами. Враги крепко спали. Одни стреноженные кони бодрствовали, медленно пощипывая сочную траву. Небольшой шатер из кошм красовался посреди вражьего стана.

– Там наверное спит царевич... Хорошо бы его живьем захватить... – чуть слышно шепнул Матвей Алеше.

Тот с быстротою молнии вскочил на ноги и уже готов был метнуться к шатру, если бы сильная рука Мещеряка не удержала его на месте.

– Штой ты! Аль очумел, парень!... – сердито буркнул казак, – нешто можно так-то... Зря только «их» перебудишь. Надоть вспять ползти, упредить атамана, сюды дружину доставить, а там и с Богом – бери живьем хошь самого черта.

Опять поползли обратно в траве оба юноши к своей стоянке.

Через час они снова уже были здесь, у татарского лагеря, но не одни. Неслышно подкралась к вражьему стану дружина Ермака. Скрываясь за высокими кедрами, во все глаза зорко глядели казаки на лесную прогалину и ждали только условного знака Ермака. И вот дал, наконец, этот знак атаман.

– С Богом!... – пронеслось по дремучей тайге молодецким криком, и по этому крику, как стая орлов, рину-

лась дружина на татар.

По этому крику вскочили на ноги и Мещеряк, и Алексей, отряженные для поимки Мамет-Кула. Вскочили и бросились прямо в шатер.

Царевич уже проснулся и, недоумевая на внезапные шум и крики, метался с саблею по шатру, не находя со сна выхода из него.

В один миг набросились на него юноши и, прежде чем мог опомниться татарский витязь, скрутили его по рукам и ногам.

В это время удалая дружина делала свое дело, кроша татар направо и налево. Потери казаков на Бабасанском урочище и под Чувашьей горой, а пуще всего воспоминание о зверски зарезанных товарищах на Абалацком озере, – мщением и злобой наполняли обычно великодушные сердца победителей. И сдержал данное слово Ермак: он воздвиг огромный памятник из татарских обезглавленных трупов зарезанным на Абалаке товарищам-казакам. Никто из врагов не спасся. Все полегли до единого близ Вогая. Одного царевича Мамет-Кула пощадил Ермак. Он обласкал его, как умел, и через толмача передал пленнику, что не сделает ему ничего дурного, строго приказав и дружине своей оказывать ему всяческий почет.

Поздно, под утро, легли в эту ночь казаки отдохнуть после одержанной победы.

Мещеряк и Алеша, обласканные за их великую услу-

гу Ермаком, остались караулить поочередно стан и пленного Мамет-Кула.

Сильно устал юный князь, едва держался на ногах, а глаза у него так и слипались. Но он бодрился, лишь от времени до времени прислоняясь к стволу высокого кедра, чтобы отдохнуть немного и протереть сонные глаза. Но как ни старался Алеша противиться – сон осилил его: он сладко задремал. Между тем солнце встало. Золотым потоком брызнуло оно над степью, и сказочно причудливым убором засияла степь в зелено-пестром венце своих пышных трав и цветов.

Когда Алеша проснулся, весь стан был уже в движении.

– Чудное дело, братику, приключилось у нас. Экое страшилище нашли близ опушки ребята наши. К атаману отвели. Обличьем на самого шайтана сходит, верно слово, – весело рассказывал юному князю Мещеряк.

Сна у Алексея как не бывало. Весь охваченный молодым любопытством, он со всех ног кинулся туда, где в кипящих на кострах котлах варилась каша к обеду.

Против Ермака, сидевшего на пне березы спиной к остальным, стояла странная приземистая фигура, широкоплечая, коренастая, низенькая, в куртке из оленьего меха и в узких штанах. Подле нее находился толмач-переводчик. Подстрекаемый тем же любопытством, Алеша зашел сбоку и заглянул лицо странной

фигуре. Взглянул – и в ужасе отступил, невольно зажмуривая глаза. Страшными ранами, рубцами и язвами было покрыто лицо инородца. Ничего нельзя было разобрать в нем, ни черт, ни выражения. Нельзя даже было понять – молод он или стар. Одна сплошная багровая рана скрывала и возраст, и черты. Ужас выразился на лице князя. Ермак заметил это.

– Аль не по ндраву пришелся малец? – усмехнулся он, видя произведенное инородцем впечатление на своего любимца, – не обессудь на обличье, Алеша-светик, зато верный слуга нам будет уродище этот... Бает через толмача, Кучумка его пытке предал за што-то... Ишь, обличье попортил как... Так за это он сулит нам ихнего Кучумку да и всю его семью а полон предоставить... Уж больно гневом опалился на обидчика своего...

– Так-то так... Да уж больно неказист он с рожи... – произнес Алексей, невольно избегая взглядом страшное, безобразное лицо.

Его голос странно подействовал на коренастого уродца. Тот вскинул голову, и маленькие, бегающие, как мыши, глазки его, единственное, что осталось в этом потерявшем свой человеческий образ лице, так и впились в Алешу.

«Убийца брата Имзеги, наконец-то я встретила тебя!» – вихрем пронеслось в мозгу Алызги и, вся задрожав от ненависти, она до боли впилась ногтями в ла-

дони своих судорожно стиснутых рук.

Все лето 1582 года Ермак употребил на покорение татарских и остяцких улусов и городков по рекам Оби и Иртышу. Он взял и остяцкий город Назым, находившийся неподалеку от устьев реки Назыма, притока Оби.

Но нерадостно кончился этот Назымский поход для неутомимого и храброго атамана. Под засекой остяцкого улуса потерял он своего помощника, храброго есаула Никиту Пана с его отрядом. Долго жалел и оплакивал эту чувствительную для него потерю Ермак. Вернувшись в Искер, он дал наконец Строгановым радостную весточку о покорении Сибири. Snарядив гонца в Сольвычегодск, велел передать именитым Пермским людям атаман: «Кучума-салтана одолел, стольный город его взял и царевича Мамет-Кула пленил».

Строгановы поспешили переслать эту радостную весть самому Иоану Васильевичу, грозному царю. Был наряжен от них гонец на Москву с грамотою о покорении Ермаком Сибири.

Но далеко опережая гонца, прямо из Искера, по рекам Сибири двигалось, минуя Пермь и Сольвычегодск, по Каме и Волге, другое посольство, более торжественное и пышное, посольство самого Ермака к царю. С дорогими мехами: куньими, собольими и лисьими, под предводительством храброго есаула Ивана Кольцо, отягощенное богатыми дарами ехало посоль-

ство на Москву. Это Ермак бил челом сибирским го-
стинцем, помимо покоренного царства, грозному царю
Иоану.

4. ПОСОЛЬСТВО ЕРМАКА

Мрачные, тяжелые, печальные дни повисли темною тучею над дворцом Иоана.

Грозный царь терпел поражение за поражением от смелого, предприимчивого нового короля Литвы и Польши, Стефана Батория. Со смертью Сигизмунда-Августа прекратилась царствовавшая в Польше династия Ягеллонов, и некому было принять соединенную корону Польши и Литвы. Царь московский сам был не прочь возложить на свою голову корону эту или, уже в крайнем случае, дать в короли соединенных королевств одного из своих сыновей. Гетман Литовский, Михайло Гарабурда, не раз приезжал на Москву для переговоров. Но чего хотел литовский народ, того не хотели гордые, независимые польские паны, которые уже много наслышались о московских буйствах царя Иоана, о потоках крови, лившихся на Руси. И вот паны выбрали смелого, предприимчивого рыцаря-воина, пана Седмигородского, который, женившись на дочери Сигизмунда-Августа, с ее рукой получил корону Польши и Литвы.

Иоан, разгневанный и оскорбленный таким оборотом дела, заключив наспех мир со шведами, ведшими с ним войну, наполнил своей ратью Ливонию, Эсто-

нию и самую Польшу. Взяты были многие ливонские и эстонские города. Взят был Венден, где заперся было женатый на одной из княжен Старицких племянник Иоана, королевич датский Магнус, дерзко потребовавший у московского царя обещанной ему власти в Ливонии. Венден штурмовали, самого Магнуса взяли в плен и, лишив власти, сослали подальше, в крошечный городишко Коркус.

Потянулась упорная война. Молодой, смелый и энергичный польско-литовский король стал наносить московскому царю удар за ударом. Ход за ходом, шаг за шагом, и Стефан Баторий, очутившись в русских владениях, отобрал самый Полоцк. За Полоцком были взяты Сокол и Озерище, а там и самый Псков осадил предприимчивый король Польши и Литвы.

И еще другая неудача черной тучею повисла над Русью великой. Турки-крымцы грозили с юга Московскому государству, ослабленному и уставшему вследствие непрерывных войн. Но ничто в сравнении с политическими невзгодами и бурями была та буря личного удара, что разразился над самой головой московского царя. Страшное дело, худшая потеря, чем земли Ливонские, нежели взятый Полоцк, постигла карой Божией Иоана Васильевича: в припадке непреодолимого бешенства убил железным посохом сына-царевича обезумевший от гнева царь-отец...

Это было в темное, хмурое утро. Печаль, траур и го-

ре, повисшее над дворцом царя Иоана Васильевича, нашли, казалось, отклик и в самой природе. Траурным пологом хмурилось небо. Скрылось за тучами солнце. Плакала земля.

Угрюмый и больной сидел, сидел согнувшись в своем кресле, царь Иоан. Тяжелый недуг все последние годы точит царя. Тело его пухнет и покрывается язвами. От язв и опухолей идет смрадный дух, как от покойника. Болезнь, медленная, тяжелая, ведет к неминуемой гибели царя. А рядом с физическими страданиями душевные муки – боль совести – мучают, терзают царя днем и ночью. Особенно ночью. Эти ночи страшны, как ад, мучительны, как пытка. Черные кошмары, кажется, так и стерегут его у дверей горницы, и лишь только забудется Иоан – встают воплощенные призраки убитых и замученных им людей. Напрасно приготовляет царю лекарственные снадобья врач Якубус, присланный ему английской королевой: снадобья не действуют, не поддается лечению сильный, но заживо разложившийся организм царя. Сегодняшнюю ночь он провел особенно плохо. Впрочем, не первая такая ночь. С рокового дня гибели первенца не знает вовсе покоя государь. Стоит перед ним неотступно воочию страшное видение, тот роковой час, та, проклятая самим Господом, минута, когда, обливаясь кровью, упал к его ногам царевич Иван...

И глубже уходит в свое кресло царь и нервным дви-

жением дрожащей руки запахивает черный траурный кафтан свой... Трясется еще не старая, но до времени одряхлевшая голова царя, накрытая черной тафьею.

– Ванюша... Ванечка... Сыночек мой ненаглядный... Пошто я так-то... тебя... – шепчут трепещущие губы Иоана и дрожмя дрожит больное, измученное тело страдальца.

И снова тот душный летний день встает перед ним... Не в духе проснулся в то памятное утро Иоан, что случилось с ним все чаще и чаще. Новая молодая царица, Мария Нагая, восьмая по счету жена царя, уже давно шепчет в уши своему царственному супругу про новые козни да интриги – что хвалится будто царевич Иван, как вступит на престол после смерти отца, все порядки иначе, по-своему переделает, государство на свой лад поставит... И еще многое другое наговаривает завистливая, злобствующая мачеха. И сам видит Иоан – не больно-то слушается отца царевич. Во многом перечит ему. А тут еще речи наговоренные. Не вытерпел царь, взял посох и пошел на половину старшего сына, где жил царевич со своей молодой женой, недавно с ним повенчанной, Мариной, из рода бояр Шереметевых. Но не застал того, кого хотел Иоан, в царевичьих покоях. Вместо сына встретил невестку царь, еще не успевшую встать от сна, не одетую, простоволосую, но чудно прелестную женщину-ребенка, дрогнувшую от страха при появлении царя. Сам не ведая

почему опалился разом гневом на царевну государь.

– Заместо того, чтобы чин чином во храм Божий идти, как вечер всем слободским было наказано мною, – строго заговорил он, грозно наступая на невестку, – ты на лебяжьих пуховиках нежишься, ленью дьявола тешишь...

И замахнулся жезлом на молодую женщину. Та с диким криком метнулась к двери, желая спастись. Но обезумевший от гнева царь настиг ее и сильно ударил по спине своим посохом.

С воплем упала на пол царевна. Ей ответил другой вопль, еще более страшный и дикий – и ее муж, царевич Иван, прибежавши на помощь к жене, появился на пороге.

– Не смей, отец, трогать Марину!... – вне себя вскричал он и отвел от жены руку царя, отвел от жены и принял предназначенный ей на себя удар царевич.

Взмахнул, взбешенный его словами, не помня себя, Иоан и тяжело опустил на голову сына свой грозный посох. В тот же миг новый стон, вопль огласил стены дворцовых палат. Из раны на просеченном до мозга черепе царевича хлынула кровь.

Безумие ужаса и горя охватило царя.

– Мой Ваня!... Мой первенец!... Мой любимый!... – покрывая поцелуями и слезами руки насмерть раненого сына, лепетал царь.

Сбежались врачи, принялись лечить умирающего

юношу. Но ни стоны, ни вопли царя, ни снадобья врачей, ничего не помогало. На другой день к утру скончался царевич.

С тех пор страшный призрак плавающего в крови убитого сына не покидает царя. И сегодня, в это пасмурное, ужасное утро, он особенно неотвязно и мучительно стоит перед ним. Еще вчера разослал новые вклады Иоан по всем монастырям и обителям Московским, наказывая молиться за душу убиенного сына. А все не легче ему, все не легче... Сердце рвет лютая мука, туманит мозг мучительная мысль... Душа так и ноет скорбью и раскаянием. Соскользнул с лавки на пол царь. Бьется головой оземь и стонет-вопиет:

– Ванюшенька... Родименький... Пошто оставил меня?!...

И не видит ослепленный горем Иоан, как в горницу нерешительно вошел, переступая с ноги на ногу, ближайший боярин и любимец царский, Борис Годунов, заместивший убитого под Венденом Малюту, а за ним и другие бояре – Бельский, Шематьев, Нагие.

Неслышной, мягкой походкой подошел Годунов к царю и говорит:

– Очнись, государь... Не гоже тебе во прахе протираться, когда радость велию Господь на Русь святую послал...

Словно дикий зверь вскочил на ноги Иоан.

– Кто дерзнул без зова?!... – начал он, и зловеще

поднялся грозный посох в его костлявой руке.

Но, выдержав порыв бешенства покорно, Борис также светел и бесстрашен лицом остался. И у тех бояр, что с ним пришли и у двери стоят, такие же светлые, праздничные лица.

Опустился посох. Судорога повела от нетерпения лицо царя.

– Какая радость?... Говори... Не тяни жилы, мучитель... – скорее простонал, нежели произнес Иоан.

– Сибирь взята казаками Донскими да Волжскими, государь... Покорено под нозы твои великое царство Кучума-салтана... – дрожащим голосом, громко и радостно, произнес Годунов.

Выскользнул тяжелый посох и со звоном покатился по полу горницы. А за ним рухнул на пол перед божницей и сам Иоан.

– Велик и Милостив Господь!... Не оставил Ты меня, Господи! – зашептали его блеклые, ссохшиеся губы. – Несказанное счастье послал Ты мне, окаянному грешнику... Велик Господь!...

И замер, весь охваченный умилением и благодарностью к Царю Небесному земной, во прахе простершийся, царь.

Звонили, гудели, пели колокола... Толпы народа запрудили площади и улицы столицы. У всех радостные, счастливые лица. Все, как в великий светлый праздник, поздравляют друг друга. Не только на улицах, на кры-

шах домов, на колокольнях церквей черно от народа. Яблоку некуда упасть. Смутный гул стотысячной толпы стоит над Москвою, споря с малиновым перезвоном сорока сороков православных церквей.

– Идут!... Идут!... – катится по толпе многоголосной волною.

– Идут!... Идут!...

Расступилась, шарахнулась на обе стороны толпа, образуя широкую улицу, по краям которой черно от шапок, сермяг, кафтанов да опашней.

И вот по широкой улице медленно движется посольство. Впереди скачут бирючи, расчищая путь. За ними выступает седоусый богатырь-есаул, с зоркими, молодыми глазами. Отвагой и верою горят его быстрые взоры. За верным, за правым делом прокладывает путь к Кремлевским палатам ближайший товарищ покорителя юрта Сибирского. С гордо поднятой головою, со смелым, радостным взором несет он бархатную подушку в руках. На подушке лежит грамота от покорителя Сибири, грамота могучему и грозному царю московскому. Хорошо знает Кольцо, что волен казнить или миловать царь его и его спутников, но знает также, что радостна и любя сердцу цареву челобитная Ермакова. Оттого и светел, и радостен есаул. За ним богатые дары несут: соболей, куниц сибирских, видимо-невидимо, без счета, без конца. Народ дивуется, народ словно опьянел от восторга, словно забыл, кто идет по широ-

кому проходу между двух образовавшихся рядов толпы. Забыл былые вины седоусого есаула, забыл и то, что голова идущего давно на вес золота оценена, и что к четвертованию, к позорной смерти приговорено это могучее казацкое тело. Героя-богатыря, защитника и спасителя от нечисти бесерменской, от кары поганой видит в нем московский народ и радостными криками оглашает площадь.

А тот, к кому спешит по многолюдным улицам Ермаково посольство, уже ждет его в большой Кремлевской палате во всем блеске царского величия, среди ближних бояр. На нем шапка Мономаха, золотое платье, все в драгоценных камнях, с оплечием, украшенным изображением Иисуса, Божией Матери и святых. Ближние люди держат знаки царского достоинства, скипетр и державу. Залитые золотом и серебром стоят кудрявые рынды в своих белых одеждах с топориками на плечах. Вокруг трона бояре в лучших праздничных уборах, в горлатных шапках, важные, суровые и все же трепещущие перед царем.

– Идут!... Идут!... – перекатилось с площади и ворвалось сдержанным гулом в Кремлевский дворец.

Они вошли. Седоусый есаул впереди с грамотой-челобитной на подушке, остальные позади с богатыми дарами царю от Ермака.

И преклонили колени, и распростерлись в прахе и главный посол, и его сподвижники. Долго лежали они у

ступеней трона, пока взволнованным голосом не приказал им встать Иоан.

– Великий государь! – начал громко и звучно, все еще стоя на коленях, Кольцо. – Казацкий атаман твой, Василий Тимофеич, со всею вольною дружиною своею, осужденною на смерть тобою, надежа-государь, бьют тебе челом на завоеванном царстве Сибирском...

Сказал и замер Кольцо. Замерла и вся Кремлевская палата заодно с Ермаковым послом. Затихло все. Слышен был только гулкий перезвон в московских церквах да усиленное от волнения дыхание в груди Иоана.

И вот приподнялся чуть государь, сверкнул очами, и прозвучал голос его на всю палату Кремлевскую:

– Исполать вам, верные слуги мои! И быть прежней опале не в опалу, а в милость... Читай грамоту, Борис, – приказал царь стоявшему подле боярину Годунову.

Последний принял свиток из рук Кольца и принялся читать. И чем дальше читал Годунов, тем яснее, тем радостнее становилось лицо царя.

Он тут же простил казакам все прежние вины их, велел по церквам служить молебны и звонить во все колокола московские, дабы все знали, что Бог послал Руси новое, обширное царство, завоеванное грозною дружиною казаков...

Щедро и милостиво рассыпал Иоан награды послам

Ермака и самому Ермаку. Самому атаману грозной дружины жаловал титул князя Сибирского, шубу с царского плеча, – что считалось особым знаком государственной милости, – да кубок серебряный и два дорогих панциря в придачу. Ивана Кольцо и бывших с ним казаков пожаловал великим своим жалованием, деньгами, сукном, камками дорогими. Оставшихся в Сибири одарил щедро и послал им большое царское жалование. А для принятия у Ермака завоеванных земель снарядил царь воевод, князя Семена Болховского и Ивана Глухова с пятью сотнями московских стрельцов.

Не забыты были царем и Строгановы-купцы. Их пожаловал царь за «раденье»: Семена двумя городами на Волге, а Максиму и Никите дал право беспошлинной торговли в их острогах и городках.

Недолго пробыл Кольцо в Москве и 1-го марта 1583 г. возвратился с царским отрядом назад в Сибирь. Воеводы объявили Ермаку великую царскую награду, вручили милостивую государеву грамоту и заодно передали и русское спасибо молодцу-атаману и его грозной дружине от лица всего московского народа.

Коленопреклоненный выслушал радостную весть новый князь Сибирский, и впервые горячие, благоговейные слезы оросили мужественное и смелое лицо Ермака.

Его заветные мечты, его светлые надежды – все сбылось.

5. ТАНИНЫ ЗАБОТЫ. – ВОЗВРАЩЕНИЕ. – ДВЕ СВАДЬБЫ

Хозяйке Сольвычегодской плохо спалось в эту зимнюю студеную ночь. Всю-то ночь промаялась без сна Танюша. То, сидя на жаркой лебяжьей перине, прислушивалась она к отдаленному вою волков, то, исполненная каких-то темных страхов, кликала няньку.

Старуха уж и с уголька вспрыскивала свою любимицу, и свечку теплила перед иконой «Утоли моя печали», и молитвы шептала над питомицей – ничего не помогало. Маялась, металась на своих мягких пуховиках девушка. Только забылась под утро, как проснулась снова, крикнула свою любимую подружку и наперсницу Агашу. Заперлись в светелке ото всех обе девушки, и полилась горячая, быстрая, как трель жаворонка, как песнь ручейка, девичья беседа.

– Тошно мне, Агашенька, ой тошно... – чуть слышно жаловалась своей подруге Татьяна Григорьевна, еще более возмужавшая и похорошевшая за последние два года. – Не шлет Алешенька весточки и не пишет... Ин, вчерась прискакал от государя гонец к дяде и сказывал, что к нему едет из Москвы с грамоткой от царя отряд с посольством и что средь посольства князьенку Алешу Серебряного-Оболенского присмотрел... Да

нешто так деется на белом свету, Агаша?... Жених не спешит с радостями к невесте своей, а ползет вместиах со всеми... Нешто ладно это?

И голос Строгановой зазвенел скрытыми слезами.

– Пстой, боярышня, пстой, – обнимая и целуя Таню, утешала Агаша, – дай срок. Вихрем примчится твой ясный сокол. Верно нет у них завода такого, чтобы бросить посольство на полпути да к невесте кинуться. Небось, не простой он человек, не казак станичный, а самого князя Сибирского ближнее лицо, вроде как бы начальство. Так не по чину ему, нет времени сюды скакать, – не без важности заключила быстроглазая Агаша, пробуя улыбнуться.

Да не вышла улыбка у девушки – кошки на сердце у нее скребли. Как и у молоденькой хозяйки беспокойно было на душе быстроглазой хохотушки Агаши. Да едва ль не тошнее даже. Два года прошло с тех пор, как впервые встретился ей в больших Строгановских хоромах красивый юноша-казак. Заронили сразу черные очи Мещеряка искру в сердце девушки. Увидела она, что подолгу останавливается на ней смелый взор Матвея, что не простой это взор, а любящий да нежный. И сама полюбила Агаша. Полюбила первой, горячей девичьей любовью, чистой и светлой, как хрустальная вода родника. За эти два года многим женихам отказала любимая подружка Танюши Строгановой. Вокруг нее да молодой хозяйки постепенно пустел

круг девушек; повыходили замуж и Машенька, и мечтательная Домаша, и многие другие. Только они с Татьяной Григорьевной остались ждать своих суженых. И прождут, гляди, зря, даром загубят молодость. Останутся в вековушах жизнь коротать... И думать забыли о них их молодцы. Небось, заполонили им сердца кайсацкие красавицы. Недаром Алызга сказывала, что Кучумки дочка што Божий день хороша. Може очаровала и князя Алексея, да и Матюшу заодно. А може и врала Алызга. И где она теперь?

И мечутся, и рвутся быстрые мысли в голове Агаши. То злость беспричинная в сердце закипает, то больная, печальная скорбь холодом дышит на молодую девичью душу.

И нужно ж было вчера прискакать из Москвы гонцу, который и поведал им о встрече царского посольства, о великих милостях, посыпавшихся на грозную дружину, покоровшую Сибирский юрт.

Всю ночь, как и молодая хозяйка, не спала Агаша, всю ночь, как и та, протомилась она. И сейчас грустные думы не дают покоя девушке. Так она углубилась в эти думы свои, что и не видит, как вся в зрение обратилась ее молодая хозяйка.

А Танюша так и прильнула к окну.

– Господи, да што ж это!...

При скудном свете зимнего утра чуть темнеет что-то в степи. Словно движется что-то огромное, словно

катится прямо к Строгановским поселкам. Вот все ближе... ближе...

Батюшки!... Да отряд это!...

– Никак наши идут с ратью московскую?... – не своим голосом крикнула девушка и вместе с разом ожившей Агашей так и впилась взорами в приближающуюся толпу людей.

Не обмануло зрение Танюшу. И впрямь московский отряд приближался берегом Чусовой. Впереди него двое бояр-воевод едут. Поверх терлика-кольчуги из серебряных колец, стальные наплечники, тесаки в ножах. На головах ерихонки, в руках шестоперы. За ними несут стяги. А там, дальше, подле седоусого есаула, в меховом кафтане, идет кто-то, прекрасный, юный, с поросшим молодую бородкою и усами лицом. Его взор поднят на окно девичьей светлицы.

– Алеша!... – не своим голосом крикнула Таня и метнулась, не помня себя, вниз из светелки, в дядины горницы, чуть живая от радости, волной захватившей ее.

Ничего не видит и не слышит девушка. А между тем старая нянька успела накинуть ей на плечи нарядную меховую ферязь, подбитую соболями, с аграмантами, золотыми и драгоценными запонами по борту. Высокий девичий столбунец из соболя набросила на голову и сунула в руки поднос с кубком, в котором, играя, искрилось дорогое фряжское вино.

В каком-то радостном полусне выбежала из дома

Таня на высокий рундук, где дядя и братья, родной и двоюродный, ждали уже приближения царских послов.

Спешился князь Семен Болховской при помощи ближайших стрельцов и, отпив из кубка, поцеловался трижды с молоденькой хозяйкой, поднесшей ему, по обычаю, вино. А та уже метнулась вперед к высокому, статному юноше, так и ринувшемуся ей навстречу. Чинно и степенно поздоровались на глазах у всех жених с невестой. Зато как крепко обнялись они, оставшись наедине в теплой и уютной Таниной светелке!

– Пошто весточки не давал по себе?... Аль разлюбил?... Аль забыл меня, светик Алеша?... – быстро и взволнованно срывалось с уст молоденькой Строгановой.

– Тебя-то забыть?... Тебя, радость мою!... – окидывая невесту любящим взором, вскричал тот. – Днем и ночью ты мерещилась мне, наяву и во сне, Татьяна Григорьевна... Ни на миг единый не забыл я тебя... А вестей не слал до тех пор, покуда не знал судьбы своей... Не казаком опальным, бездомным, а слугою великой Руси святой хотел я, как и все прочие явиться сюда с тем, чтобы вольно и радостно отвести тебя дорогой женошкой в завоеванный нами сибирский град...

И он горячо обнял любимую девушку. Таня нежно и ласково прильнула к жениху.

Но не одни они были безумно счастливы в этот памятный день. Другая молодая пара едва ли была ме-

нее их радостна и счастлива: Мещеряк с Агашей столковались в этот день.

Весело и пышно отпразднованы были две свадьбы разом в роскошных, просторных Строгановских хоромах. Сам воевода, царский боярин, князь Болховской, благословил вместе с Семеном Аникиевичем молодые пары. Много меду и браги, и искристого фряжского вина было попито в честь молодых...

А как прошли трескучие морозы, и повеяла чуть заметным теплом суровая сибирская зима, Кольцо с товарищами и Болховской с отрядом двинулись дальше в завоеванный Искер, в глубь царства Сибирского.

Двинулись за ними и молодые жены Алексея и Мещеряка.

В теплых, коврами и мехами обитых кибитках отпустил Семен Аникиевич племянницу в далекий, неведомый, покоренный юрт, взяв слово с Алексея вернуться в Сольвычегодск навсегда, лишь только пленят Кучума и закрепят за собою Сибирь.

Грустил старый дядя, грустили и оба его племянника, отпуская в чуждый, далекий юрт их красное солнышко, любимицу Танюшу.

Но сама Танюша так была бодра и радостна подле молодого мужа, так весело щебетала про свое скорое возвращение, что вскоре утешились ее родные и с легким сердцем попрощались с ней.

6. В ПЕЧАЛЬНОЙ СТОЛИЦЕ. – ЦИНГА И ГОЛОД. – АДСКИЙ ЗАМЫСЕЛ

Царские милости, государево спасибо привезли из Москвы с собою князь Болховской и Глухов в новую Сибирь. Привезли и пятьсот свежих стрельцов Ермаку на помощь.

Но ни бояре, ни Строгановы-купцы не подумали о том, чем кормиться-то будут эти стрельцы в Сибири. Не знали они, что не уродился хлеб в последнее лето, что татары намеренно мешали своими набегами хлебопашеству и что исключительно сурова была последняя зима в Сибири.

Казачи, не ведая, что царская помощь придет зимою, запаслись только хлебом для себя. Вскоре вышли последние припасы. Морозы, метели, пурги мешали им выходить на рыбную ловлю и охоту. К тому же в окрестностях Искера бродили полчища татар и удаление из Искера с целью набить дичи или наловить рыбы было далеко небезопасно.

От недостатка свежих припасов появилась цинга, обычная болезнь, постигающая всех новых пришельцев, непривычных к сырому и холодному климату.

Болезнь и голод, как два лютые врага, своими цеп-

кими, мучительными объятиями сжали обитателей завоеванной Сибири. Люди умирали ежедневно. Умер в числе прочих и князь Семен Болховской, главный воевода, присланный царем Иоаном.

Горе и уныние стали несменными гостями сибирской столицы. С распухшими, желтыми, измученными лицами бродили и казаки, и стрельцы. Тусклыми, безжизненными глазами глядели они на белую снежную степь, расстилавшуюся однообразной полосой вокруг Сибири. Приди сейчас под ворота их города Кучум – и больные, измученные, слабые они вряд ли смогли бы отразить его нападение.

Но сам Бог, очевидно хранил дружину. Кучум, напуганный морозами и пургами, а может быть и пришедшим новым стрелецким отрядом из Москвы, был далек покамест от мысли брать Искер силой.

Иные планы задумал лукавый сибирский хан. Он решил, что пока живы Ермак и Кольцо, не вернуть ему Искера. И вот все мысли, все мечты старика направлялись к одной цели, к одному решению – погубить того и другого. И тогда, – так рассуждал Кучум, – лишённое вождей, энергии и сил, казаки не сумеют отстоять Искера, и он будет снова его.

Протянулась, прошла мучительная, суровая зима с ее голодом, цингой и холодами. С первым весенним теплом окрепли, ожили люди. Не много их осталось. Большая часть дружины и прибывших стрель-

цов полегла в степи под снежными сугробами, закиданная мерзлой, студеной землей... Теперь, когда выплыло весеннее солнышко, пригревая степь, на их зазеленевших могилах зацвели белые ландыши и фиалки... Ожила природа, вскрылись скованные зимними путами воды Иртыша, и новая весна мирно и ласково усмехнулась ободряющей улыбкой.

Апрель наступил радостный, благовонный.

В просторной, заново отделанной избе, в уютной, теплой горнице, на чисто вымытой лавке сидела молодая княгиня Серебряная-Оболенская со своей неизменной Агашей.

Обе женщины тихо разговаривали между собою. На их бледных, но все же юных и пригожих лицах виделось утомление. Пережитая страшная зима, в продолжение которой они, не покладая рук, ухаживали за больными и умирающими, дала себя знать и им. Пережитые мучительные дни отозвались и на их здоровье. Но с тихим пробуждением весны новая радость наполнила сердца обеих женщин.

– Авось, полегчает теперь... И хлебушка родится, да и болезнь минует... – говорила голубоглазая, как девочка, юная и красивая молодая княгиня.

– Поди, наши-то сокрушаются по нас в Сольвычегодске... – подхватила своим, никогда не унывающим, голосом веселая Агаша, – небось, попа звали не единожды, молебствия служили по нас...

– Ах, Агашенька... Повидать бы их хошь на миг единый... Дядю-крестного да Максима-брата... Кажись, птицей к им взвилась да полетела... – мечтательно произнесла Татьяна Григорьевна и разом смолкла.

Вошел князь Алексей бледный, встревоженный, каким его нередко выдывала в эту тяжелую зиму Таня.

– Штой ты, Алеша?... – так и встрепенулась, бросаюсь к нему навстречу, молодая княгиня.

– А то, што от атамана я к тебе, Танюшка... О вас с Агафьей Петровной гуторили мы... Говорит Ермак Тимофеич, што больно вы много тут страхов натерпелись с нами за зиму эту – и болести, и мор... А еще хуже, ба-ет, может статья... Вон, говорят мирные татары, што снова быдто укрепляется Кучум... Напасть по весне ладит... Так вам бы ладнее всего пристало в Сольвычегодск отплыть по половодью и мирных времен дожидаться там... Так атаман говорит... – тихо и нерешительно заключил свою речь Алеша.

Таня, вся трепещущая, как раненая птица, отскочила от мужа.

– И ты... и ты говоришь мне это!... – волнуясь и пылая румянцем почти прокричала она. – Да нешто не ведаешь ты, что на радость и горе связала я свою судьбинушку с твоей судьбой?!... Не махонькая, чаю. Видела куда и на што иду... Нет, Алешенька, непригодные речи ты и твой атаман ведете, – твердо и смело продолжала она, – ни я, ни Агаша от вас никуда не уедем. Хошь

гони нас силой, с места не сдвинемся... Ишь, выдумали што!... Уехать в Сольвычегодск, одних вас оставить! Как раз!... Нет, сокол мой, голубчик сизокрылый! Жили вместе и помирать вместе, стало быть, нам... – заключила бодро и весело молодая княгиня.

Князь, растроганный и взволнованный, обнял жену.

– Так и сказать атаману? – шепнул он ну ухо ей.

– Так и скажи, – не дрогнув подтвердила она.

– Ну, Мещеря, и женок же Господь нам послал на радость! – весело обратился к появившемуся на пороге Мещеряку князь Алексей.

В эту ночь счастливым, мирным сном уснули в своих нехитрых жилищах две счастливые молодые пары. В эту ночь и новый город спал крепко и спокойно под охраной частых сторожей, нарушавших своим окриком молчание степи.

Из одной избы, вся темнеющая во мраке белой ночи, мелькнула небольшая фигура. Неслышной тенью скользнула она к воротам, отодвинула тяжелый засов и, крадучись, как кошка, под тенью насыпи исчезла в ближайшем лесу.

Воротники не заметили ее. Белая ночь навеяла на них пышные весенние грезы, и волшебница-тишина околдовала мысль.

Алызга (это была она) быстро миновала опушку и, углубившись немного в чащу леса, издала громкий, пронзительный свист.

Ей ответили таким же свистом из глубины тайги, и вскоре две фигуры татар предстали перед ней.

– Спит мурза Карача? – отрывисто и громко спросила их Алызга.

– Нет... Всю ночь молился с сыновьями... Ждали тебя...

– Когда посулила прийти, пришла бы значит, – отрывисто бросала Алызга, отворачивая от смотревших на нее с явным ужасом татар свое обезображенное лицо.

– Веди же меня к нему, – почти повелительными нотами прозвучал ее резкий гортанный голос.

– Ступай за мною, – произнес один из татар и пошел вперед.

В наскоро сбитом чуме сидел с двумя своими сыновьями князь Карача. Этот Карача еще недавно, для вида, чтобы обмануть русских, изменил Кучуму, будучи втайне ближайшим его другом и слугой, и завел сношения с Ермаком.

– Время пришло, могучий мурза... – начала прямо с места Алызга, едва успев отвесить почтительный поклон ближайшему вельможе самого хана. – Завтра, на заре, явись с сыновьям в Искер, проси там помощи у атамана... Жалуйся и ругай хана, что обижает он тебя, что казнить хочет за измену, а людей в лесу засади. А как пойдет он с отрядом своим... Ну, уже твое это дело, господин, сам знаешь...

И диким, непримиримым огнем сверкнули малень-

кие глазки Алызги.

– Крепко ж насолили тебе кяфыры, женщина, коли решилась ты себя из мести обезобразить, красоту свою погубить... – покачивая бритой головою произнес Карача.

– Я бийкем... остяцкая княжна... – гордо выпрямляясь произнесла Алызга, – моего мужа и брата убили кяфыры... Моего старого отца под Назымом погубили они же... Меня продержали шесть лет в долгом плену... Я ненавижу и проклинаю их... И да свершится мщение Сорнэ-Турома над ними, вымоленное мною... Слышишь, господин, жду тебя на заре... в Искере...

И сказав это Алызга вышла из чума.

Снова темная тень мелькала на фоне белой северной ночи, снова неслышно проскользнула в ворота Искера и снова засунула за собою крепкий железный затвор.

А когда на заре загремел запор этот и гостеприимно распахнулись ворота городка-острога, три всадника-татарина въехали в Искер, к Ермаку.

Впереди, на гнедом киргизском скакуне, поджаром и тонконогом, сидел сам мурза Карача. Его сыновья в почтительном отдалении следовали за ним.

Ермака предупредили о приезде незваных гостей. Он вышел на рундук избы.

– Здрав буди, князь Сибирский! – сказал через переводчика почтительно соскочивший со своего коня при

его появлении Карача.

Примеру отца последовали оба сына.

– Здравствуй и ты, князь, – ласково приветствовал атаман всадника, – ступай в горницу, гостем будешь. И сыновей с собой веди. От хлеба и соли отказываться николи не пристало.

И повел гостей в свою горницу Ермак.

Долго тянулась через толмача-татарина их беседа. Дичиной, кумысом, медом угощали татар до отвала. А когда вышли из Ермаковой избы гости снова на крыльцо, непонятными, торжествующими и радостными огоньками горели и искрились их узкие раскосые глазки.

Не один Ермак вышел проводить татарских гостей, явившихся к нему смиренно просить помощи от Кучума. Весь Искер провожал. Быстрее молнии разнеслась по Искеру весть о том, что посылает Ермак есаула Кольцо с 40 казаками на помощь Караче и его сыновьям изловить Кучума.

Тут же, на площади, быстро построились казаки и красивой, правильной шеренгой, под предводительством Кольца, двинулись из Искера вслед за Карачею.

– Большой тарту [гостинец], кунак [герой], великий принесу я тебе, – еще раз, кланяясь Ермаку, сказал через переводчика Карача, – седую голову Кучума-хана привезу я тебе, князь Сибирский.

И первый вылетел за ворота крепости на своем ли-

хом скакуне.

Ермак весело смотрел вслед отъезжавшему отряду. Не чувало его сердце, что не видать ему больше ни храбреца-есаула, ни товарищей лихих. Мысли о поимке Кучума радостно кружили его смелую голову.

И еще одна пара сверкающих глаз с злорадным торжеством глядела вслед отъезжавшим.

– Радуйся, Алызга... Коршун на краю гибели... Вскоре и самый орел напитает кровью почву великой родины твоей... – сдержанно шептали изуродованные губы молодой остячки.

7. НЕ ВЕРНУЛИСЬ. – НОВАЯ НАПАСТЬ. – ОСАДА. – ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА

День прошел, другой, третий...

Все сильнее нагревало солнце остуженную за долгую зиму почву. Расцвели деревья и заплакала горлинка в лесу. А Кольцо с отрядом не возвращался. Не было ни слуху ни о Караче, ни о Кучуме.

Тревога засосала сердце Ермака. Темное подозрение запало в душу.

– А что ежели?...

Но сам гнал от себя злые, страшные мысли лихой князь-атаман.

Еще день прошел. Не вытерпел Ермак. Велел коней седлать, собрал дружину, кинулся на поиски Кольца с его отрядом. Недолго искали. В глубине тайги нашли зарезанными сорок тел казацких с обезглавленным трупом седоусого есаула.

Предательски и зверски расправился с отрядом лукавый Карача, безжалостно умертвив казаков, всех до единого.

Света не взвидел Ермак. Грозным проклятием огласилась сибирская тайга – проклятием предателям-убийцам. А потом новая, страшная клятва пови-

сла в тишине черного леса, страшнее проклятий самой смерти. Мучительным пыткам поклялся предать Карачу и детей его за гибель первого товарища и казаков-друзей обезумевший от горя Ермак.

С почестями предали земле в степи, близ Искера убитых.

Горько оплакивал верного Кольцо атаман. Он был его правой рукою, его советчиком и помощником с самой ранней молодости их совместной вольной скитальческой жизни.

– Только бы мне поймать Карачу да и Кучумку с ним тоже... – зловеще сверкая глазами и с трудом переводя стесненное дыхание в груди, не раз повторял Ермак.

Страшно было смотреть на князя Сибирского в такие минуты. Судорожно сжимались в кулаки его мощные руки, жадной безумной, всепоглощающей мести, переживая заранее свое безумное торжество.

Ермак стал неузнаваем. Великодушный прежде, он немилосердно умерщвлял теперь всех попадавших к нему пленных, то и дело приводимых с набегов казаками в Искер. Еще так недавно посылал он послов из пленных татар к Кучуму с предложением хану сдаться московскому царю.

«Мамет-Кул, которого я отправил царю пленником, благоденствует в Москве, – передавал он с послами, – тебя ждет милость великая от Белого салтана».

На что упрямый старик отвечал:

«Не надо мне ни милостей, ни даров. Не поеду в Москву. Был я свободным и умру свободным. Царь степей и гор и умереть должен степным и горным царем, вольным ханом Сибирским».

Теперь не сделал бы такого предложения Кучуму Ермак. Теперь бы он приволок его пленного на аркане, приказал бы кожу содрать живьем с него и Карачи и выбросить их изорванные тела волкам на съедение.

И Кучум точно чуял это. Нигде не слышно было о слепом хане. Точно сквозь землю провалился Кучум.

Но зато другая весть облетела дружину: предатель Карача шел с несметною ратью назад, к Искеру. И еще новую, печальную весть принесли казаки атаману: в разъезде убили храброго Якова Михайлова, одного из ближайших помощников Ермака. Но после гибели любимого друга Кольца точно притупилась душа атамана, и эта смерть, в другое время заставившая бы страдать и сокрушаться Ермака, теперь скользнула по нему лишь больной царапиной, но не раной.

Между тем Карача приближался к Искеру. Окрестные данники, остяки и татары, примкнули к его орде.

В один из жарких весенних дней эта орда обложила город. Хитрый Карача, инстинктом старого, опытного воина, понял, что не осилить ему в открытом бою казаков, и решил уморить голодом осажденных.

Потянулись мучительные месяцы осады. Наступил

жаркий июнь, у посаженных вышли съестные запасы. Новый голод грозил призраком смерти защитникам Искера. Ермак жалел людей и, всячески щадя их, не решался на вылазку. Но голод заставил его, наконец, прибегнуть к этому последнему спасению.

Была ночь, жаркая, душная, июньская ночь. Ночные цветы тщетно подставляли свои чашечки мимолетному ветру. Парило от земли, парило от неба, парило от гор. Только сочная, пропитанная росой тайга дышала вдали прохладно и легко.

Недалеко от Соускана спало крепким сном станице Карачи. Само урочище казалось вымершим. Только богатырский храп заполнял его. Скученные, сдвинутые обозы и кибитки с женами и детьми татарскими тоже спали...

Неслышно, бесшумно, под покровом ночи, сделали вылазку казаки и подкрались к самому Соускану.

Закипая огнем удали, злобы и непримиримой мести вел их Ермак.

– Нынче, либо никогда! – вихрем носилось в разгоряченном мозгу князя Сибирского. – Ежели не накинуться на них сегодня, они бросятся завтра сами на нас и всех перережут, всех до единого... Людей осталось мало... Сейчас пора самая, как есть, пока спит Соускан...

И свистнул среди тишины ночи Ермак.

По этому свисту кинулись на спящий татар казаки. Началось крошево, рубка, каких не знала, не ведала

доселе Великая Сибирская степь.

Заметались татары. Их стонами и воплями дрогнула земля. В темноте им не видно сколько врагов напало. Рубят впросонках, испуганные и переполошенные, своих же татар.

Занялась заря, рассеялся мрак. Ободрились Карачевы воины. Видят, невелики числом нападающие, бросились в обозы и, загородившись ими, стали осыпать оттуда тучами стрел нападавших казаков. До самого полдня бился Ермак с Карачею. Степь покрылась бесчисленными трупами, вороны с диким карканьем заметались над ними в ожидании лакомой добычи. А люди все рубились и рубились без устали, устилая все новыми и новыми жертвами пропитанную кровью траву. На глазах обезумевшего от ужаса Карачи убили обоих сыновей предателя. Не выдержал Карача этого удара, с дикими воплями покинул поле битвы и обратился в бегство. За ним побежали и остальные татары и кинулись врассыпную, надеясь спастись.

Но не тут-то было. Обезумел, опьянел в свою очередь от сечи Ермак. Соколом ринулся вслед убежавшим.

– За мною, ребята!... Отомстим за гибель есаула поганым!... – хриплыми, призывными словами вырвалось из его груди.

Поняли казаки исстрадавшуюся душу своего храбреца-атамана. Ринулись в погоню за татарами. Сели

в лодки и вверх по Иртышу поднялись гнать беглецов.

Близ устья Ишима была новая схватка. Многих мужественных казаков, воспетых позднее в заунывной и грустной сибирской песне, лишилась грозная дружина, но оставшиеся в живых продолжали начатое дело, покорили целый ряд улусов и только дойдя до реки Шиша, за которым начинались уже голые степи, повернули назад.

Убаюканный сладким чувством удовлетворенной мести вернулся в Сибирь Ермак с усталой, измученной, но счастливой своим боевым успехом дружиной.

Вскоре новая удача выпала на долю завоевателей. Напали нечаянно на след Кучумов, догнали его кибитки и взяли в плен некоторых его жен и детей.

Быстро снарядил новый караван в Россию Ермак с новыми подарками царю Московскому.

Пленное семейство неукротимого хана было послано в придачу к главному пленнику Мамет-Кулу.

В Москве приняли их ласково, одарили, успокоили несчастных, отпустили им богатые кормы и всячески обласкали их.

Ждали еще одного желанного пленника-гостя. Ждали самого Кучума. Но он по-прежнему носился на свободе, неуловимый сын привольных, широких степей.

8. ГИБЕЛЬ КНЯЗЯ СИБИРСКОГО

Жестоко отомстили казаки за гибель Кольца и сорока товарищей. Прогнали и побили татар – и снова все стихло. Снова мирно зажила крошечная горсточка оставшихся победителей в завоеванном Искере. Уже совсем ничтожное число осталось в живых от бывлой грозной дружины. Лишь полторы сотни из 840 осталось. Остальные частью на поле брани полегли, частью уснули вечным сном под ножами убийц-предателей, частью умерли от тифа и цинги. Но оставшиеся в живых еще более, еще теснее сплотились, готовые умереть друг за друга, готовые в огонь и в воду идти за товарищей своих...

Знойный день 5-го августа. Хоть и лето на исходе, а парит так, словно жаркий июль на дворе. В Сибири бывают такие дни, колкие, смутные от зноя, душные, без влаги и росы. Степь накалилась, замерла, пожелтела. Ни шелохнет, ни дрогнет ветерок. Зноем пышет небо. На нем темные облачка поднимаются медленно, тяжело. Застилается прозрачная синева и не видно почти что голубых промежутков за темными серыми тучами.

– Гроза будет, – говорит Алеша, глядя угрюмо на небо, придвинувшееся своими тучами к земле.

Он только что вышел за вал с женою, чтобы прой-

тись до дождя вдоль глубокого замета к тому клочку земли, которым пожаловал его Ермак и где теперь проворно собирали сжатые снопы рабочие остяки, торопясь унести их с поля до дождя.

Молодая княгиня была против обыкновения печальна и грустна в этот душный день. Она рассеянно поглядывала то на степь затуманенным взором, то на небо, грозно хмурившееся над землей. От молодого князя не укрылось это беспокойное состояние жены. Он хорошо знал свою Танюшу, знал, как неумоимо хаживала за больными и ранеными с Агашей его княгиня, знал, как бесстрашна была она во все время осады, принося пищу осажденным к засеке, и не мог понять, почему вдруг приуныла она.

– Что с тобой приключилось, пташка моя, голубка моя, лебедка белоснежная? – ласково спросил Алексей жену.

– Я сама в толк не возьму, Алешенька, а только тошно мне, дружок, так-то тошно, – тихим, упавшим голосом отвечала Таня. – Добро бы недужилось, аль сон какой худой видала... Ништо... А вот сосет мою душу штой-то... И чудится, быдто кто толкает уйти отселе, а кто и зачем не ведаю...

– Пустое все, – усмехнулся Алеша, – просто соскучилась ты по своим кровным... Дай срок, поймем Кучумку, и тотчас же с тобой в Сольвычегодск у атамана отпрошусь... Только улыбнись, моя лапушка, повеи

красным солнышком на меня, – ласково заключил он.

Улыбнулась Танюша. Прижалась к молодой, сильной груди мужа и замерла счастливая на этой груди.

Быстрые шаги, приближавшиеся к нем, точно разбудили обоих и оба очнулись от своего сладкого сна. Таня подняла голову, взглянула и тихо вскрикнула.

Перед ней стояло какое-то подобие человека со сплошной и страшной зияющей раной вместо лица. Одни маленькие глазки были видны в узких щелках, образовавшихся между бурыми припухлостями лба и щек.

– Што ты, лапушка... Аль Байбакты испужалась?... Нешто не узнала?... Наш ведь это мирный казачонок, враг Кучумки, атаману верный слуга... – успокаивал жену Алеша.

Но не испугалась Байбакты Таня. Она нередко видала шмыгающего по городку-острогу предавшегося Ермаку татарина и привыкла и к обезображенному его лицу. Но сейчас она были далеко от этого страшного лица, далеко от этих маленьких глаз, странно напоминающих ей чьи-то другие глаза, чьи – она не могла припомнить.

А страшный татарчонок говорил между тем, с трудом выговаривая русские слова:

– Ступай к князю-вождю, князь-бачка. Скажи атаману-батырю, пришел татарин из улуса, бает, бухарские купцы пришли с тартой, за улусом стоят караваном,

ладят сюда, к Искеру пробраться, а Кучум их не пускает... Бухарцы у атамана-батыря помощи просят, буде его милость, Кучумку бы прогнал и гостей бухарских к Искеру провел с товаром... – с трудом произносит свою речь Байбакта.

– Бухарцев, говоришь, Кучум к Искеру не пускает?! – весь вздрогнув от неожиданности вскричал Алексей.

– Так, князь-бачка, так...

– Да где же Кучум-то?

– Тута, близехонько, за улусом, бачка.

– За улусом? И ты не сказал про то допрежь всего?! – вне себя от восторга воскликнул князь. – Да ведаешь ли ты, Байбакта, што за такие вести озолотит тебя князь Сибирский!... Ведь он спит и видит Кучума полонить... Великим жалованием пожалует тебя Ермак, коли проведешь нас к нему в улус... Награда тебе великая будет...

– Проведу, бачка. А награды мне не треба, окромя головы...

Чьей головы так и не dokonчил Байбакта. Только маленькие глазки его сильнее засверкали змеиным огнем. И опять эти змеиные глазки испугали Таню.

«Вишь, как ненавистен ему Кучумка! Небось, не забудет ему лиха своего!» мелькнуло вихрем в ее красивой головке, и снова упорная, неоднократно являвшаяся к ней мысль пронизала ее мозг:

«Где же это видала я мальчика?»

Алексей между тем, весь радостный, говорил снова:
– Сейчас бегу к атаману с весточкой радостной...
Пожди, парень, и на твоей улице праздник будет...
Большой награды ты стоишь за муки твои... Ишь, на
горе тебе испортил обличье Кучум... Ну, да ладно, зо-
лотом засыплет за твою весть тебя атаман... Все горе,
как рукой, снимет...

И опрометью кинулся в острого сообщить важную,
радостную новость Ермаку.

Байбакта и Таня остались одни.

Желая приласкать и порадовать несчастного, жесто-
ко обиженного, юношу, она проговорила:

– Вот пожди, наградит тебя Ермак Тимофеич, малец,
одарит казной и землю. Богатым будешь, Байбакта.
Страсть богатым, как сам Карача.

– Ничего не надо Байбакте, госпожа... Все, что было
у Байбакты, все отняли... – глухо произнес татарин.

– Кто отнял? Кучум?

– Кучум, госпожа... – и снова сверкнули на Таню ма-
ленькие, как у змеи, глазки.

Вихрем промчалась быстрая мысль в мозгу Байбак-
ты:

«Што, ежели сейчас убить ее одним взмахом ножа,
который затаен у пояса под широкой кожаной доба-
вой» [курткой].

И небольшая, но сильная желтая рука сжала неза-
метно рукоятку незримого оружия.

Но тотчас же новая мысль заслонила первую.

«Не время еще... Не уйдет и эта... – злорадно мысленно говорила Алызга. – Великий Урт-Игэ требует иной, большей жертвы сейчас. Нечего захлопывать силицу в силки, когда орел гуляет на свободе».

И снова засверкали ее маленькие, но страшные глаза.

Жутко стало Танюше наедине с обезображенным, непонятым ей существом, хотя она не догадывалась, кто скрывается под этим страшным обличьем и чем полна почерневшая от жажды мести душа этого существа.

Постояв немного, Таня поспешила в город, за вал, где уже кипела новая суета и жизнь.

Пятьдесят смелых, надежных товарищей-казаков отобрал себе Ермак для поимки Кучума. Взял и князя Алексея с собою и других верных дружинников своих.

Ударили в било на площади. Наскоро собрали круг.

– Идем, братцы, на поимку Кучумки! – весело и радостно сверкая глазами от одной мысли исполнения своей заветной мечты говорил Ермак. – Тебе, Мещеря, Сибирь поручаю... Ворота накрепко закройте... Не дай Бог пронюхают поганые, што ушел атаман, придут, так встретить поладнее гостей желанных.

– Встречу, атаман!

– Взял бы и тебя с охотой, Матюша, да вишь, острог не с кем оставить... Ну, да ладно. От скуки не помрешь,

а к ночи назад будем и с Кучумкой пленным. Это уж наверняка, – весело и убежденно слово за словом ронял князь Сибирский.

– А теперь, братцы, за мною! – и первый вскочил на коня, оседланного предупредительной казацкой рукой.

Широко распахнулись ворота крепости, вылетел из них маленький отряд. Байбакта ехал впереди, указывая дорогу. Поскакали прямехонько на соседний улус. Но там не оказалось ни Кучума, ни бухарских купцов:

– Видно, вдоль Иртыша пошли... – рассуждал проводник Байбакта.

Вернулись обратно. Оставили коней в крепости. Сели в струги и поплыли вверх по Иртышу, прямо к Вогаю.

Между тем хлынул дождь, гроза разразилась. Ненадолго, однако. Разогнал тучи буйный, свирепый ветер, всклокотал воды Иртыша, запенил потемневшую муть реки. Дневного зноя как не бывало. Ветер все крепчал и крепчал. Казаки выбились из сил грести против течения.

– Да где же Кучумка-то? Ночь, поди, скоро, а он словно сквозь землю провалился, – недовольными голосами роптали в стругах казаки.

– Погребем еще, братцы, немного, да и буде... Не найти в эту непогодь все едино поганых... Домой надоть вертаться... Ну, довольно, поворачивай вспять... Утро вечера мудренее. Ужо на заре, при свете, легче будет доглядеть татар... – и Ермак, взяв весло у корм-

чего, первый повернул ладью.

Опять загудел, засвистел ветер, опять забурлила река. Черные волны, серебрясь пеною, как грозные, старые духи сединою, метались и бились вокруг челнов.

Бурлила взбешенная непогодой река. Еще больше притомились казаки. Нет мочи грести далее. Весла выпали из рук.

– Неча даром так-то биться, причаливай к островку, робя... Небось, отдохнем за ночь. Утром снова в путь, – командовал Ермак.

Черным мохнатым чудищем выплыло что-то из мрака.

– Это Вогайский островок... Кругом вода, до берегу далече... Будем как у Христа за пазушкой здесь, никто из татар и не проведает о нас до утра. И сторожей ставить неча... – ободренным голосом, предчувствуя скорый ночлег, а с ним и отдых до самого утра, говорили казаки.

Бодро выскочили они из стругов и, не раскидывая косяка, не поставив обычной стражи, уснули как убитые. Уснул и Ермак, уснул и Алеша, князь Серебряный-Оболенский подле своего начальника и друга.

Дивные сны снились в ту ночь Ермаку: будто не князь он Сибирский, не атаман бывший разбойничий, а царь могучий всей широкой, многолюдной православной Руси... Сидит он на троне в дворце Кремлевском, золотой венец царский на нем... И кланяется ему на-

род и чувствует его... А за окнами дворца колокола гудят, толпы бушуют...

Сладок и крепок сон Ермака. И не чует он грозной действительности, что повисла над его головою.

По-прежнему бушуют грозные воды Иртыша. По-прежнему гуляет по ним буйный ветер и гонит их вправо и влево как беспорядочное, покорное стадо овец.

Храпят богатырским сном казаки. Утомились, видно, сильно за день.

Но вот из их числа поднимается с земли темная фигура и неслышно сползает по берегу, к самой воде... Вскочила в челн, оттолкнулась от берега и загребла с усилием веслами в темноте ночи. На противоположном берегу выскочила из челна и, приложив руку к губам, издала резкий, пронзительный свист. В тот же миг словно ожил утесистый берег... Закопошились черные фигуры в темноте ночи.

– Ты, Алызга?... – послышался голос из-под навеса шатра, скрытого под утесом в кустах осоки.

– Я, повелитель, – отвечала вновь прибывшая, – они все спят там, на островке, мертвым сном... Сам Великий Сорнэ-Туром не разбудит их своим приходом... Ты верно напал на след их, могучий хан...

– Ты помогла мне, Алызга, и хан Кучум наградит тебя за это в лучшие времена. Ты хорошо исполнила выдумку с бухарскими купцами, хорошо заманила кяфыров под наши ножи... Враги в наших руках... Никому из

них не будет пощады... – говорил старческий голос.

– Таузак!... – крикнул вслед затем хан и из толпы копошившихся в темноте татар вынырнула сильная, рослая фигура князя.

– Доплыви к островку и принеси мне оттуда какую-нибудь вещь, чтобы я знал наверняка о непробудном сне кяфыров.

– Слушаю, повелитель.

И вместе с конем ринулся молодой киргиз в бушующие волны Иртыша.

Он вскоре явился обратно с добычей. Три пицали и три пороховницы унес он из-под бока спавших казаков.

– Сам Аллах посылает нам милость! – вскричал обезумевший от радости Кучум.

– Вперед, мои батыри-воины! Во славу Аллаха и пророка и свободной родины идите на кяфыров, не медля, сейчас! – негромким, но сильным голосом произнес слепой хан.

И как ночные гиены, быстро и бесшумно, скользнули татары по крутому берегу вниз, прямо навстречу бурным, клокочущим волнам.

Бесстрашно ринулись в черную воду они и поплыли прямо к островку, где спали не чужавшие смертельной опасности казаки.

Кучум со свитой остался ожидать исхода предприятия.

Казаки спали.

Спал Ермак. Тот же сладкий сон ему снится. Народ, ликуя и шумя, приветствует его. Или то не народ шумит, а разгулявшиеся волны Иртыша от непогоды?... Или еще что другое?...

Смутно, сквозь сон, чудится ему не то лязг сабли, не то хриплый стон, не то заглушенный, чуть внятный призыв какой-то... Вот крикнул кто-то совсем близко от него... Проснулся Ермак... Протер глаза... Смотрит... Видимо-невидимо копошится народу на островке... Татарская речь, крики, стоны...

– Сюда, товарищи!... Ко мне!... – не своим голосом вскричал князь Сибирский.

Но никто из казаков не откликнулся на призыв атамана. Все, почти до единого, лежали зарезанные под ножами Кучумовых воинов казаки.

Один только голос отозвался в темноте ночи:

– Иду к тебе, атаман!... Иду!...

Это был голос любимца Ермакова, князя Алексея.

Едва успел сообразить что-либо Ермак, как несколько человек татар ринулись к нему. Он выхватил саблю и, размахивая вправо и влево, стал отступать к воде, к челнам, где смутно чудилось ему спасение.

– Здеся я!... За мною!... К реке спеши!... – послал он хриплым голосом в темноту, надеясь, что казаки-товарищи еще услышат его.

И снова отбивал удары, разя врагов направо и налево. Несколько трупов уже устилали его путь... Не по-

мня себя замахнулся он на двух последних и, сняв голову саблей с одного, поразив чеканом другого, ринулся к челнам. Но их словно и не бывало у островка. Предусмотрительные татары перерезали веревки и пустили ладьи вниз по реке, чтобы отрезать путь отступающим.

Тогда, не раздумывая долго, Ермак крикнул:

– Кто жив, за мною!

И погрузившись в темные, быстрые воды Иртыша, поплыл к берегу, отчаянно борясь с расвирепевшею стихией.

Со страшным рокотом подхватили его волны, пеною и брызгами обдавая его.

«К берегу... там жизнь... спасение»... – мелькало зарницей в его охваченной ужасом голове...

Но силы его слабели с каждой минутой. Буйный Иртыш, единственный кто мог состязаться с героем, теперь одолевал его. Тяжелая броня, панцирь с изображением орла – драгоценный подарок Иоанов, – замедляла его движение, затрудняла плавание. Ермак и сам почувал теперь, что стихия сильнее его, что Иртыш одолел человека, что не в силах он более бороться с обезумевшей в своей дикой оргии рекою. Понял это сразу и сразу замер, перестав работать, с помутившимся взором, с потускневшим сознанием в голове.

«Народное спасибо... Прощение... Почести... Слава... Все кончено... Прости навеки, люд православ-

ный»... вихрем пролетела последняя сознательная мысль в его помутившемся мозгу.

И камнем пошел ко дну великий покоритель Кучумова царства...

9. РОКОВАЯ ВЕСТЬ. – КРОВЬ ЗА КРОВЬ. – В ДАР УРТ-ИГЭ

Бледный рассвет, сменивший черный мрак густой, ненастной августовской ночи, осветил груду мертвых тел, оставшихся на острове.

Осветил он и новый город Сибирь, еще не пробудившийся от сна.

Мещеряк спал сладким предутренним сном, когда шум и говор под окнами разбудили молодого есаула.

– Вставай, Матюша, што-то случилось у нас... Наши на площадь бегут...

– говорил мужу взволнованная Агаша.

В тот же миг ударило на площади гулкое било и печальным, зловещим звоном понесся призывной его звук.

Не помня себя, кинулся Мещеряк на площадь, чуя инстинктом страшную беду.

Кто– то окровавленный, в рваном кафтане, с блуждающим взором, стоял у била, изо всех сил ударяя в него.

– Ты, Алексей?... Где же наши?... Где атаман?... – срывалось с трепещущих губ Мещеряка.

Действительно, это был князь Алексей, изорванный, окровавленный, сине-бледный, как выходец с того све-

та.

– Убиты товарищи!... Пропал без вести атаман!... Я один жив остался!...

– мучительным стоном вырывалось из груди юноши. – Собирай круг, Мещеряк... Пуцай узнают постигшее лихо все наши...

Но круг не пришлось собирать. Уже по первому удару била высыпали на площадь остатки дружины.

Роковая весть страшным налетным вихрем обнесла весь город. Рыдание и плач огласили его. В числе других прибежала сюда же княгиня Татьяна Григорьевна, полуодетая, испуганная и без слов, в ужасе замерла на руках мужа.

Едва только собравшись с силами, Алексей должен был поведать всю страшную истину сибирцам, – как искали они, очевидно, проведенные вестовщиком-татаринном, Кучума, как, притомившись, уснули, как он, Алексей, бежал пешком сюда десятки верст, раненый, окровавленный, в изорванной одежде, весь охваченный тяжелым, смертельно мучительным гнетом потери, как гибли товарищи.

– Ну, а где атаман? Где князь Сибирский? – в отчаянии и смятении спрашивали казаки.

Но Алеша не мог ответить, он не видел гибели Ермака.

– Братцы, на конь!... На конь!... Поскачем искать атамана!... – внезапно нарушил грозную тишину звуч-

ный голос Мещеряка.

И все ожило и закипело. Новая надежда окрылила сердца.

– Скачем, братцы, на поиски атамана! – повторяло эхо кругом.

– Стой, ребята. Ин, кто-то мчится по степи... Може вести какие несет...

И князь Алексей, отличавшийся особой зоркостью зрения, впился глазами в даль. Клуб пыли вился по ней. Какой-то конник спешил к крепости. Вот он ближе, ближе. Теперь уже можно различить и всадника, и коня.

– Да это Байбакта! – крикнуло несколько голосов за раз.

– И впрямь Байбакта.

На мгновение он пропал за высоким заметом и вынырнул снова. Вот влетел, как угорелый, на площадь, врезался в толпу, спешил с коня.

Его зияющее раной лицо было страшнее прежнего. Оно все подергивалось судорогой, все дрожало. Маленькие, юркие глазки сыпали молнии.

– Сибирцы, – закричал он звонким женским голосом, и никто не узнал теперь прежних глухих звуков голоса Байбакты, – я принес вам страшную весть... Слушайте все...

Его обступили в минуту. Бледные, встревоженные лица затеснились кругом.

– Говори, говори, – кричали казаки.

– Русские, нет боле князя вашего... Погиб атаман... В Иртыше потонул... Помер... – вырвалось диким, странным звуком из груди вновь прибывшего.

Толпа замерла на минуту. Потом не то стон, не то вопль огласил площадь.

– Да лжет он все... Не верь ему, братцы... Допроси хорошенько... – неожиданно, дрогнувшим от волнения голосом прокричал кто-то.

– Байбакта не лжет... – дико, совсем уже по-женски взвизгнул вестник, – не лжет Байбакта... Сам видал, как боролся атаман с волнами Иртыша, как бился и звал на помощь и как скрылся потом в темные жилища Хала-Турма... Кяфыры, слушайте: нет более атамана, нет есаула, нет лучших ваших товарищей-воев!... Мертвые они лежат под могучею пятою Урт-Игэ... Проща ваша радость, кяфыры проклятые!... Сорнэ-Туром не за вас... Придет Кучум, наш хан и повелитель, возьмет обратно Искер и перебьет вас, собаки... Кровь за кровь... Велик могучий Сорнэ-Туром...

И Байбакта залился громким, насмешливым, дьявольским хохотом. Багровые раны на лице его налились кровью, глаза выползли из орбит, пена проступила у рта.

От быстрого движения упала с головы его высокая, остроконечная шапка, и длинные, изжелта темные, прямые волосы рассыпались вдоль плеч и спины.

– Да это баба, братцы! – одиноко прозвучал чей-то изумленный возглас.

– Это Алызга! – покрыв его, прозвенел вопль испуга княгини Тани, внезапно, по голосу и волосам узнавшей свою бывшую полонянку.

– Хватай ее! Измена, братцы!... – крикнул первый, опомнившись, Мещеряк и ринулся к Алызге.

Но та быстрее молнии отскочила назад, выхватила короткий, острый нож из-за пояса и, размахивая им над головою, крикнула во весь голос:

– Смерть и проклятие кяфырам!... Погиб собака-Ермак!... Могуч хан Кучум во славу светлого духа!...

Нож замелькал в ее руках быстрее и, прежде нежели кто успел остановить ее, она очутилась в двух шагах от Тани.

– Кровь за кровь!... Умер Имзег – умри и ты! – дико вскрикнула обезумевшая остячка и внезапным взмахом руки занесла свой нож над головою молодой женщины.

Сильными руками схватил ее сзади за локти вовремя подоспевший к жене Алексей.

Как змея завертелась в его руках Алызга. Нож выпал у нее из рук, выбитый чьим-то ударом. Два казака с веревками уже спешили к ней, но она изогнулась в три погибели, метнулась, сильным толчком отбросила державшего ее князя Алексея и, быстрее молнии, помчалась к воротам Искера.

Казаки кинулись за нею. Но Алызга летела, едва трогая землю ступнями ног. Безумие, казалось, придавало ей силу и скорость. Вот остался далеко позади Искер и погоня. Вот уже вблизи сверкает темными струями Иртыш. С быстротой дикой лошади взлетела Алызга на высокий утес правого берега, повисший над рекою и на минуту остановилась, как вкопанная, устремив в пучину реки блуждающий взгляд и громко произнесла:

– Огевий убит... Имзегга тоже... Старый отец погиб под Назымом... Проклятие кяфырам и радость Кучуму... Отомщение покорителям-злодеям Искера... Великий Сорнэ-Туром... я, слабая женщина, сделала, что могла... Радуйся, Ханджар, царица души моей... Радуйтесь и вы, милые тени Хала-Турма... Смени и ты гнев на милость, великий и грозный Урт-Игэ... Алызга дерзнула отнять жертву у великого... Алызга искупит все... Прими новую жертву и смилуйся над нею, великий Урт-Игэ... И ты, могучий Унотон – дух рек и лесов... И, закончив свою речь глухим, почти сиплым криком, Алызга широко взмахнула руками и прыгнула вниз, прямо в холодные, жуткие воды Иртыша.

10. ТАЙНА ИШИМСКОЙ СТЕПИ. – ПОСЛЕДНИЕ ДНИ КУЧУМА. – ХАНДЖАР

А тот, кого оплакивали горькими слезами в степях Искера, приплыл мертвый 13-го августа 1584 года к Епанчинским юртам. Внук князя Бегиша, татарин Яниш, первый увидел утопленника, закидывая сеть. Увидел золотой орел на кольчуге и латах и, решив, что не простой мертвец-казак перед ним, дал знать о нем Кучуму.

Велика была радость хана, когда окружающая его свита признала в утопленнике их злейшего врага Ермака.

Быстро облетела Сибирские степи крылатая весть. Князья татарские и остяцкие съехались поглядеть на мертвого врага. Его тело положили на рундук [возвышенная площадка], и целых пять дней стреляли в него из луков озверевшие от охватившей их жажды мщения воины Кучума. Потом зарыли где-то за улусом, в степи, обобрав догола мертвое тело, и стали делить доспехи. Одному отдали кольчугу, другому кафтан, а саблю с поясом – мурзе Караче, одному из злейших ненавистников покойного Сибирского князя.

После гибели Ермака осталось только 150 человек

казаков в Сибири, вместе с присланными московскими стрельцами.

Горько оплакав смерть своего князя-вождя, они по обычаю собрали круг и выбрали атаманом Матвея Мещеряка. На этом же кругу решили, что оставаться им в Сибири теперь невозможно. Мирные татары и остяки, проведав об их малочисленности, восстали снова и грозили со всех сторон засевшей в остроге горсточке храбрецов. К тому же Кучум, собрав новые силы, двинулся по пути к Искеру.

И вот 15-го августа казаки оставили Сибирь, сели в струги и поплыли вверх по Тоболу.

А в опустевший Искер вошел Кучум со своею ратью. Но недолго поханствовал слепой хан в отнятой столице. Пришел снова князь Сейдак, отец которого был убит Кучумом, и отнял престол и города у Кучума, выгнав последнего из его столицы.

Между тем умер Иоан Грозный. На московском престоле воцарился его сын Федор Иоанович.

До нового, молодого царя еще не дошла весть о гибели Ермака, но зная о голоде, море и малочисленности казаков в Сибири, он послал им на помощь новый отряд стрельцов, вручив начальство над ними воеводе Ивану Мансурову, а позднее Василию Сукину, Ивану Мясному и Даниле Чулкову.

Мансуров встретил на реке Туре уходившую из Сибири дружину Мещеряка.

Горсть храбрецов-покорителей снова ожила духом. Они соединились с царским отрядом и вернулись к устью Тобола, чтобы взять у татар обратно Искер, где ханствовал молодой, смелый и энергичный князь Сейдак, изгнавший Кучума.

Увидя, что им не легко справиться с Сейдаком, отряд решил выстроить деревянную крепость при впадении в Обь Иртыша и заперся в ней, поджидая на помощь себе другие царские отряды.

Остяки окружили было эту крепость, захватив с собою своего Белогорского идола в твердом убеждении, что он поможет им победить русских, но пушечный выстрел расщепил остяцкого кумира во время всеобщей молитвы и остяки в ужасе разбежались, отказавшись от приступа на крепость.

Между тем другие воеводы царские, Сукин и Мясной, на берегу Туры основали город Тюмень, вместо прежнего татарского улуса Чингия, а воевода Чулков заложил в 1587 году город Тобольск, неподалеку от древнего Искера. В том же году в Тобольске была выстроена и первая христианская церковь.

Чулков же, соединившись с воеводой Мансуровым и атаманом Мещеряком, осадил Искер и сделал приступ. В упорной битве был ранен и взят в плен юный Сейдак. Но одновременно погиб под стенами Искера и последний атаман-сподвижник Ермака – Матвей Мещеряк.

Отбитый Искер, однако, не привлекал более русских и они оставили его, населив Тобольск, новую столицу Сибирского царства.

А Кучум все держался в Ишимской степи. Подкрепляемый постоянно новыми шайками киргизов и ногаев, он ураганом носился по берегам Тобола, жег русские селения, уводил жителей в плен.

Наконец, воеводе Кольцову-Масальскому удалось в 1591 году истребить конницу Кучума и схватить последних его жен и сыновей в плен. Сам Кучум успел и на этот раз бежать.

Царь Федор Иоанович предлагал Кучуму богатое жалование, милости, города и селения в России, оставляя его с титулом хана Сибирского и только требуя изъявления покорности с его стороны, его переселения в Москву, всячески суля ему свои царские ласки. И жены с сыновьями, московские пленники, склоняли к тому же хана, посылая сказать, что им хорошо и привольно в Москве, – но упрямый хан оставался все тем же непоколебимым и гордым. Он послал ответ царю:

– Ермак взял силой мое ханство, однако не покорил меня... Не хочу войны с Русью, но требую берега Иртыша в свое владение... Свободным жил – свободным и умру.

Ночь, таинственная, чарующая летняя ночь – задумчивое продолжение дня, без густой темноты, с голубоватыми отсветами, ровными и прозрачными... Глухо

поплескивает обычно тинистый, мутный, безобразный Ишим, теперь весь серебристо-млечный и хрустальный... Полный месяц глядится в его серебряные ночью воды, и расплавленным металлом кажутся они. Голубоватый призрак стоит над степью... Можно различить ландыш, стройный и невинный, под налетной дымкою матовой голубизны белой весенней ночи... Он кажется фарфоровым и хрупким, такой нежный, такой воздушный, словно весь вылитый из сказки и мечты.

Тот же отблеск мечты, таинственности и сказки как белую невесту нарядил во что-то голубовато-нежное, дымчатое и прозрачное степь.

Пахнут одуряюще дикие розы и гвоздика. Их сладкий, острый запах повис над серебряным маревом степей.

Под прикрытием крошечной рожицы стоит кибитка. Лошади распряжены и пасутся на траве. Под навесом кибитки, на груди кошм сидит Кучум, бледный, сгорбленный, одряхлевший. Дорого обошлись его последние скитания по степи обессиленному, измученному, всеми покинутому старику. Дорого обошлись. Один Аллах ведает это.

Из его воинов часть передалась Сейдаку, прогнавшему его из ханской столицы, часть проклятым кяфырам, отнявшим у него венец, родину и семью.

– Венец... родину... семью...

Но не честь!... Нет, не честь!... Во имя Аллы он

остался тем же гордым степным орлом на воле и таким и умрет. Пусть затравили его как волка кяфыры, – он еще слишком силен и горд, чтобы суметь умереть на свободе. И не совсем еще одинок он, бедный, обездоленный слепец. С ним его Ханджар, его дочь-царевна. Она неустанно бродит с ним всюду. И когда Сейдак, плененный ее красотой, силой оставлял ее в Искере, суля ей свою любовь, почести и богатства, она тайком бежала за своим изгнанником-отцом. Ее братья, мачехи и сестры пользуются довольством, роскошью и ласками белого хана, ей предлагали то же, но она – вольная степная чайка, Ханджар, она – дитя свободной Сибирской степи, она – дочь своего отца. У них обоих словно бьется одно могучее сердце в груди. Нет, или свобода, или смерть – вот главный девиз царевны Ханджар...

Прошло более десяти лет с тех пор, как она, шестнадцатилетняя девушка, носилась в лихой байге. Но по-прежнему, как степь Ишима или, вернее, как эта хрустальная весенняя ночь, прекрасна Ханджар. Если бы мог видеть слепой старик отец это трогательно-измученное за него душевными муками личико, эти огромные черные, сверкающие как алмазы, глаза, горящие безумной, ненасытной любовью к родине и свободе, эти, без признака румянца, матовые щечки, эти скорбно сжатые гордые уста!...

Она присела у ног отца. Черные косы упали ей на

грудь и плечи и траурной фатою покрыли гибкий, по-прежнему стройный стан. За поясом Ханджар заткнут нож – последний подарок отца.

– Отец, отец, – шепчет она с непонятной тоской, – не горюй, не печалься, не все еще потеряно для нас. . . Пускай только пройдут эти светлые ночи: под покровом осенней тьмы я проберусь к русским улусам, отец, кликну клич нашим воинам, нападую с ними на Искер и верну обратно тебе твой трон, твою столицу, – говорит она вдохновенно, ласкаясь к слепому хану.

Кучум словно ожил. Звучный голосок дочери нежным, целительным бальзамом вливался ему в душу. Но бедный слепой старик был слишком дальновиден и умен, чтобы мечтать теперь о владычестве над Искером.

– Солнце души моей, лазоревый свет весенней ночи, месяц и звезды одинокой мглы мучений моих, – произнес он, кладя дрожащую руку на черную головку Ханджар, – все кончено для нас с тобою. Моя душа тоскует и болит, что увлек я тебя молодую, полную жизни и сил за собою, черноокая царица моя. . .

– О, отец! – вскакивая на ноги и обвивая его сухую жилистую шею, вскричала Ханджар, – не говори так, ты рвешь мне сердце, отец. . . Я твоя утеха, единое счастье старости твоей – могла ли я тебя покинуть в твоём изгнании? . . .

Она прижималась к его груди, она обнимала его, она

заглядывала в его мертвые слепые глаза своими молодыми, жарким очами.

– Ханджар, сердце мое... – мог только выговорить Кучум и сжал ее в своих объятиях. Слезы градом текли по его лицу.

А она уже оправилась немного и заговорил снова:

– На заре приходили к тебе, отец, ногаи и о чем-то говорили с тобою. Зачем приходили они к тебе, отец?

– Их присылал русский вождь, мое солнце, с новым желанием Белого хана... Я не хотел тебе говорить этого, Ханджар, не хотел травить тебе душу даром... Скрыл от тебя... Но теперь поведаю тебе все, последняя радость жизни моей. Русский воевода от царя послал сказать Кучуму: – пускай предается русским Кучум и первым лицом после царя на Руси будет...

– А ты... а ты... что ответил на это, отец? – чуть ли не задыхаясь от волнения вскричала девушка.

– Разве солнце жизни моей не угадывает ответа своего слепого отца? – вопросом на вопрос отвечал Кучум.

– Знаю, отец... Ты сказал, господин мой и повелитель: «Пусть у русского хана будут другие слуги, но не царю Сибирских степей пресмыкаться у трона русского владыки»... Так ли, отец?

– Так, Ханджар.

И оба замолкли. Наступила полная тишина. Степь и ночь притаились за пологом кибитки, и одна, казалось,

караулила другую в этот очарованный сказкою час.

Вдруг чьи-то шаги послышались неподалеку. Зазвучала громкая, непринужденная татарская речь.

Как подстреленная птица, заметалась Ханджар на подушках кибитки.

– Сюда идут, отец... Это те же ногаи, что были утром еще в улусе... Сердце чует, с недобрым намерением ищут они нас среди ночи... Бежим, отец, пока не поздно, бежим... – хватая трепещущими, похолодевшими руками руки отца, шептала Ханджар.

– Поздно, свет очей моих, поздно... – в смертельной тоске прошептал Кучум и выпрямился во весь рост, прижимая дочь к своему сильно бьющемуся сердцу.

Выхватив нож Ханджар ждала. Ее огромные глаза горели как у волчицы. Как белая летняя северная ночь было бледно ее красивое лицо.

Ждать пришлось недолго. Шаги приблизились. Голоса зазвучали определеннее, грубее. Чья-то сильная рука рванула полу кибитки, и человек десять ворвалось под ее навес. Ножи и пики засверкали в руках убийц. Зверские лица исказились злорадным торжеством...

– Не хотел ты, гордый хан, живым предстать перед русским царем, – закричали они, – так мы твое мертвое тело повезем в Москву! – прогремел чей-то злорадный голос и двое здоровых ногаев кинулись на Кучума и в одну минуту покончили с бессильным, слепым, дрях-

лым стариком.

– А тебя, царевна Ханджар, мы отдадим московскому царю в пленницы! – слышался вслед за тем другой голос.

Но с быстротою кошки бросилась вперед Ханджар, размахивая своим ножом направо и налево.

Стон, вопль, проклятия наполнили кибитку. Две сильные руки схватили ее. Третья – взмахнула ножом над прекрасной бледной головкой.

– Радуйся, отец, все же свободными предстанем мы на суд Аллаха!... – успела крикнуть Ханджар и упала бездыханная к ногам уже убитого злодеями Кучума.

Заветная мечта Кучума сбылась: независимым сыном вольных степей умер могучий, гордый, влюбленный в свою свободу и родину, последний хан Сибирский...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По трупам удалой, грозной Ермаковой дружины проложен был путь к окончательному покорению вольного сибирского юрта. Правда, отошел после смерти молодца-атамана обратно в руки татар покоренный Искер, и долго еще велась война с Сибирью, пока, наконец, улус за улусом, городок за городком, не отошел весь юрт Сибирский в руки его покорителей – русских. И много-много русской крови было пролито в сибирских тайгах, лесах и степях, много храбрецов легло в боях с татарами и другими народами прежнего Кучумова царства, разделяя печальную участь первых завоевателей далекой окраины... Целые века прошли, пока, наконец, Сибирь стала частью русского государства и мощный двуглавый орел принял под свои крылья все народы Сибири, все земли и богатства этого края...

Но велика была заслуга Ермака перед всею Русью. Он первый, с незначительной горстью удальцов-товарищей, таких же отчаянно смелых и храбрых орлов Дона и Поволжья, проложил победный путь пулями, саблями и бердышами в далекую, чуждую и дикую Сибирь. Он первый рушил могучую ханскую власть властелина вольных Сибирских степей Кучума, первый проник в мраморную грудь каменного Урала и зажег

в нем пламень первой русской власти, первое признание владычества удалой русской силы молодецкой.

Русское имя славой покрыл Ермак. Развеял, разбил с 840 молодцами многие тысячи татар-инородцев этот былой разбойник...

И не мудрено, что легендарной богатырской фигурой вырос Ермак в сказаниях и былинах русского народа.

Он народный герой. Мощью русских лесов, гладью рек серебряных, молодецкими звуками поволжских песен веет от могучей фигуры этого народного колосса, этого чисто русского богатыря.

В г.Тобольске воздвигнут памятник Ермаку, покорителю Сибири, бессмертному герою давней русской старины, вождю грозной дружины. Но крепче тяжелых плит этого памятника, тверже глыбы камня и металла, вылитого на нем, сделан другой. Этот второй памятник не рухнет с веками. Он останется вечно в сердцах русского народа. Этот памятник – любовь народная к храбrecу-атаману, к удалому Ермаку Тимофеевичу, пожалованному князю Сибирскому... Этот памятник – священная память о нем и его сподвижниках...

Редкий житель Сибири не имеет в своем доме портрета Ермака, редкий житель Сибири не сумеет рассказать славную историю подвига могучего атамана и его грозной дружины. Сами темные урманы Сибирские да дремучие тайги ее поверяют ту быль неустанным

рокотом своих могучих деревьев... И несет ветер буйный
ту сказку-быль, ту правду-сказку по голубым и сере-
бристым рекам за каменный пояс, мимо второго вели-
кана Урала, по всей Руси могучей, вширь, вдаль, да-
леко, далеко...